Е. ГНЕДИН — КАТАСТРОФА И ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

ФИГ
1977

ЕВГЕНИЙ ГНЕДИН

КАТАСТРОФА И ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

МЕМУАРНЫЕ ЗАПИСКИ

СЕРИЯ «БИБЛИОТЕКА САМИЗДАТА», № 8

1977
АМСТЕРДАМ
ФОНД ИМЕНИ ГЕРЦЕНА

ГНЕДИН-ГЕЛЬФАНД Евгений Александрович *родился в 1898 году в семье русских политических эмигрантов. Его отец Парвус (Гельфанд А. Л.) был тогда одним из лидеров левого крыла германской социал-демократии. В газете «Sächsische Arbeiter-Zeitung» (1 декабря 1898) появилось объявление за подписью Парвуса о том, что у него родился сын, которого он обещает воспитать «бойцом социально-революционной армии». Спустя несколько лет жена Парвуса, Татьяна, разошлась с мужем и вскоре уехала в Россию вместе с сыном. Он расстался с отцом пяти лет, больше его не видел. В 1920 году он принял фамилию Гнедин, не желая иметь что-либо общее с Парвусом, который в годы войны был связан с правительством Германии. Когда в 1924 году Парвус скончался, Гнедин использовал свои наследственные права в интересах Советского государства. За счет своей законной доли наследства он получил одну из самых значительных в то время коллекций книг — библиотеку «Института по исследованию причин и последствий мировой войны», созданного Парвусом. Это ценное собрание книг Гнедин передал Институту Ленина.*

Е. А. Гнедин окончил среднюю школу и учился в университете в Одессе. В 1920 году переехал в Москву, затем в Петроград, где учился на Экономическом факультете Политехнического Института. В 1922 году он по рекомендации известного деятеля международного рабочего движения Ю. Мархлевского был принят на работу в Народный комиссариат иностранных дел. В НКИД Гнедин занимал пост заведующего Торгово-политическим отделением, позднее был референтом по Германии.

В 1931 году Е. Гнедин предпочел профессии дипломата профессию журналиста. Он был заместителем заведующего Иностранным отделом редакции «Известий ЦИК». Еще до этого он выступал в печати со статьями по международной политике за подписью «Номад».

КАТАСТРОФА И ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

1/4928

ЕВГЕНИЙ ГНЕДИН

КАТАСТРОФА И ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

МЕМУАРНЫЕ ЗАПИСКИ

СЕРИЯ «БИБЛИОТЕКА САМИЗДАТА», № 8

1977
АМСТЕРДАМ
ФОНД ИМЕНИ ГЕРЦЕНА

Printed in the United Kingdom for Alexander Herzen Foundation by Multilingual Printing Services, 200 Liverpool Road, London, N1 1LF

ПРОЛОГ

ДЕЛО О НАСЛЕДСТВЕ ПАРВУСА

ВВЕДЕНИЕ

Начало жизни

1-го декабря 1898 года в газете «Зексише Арбайтер Цейтунг», издававшейся в Дрездене, было опубликовано своеобразное объявление:

> *«Мы сообщаем товарищам по партии о рождении крепкого, жизнеспособного врага государства. Наш сын родился в Дрездене утром 29 ноября...*
>
> *Хотя он родился на немецкой земле, у него нет родины. Он обречен на изгнание вместе с нами, так как в ином случае саксонскому государству угрожала бы опасность, ибо мы враги господствующего в этом государстве класса капиталистических эксплуататоров. Однако мы сознаем, что связаны тесными духовными и политическими узами с эксплуатируемыми пролетариями Саксонии. Мальчик будет нами воспитан как боец в рядах социально-революционной армии. Борясь за освобождение рабочего класса от гнета капитала, он завоюет отечество и для себя.*
>
> *Парвус с женой».*

«Зексише Арбейтер Цейтунг» была газетой левого крыла германской социал-демократии. Парвус был редактором этой газеты и как раз тогда, когда у него родился сын, правительство Саксонии его выслало из страны. Редактором стала Роза Люксембург: очевидно,

она и подписала номер газеты с объявлением о рождении нового «врага государства» в моем лице.

Этот чудом сохранившийся среди старых писем номер саксонской газеты более чем полувековой давности, напоминает мне о том, что Парвус, составивший это своеобразное объявление на третий день после того, как его сын явился на свет, ничего не сделал для воспитания своего первенца. Меня воспитала моя мать, убежденная социалистка, русская революционерка, идеалистка со светлой душой. Разойдясь с Парвусом, она в 1904 году вернулась на родину, в Россию; мне было тогда пять лет. Мальчик, который в своих первых играх сжимал в руке красный флажок, как дети воинов сжимают в кулаке эфес сабли, — увидел в деревнях Белоруссии красные знамена в руках русских крестьян. О революционных днях 1905 года у меня сохранилось такое же раннее воспоминание, какое могло бы остаться от первой увиденной в детстве грозовой зарницы, внезапно осветившей еще неведомый, но пленительный мир.

С малых лет я совершенно естественно считал себя бойцом именно *российской* «социально-революционной армии». Имена Маркса, Бебеля, Либкнехта я слышал еще в раннем детстве, но декабристы и народовольцы, о которых мне рассказывала мать и о которых я позднее читал в книгах, стали моими любимыми героями. Мать пела песни на слова Некрасова, чаще всего: «Укажи мне такую обитель, я такого угла не видал, где бы сеятель твой и хранитель, где бы русский мужик не стонал». Мальчиком я знал наизусть некрасовские «Размышления у парадного подъезда». Я восторгался Максимом Горьким. «Бурлаки» — называлось мое первое, беспомощное детское «Стихотворение в прозе».

Однако в отроческие годы на моем духовном развитии отразилась эволюция русской поэзии от Некрасова к Александру Блоку. Пушкин озарял эту смену времен как незаходящее светило. Русские символисты — считал я — указали мне на высоты и бездны в душевной

жизни человека, о которых я не мог узнать от «бойцов революционной армии», подчинивших все свои мысли стремлению к единой цели.

Таким образом мое мировоззрение сложилось под воздействием двух мощных течений идейной жизни: революционной социалистической идеологии и гуманной русской литературы, вдохновенной русской поэзии.

В детстве и в ранней юности эти два сильных идеологических влияния не противоречили друг другу, но позднее, в пору душевного созревания, мне трудно было сочетать воедино стремление бороться за общественные идеалы вместе с народными массами и жажду постигнуть неисчерпаемые богатства человеческой личности, человеческой души. Хотя это был конфликт равноправных сил, он не перерос в трагедию. Мое поколение созревало в предреволюционную эпоху, и мы верили, что общественные конфликты и мятежные искания личности получат свое разрешение в революции.

Когда однажды в Одессе, в начале первой мировой войны, один из моих приятелей-студентов, стоя на каменной тумбе под акацией, читал нам строки Валерия Брюсова: «Где вы, грядущие гунны, что тучей нависли над миром», — я и радовался, слыша поступь грядущей революции, и гордился тем, что, как мне казалось, я тоже принадлежу к «мудрецам и поэтам, хранителям тайны и веры», о которых писал Брюсов.

Еще обучаясь в средней школе и позднее, будучи студентом, я часто бывал в доме близких друзей матери — потомственных революционеров, большевиков, и состоял в нелегальных рабочих кружках. Мы пели революционные песни, в том числе и мало известную теперь, — «Телами нашими устлали мы дорогу», кончавшуюся словами: «Идет борьба миров». Однако предчувствие революции сказалось и в моих символических стишках.

Пожалуй, я вправе утверждать, опираясь на собственный опыт, что юношеская склонность к «модернизму», да и вообще увлечение новаторством в искусстве, впол-

не могут сочетаться с гражданскими чувствами и пафосом гражданского негодования.

Я вырос в атмосфере революционного идеализма, который мне внушила моя мать. Для нее вера в революцию и социализм была неотделима от веры в человека, от высоких моральных принципов. Одним из правил жизненного поведения, воспринятых мною с детства, было: считай, что человек хорош, добр, пока не обнаружится, что этот человек — плохой. Правда, мне пришлось убедиться на жизненном опыте, что люди слишком часто — плохи.

Когда пришло время мне поступать в школу, мы объехали несколько городов России, где у нас были родственники, в поисках гимназии с незаполненной процентной нормой для евреев. В Киеве, например, меня во время экзаменов классный надзиратель вызвал из класса, так как выяснилось, что норма заполнена, и мне незачем решать примеры на сложение и вычитание. Когда мы поселились в Одессе, моя мать не пожелала, чтобы я учился в еврейской гимназии; как всякий русский социал-демократ, она была противницей любой разновидности национализма. Мать решила меня определить в хорошее реальное училище, основанное немецкой общиной города Одессы, она полагала, что знание немецкого языка облегчит мне поступление в школу. И вот, когда мы побывали в реальном училище, мать сказала мне: — Директор согласен зачислить тебя во второй класс, если ты примешь лютеранство; иначе тебя зачислят в первый класс, хоть ты и выдержал экзамен во второй. Как ты хочешь поступить?

Я ответил, что, как известно, бога нет, поэтому мне все равно, к какой религии я буду принадлежать, и, следовательно, я согласен принять лютеранство.

Тогда моя мать, с трудом добившаяся в царской полиции, чтобы в ее паспорте было указано, что она неверующая, объяснила мне, что в данном случае речь идет не о вере в бога или неверии; я узнал, что поступок, который я был готов совершить, называется

ренегатством, отступничеством от своей национальности ради корыстных целей; в возрасте десяти-одиннадцати лет я получил строжайший урок, мне раз навсегда внушили, что такое принципиальность, объяснили, что я обязан соблюдать человеческое достоинство и что недопустимо любое приспособленчество ради личной выгоды.

В годы первой мировой войны я понял, что могу оказаться в конфликте с близкими людьми, и даже с матерью, из-за различной оценки злободневных политических событий. Речь шла об отношении к империалистической войне. Тогда я не имел возможности читать Ленина. Но мне было известно, что большевики — пораженцы, противники поддержки царского правительства в войне. Правда, я читал статьи Плеханова, опубликованные в легальных русских журналах. Я возмущался позицией Плеханова и мотивировкой оборончества. В отличие от окружавших меня людей, я в силу каких-то психологических законов (нельзя же говорить о другой социальной базе) объявил себя единомышленником большевиков. В маленькой квартирке моей матери — скромной библиотекарши, завязались политические споры, отражавшие политическую борьбу в стране и за ее пределами.

Наступило лето 1917 года. Мне очень близко то, что сказал Борис Пастернак о царившем тогда «сказочном настроении», об «ощущении повседневности, на каждом шагу наблюдаемой и в то же время становящейся историей», об этом «чувстве вечности, сошедшей на землю и всюду попадающейся на глаза».

Я был упоен революцией и ее обещаниями. Но в ту же пору меня постигло тяжкое горе — смерть матери в июне 1917 года. И жизнь и смерть открылись юноше одновременно.

Когда из Петрограда пришли известия о февральской революции, я вместе с небольшой группой студентов принял участие в захвате полицейского участка. Потом начались митинги и обнаружились разногласия между

недавними товарищами. Помню, как в коридоре университета мы спорили о том, кто совершил переворот в феврале-марте 1917 года: Комитет Государственной думы или Петроградский Совет рабочих депутатов. Я, конечно, был сторонником Совета.

Тревоги и споры усилились по мере размежевания общественных сил в России. Грозы лета 1917 года были предвестниками будущих зимних метелей.

Хотя, как сказано, поэзия русского символизма имела в моей личной жизни большое и благодетельное значение, нельзя отрицать, что увлечение миром поэзии сдерживало мою активность в общественной жизни. Вплоть до начала 1919 года я был главным образом занят проблемами личной, духовной жизни. Впрочем, многое еще казалось непонятным. Надо было, например, продумать и понять роспуск Учредительного собрания; (я не оцениваю события по существу, а привожу свидетельство современника). Нужно было отрешиться от розовых надежд весны 1917 года, усвоить мысль, что свержение царизма явилось лишь началом суровой борьбы. Выражаясь языком Александра Блока, скажу, что первоначально мне казалось, будто «музыка революции» — это и есть блоковский голос «свирели на мосту». Нужно было услышать и другое, не испугаться, когда загремели выстрелы, когда «запел пожар», как писал я сам в стихах, отражавших предчувствие революции. Но позднее все тот же Александр Блок дал мне услышать эту грозную музыку. Я вспоминаю волнение, испытанное нами, когда мы читали в Одессе в списках «Двенадцать» Блока, и несколько позднее — «Скифы».

Зимой 1918/1919 г. я был учителем группы крестьянских детей в деревне под Николаевом (лет с семнадцати я уроками зарабатывал средства к существованию). Я собирался в деревне готовиться к университетским зачетам. Но вскоре я бросил свои занятия древне-греческой философией и математикой, установил связь с подпольщиками в соседней деревне, а затем присоединился к партизанским отрядам, ведшим бои против

белогвардейцев и французских и греческих интервентов.

Сначала я помогал выносить раненых во время ночного боя. Однако утром двое бойцов решили, что меня следует расстрелять как белогвардейца: они заметили на моей студенческой тужурке блестящие пуговицы с двуглавым орлом. В штабе отряда разобрались, поняли, что пуговицы не решают дело. Предоставив в мое распоряжение двух бойцов, мне поручили объехать окрестные деревни и вовлечь местных крестьян в партизанские отряды. При всей моей неопытности я действовал довольно успешно: большинство крестьян ясно сознавало, что с белой армией возвращаются помещики. На деревенских сходах мне задавали только один вопрос: не потеряет ли свой земельный участок крестьянин, если уйдет из деревни в партизанские отряды? На этот вопрос я отвечал пылко и убежденно, что, наоборот, земельные участки будут увеличены, а безземельные крестьяне получат землю.

Бои, в которых я участвовал, не были ни особенно серьезными, ни особенно опасными. Интервенты быстро отступали. Когда мы под Одессой приблизились к морю, нас обстреливали с французских военных кораблей. Снаряд упал недалеко от той цепи, в которой лежал и я. Меня обрызгало водой из лужи, осколков не было. Позднее я, шутя, говорил, что меня спасла пролетарская солидарность, так как французские моряки стреляли холостыми снарядами. На моих глазах европейские рабочие и солдаты оказали помощь крестьянскому восстанию на юге России.

Через несколько месяцев после нашего вступления в Одессу, белые снова захватили город. Мне пришлось покинуть свою квартиру вместе с большевиком, который у меня скрывался. Целую зиму я жил нелегально в семье моей будущей жены и выполнял отдельные поручения по связи в большевистском подполье.

Когда весной 1920 года в Одессе была окончательно установлена советская власть, я, поработав в районных учреждениях, предпринял нелегкое по тем временам

путешествие на север. Я решил пробраться в Москву, в столицу революции.

Я оказался в Москве в особенно благоприятных условиях (я отнюдь не имею в виду материальную сторону, наоборот, я голодал). Меня приютили друзья и знакомые моей матери по эмиграции и по общественной деятельности в Одессе. Я находился среди людей, уверенных в том, что они творят великое историческое дело. На меня произвело большое впечатление, что это были широко образованные интеллигенты. В то же лето 1920 года меня в «Кафе поэтов» представили Валерию Брюсову со словами: «Вот еще один одесский поэт». Но я себя настоящим поэтом не считал.

В ту пору литературная жизнь в Москве бурлила, и самая литература того времени оставила глубокий след в культуре нашей страны; все же мне представляется, что ни в исторических трудах, ни в литературных произведениях еще не получила полного отражения царившая в Москве двадцатых годов атмосфера, когда поистине «повседневность становилась историей».

Осенью 1920 года мне стало известно постановление Совнаркома от марта этого года о возвращении в высшую школу студентов и о досрочном выпуске тех студентов, которые уже ранее обучались на старших курсах. Я возобновил занятия, на этот раз на Экономическом факультете Петроградского Политехнического института. Там вскоре студенческая масса меня избрала секретарем своего выборного органа. Я активно сотрудничал с тогда еще малочисленной «коммунистической фракцией» в правлении и общественных организациях института. Особенно тесно сблизился я с большевиками в институте в дни Кронштадского восстания. Тем не менее, я в партию не вступил.

Когда в 1921 году коммунисты, знавшие мое прошлое и мою деятельность в Политехническом институте, настойчиво предлагали мне вступить в партию, удивляясь, что я еще раньше этого не сделал, — я отвечал: «Рабочий идет в партию, повинуясь своим классовым инте-

ресам и революционным убеждениям, и не задумываясь над тем, какая у него идеология; но интеллигент может вступить в коммунистическую партию только, если у него сложилось определенное марксистское мировоззрение. Пока я не считаю себя созревшим марксистом. Я служил и буду служить делу социализма, но в партию вступлю, если мое мировоззрение будет совпадать с мировоззрением партии».

Давая такой, вполне искренний ответ, я имел в виду свои философские взгляды и присущий мне индивидуализм. В те годы я увлекался и Кантом, и Андреем Белым и не считал себя законченным материалистом. Мой ответ ленинградским коммунистам мне не раз приходилось повторять в последствии, когда я уже подал заявление о приеме в партию и должен был объяснять, почему я этого раньше не сделал.

Со студенческих лет я считал главным критерием правильности политической позиции, занимаемой мною и другими людьми, — преданность советскому государству.

Конечно, я человек, воспитанный революцией. У моей колыбели, в буквальном смысле этого слова, пели революционные песни, русские, украинские и немецкие. Мое созревание совпало с эпохой великих потрясений и великих надежд, когда сдвиги и перемены в обществе и в быту представлялись нам естественным состоянием. В атмосфере быстрых общественных изменений и переоценки ценностей легко могли проявиться, если не анархистские, то, во всяком случае, бунтарские настроения. В юности я не был им чужд. Однако, начиная с поворотного момента в моем развитии, революционные убеждения неизменно сочетались с борьбой за новую государственную власть. Мальчик, которого при его рождении отец назвал «жизнеспособным врагом государства», — превратился в достаточно жизнеспособного слугу государства.

Важной вехой в моем идейном развитии явилось чтение книги Ленина «Государство и революция». Я пре-

красно помню, как я читал ее осенью 1920 года в Петрограде. Я начал ее читать в ясный прохладный день на пустой передней площадке прицепного вагона трамвая, который вез меня из города в Лесной, где я жил в студенческом общежитии. Проезд в трамвае был бесплатный; он мчался по пустынным улицам города Петрокоммуны и затем мимо заколоченных частновладельческих дач (домов отдыха тогда еще не было). Предстоял голодный день, какими были и предыдущие дни. Я с увлечением листал книжку, которая, по моему тогдашнему мнению, объяснила мне почему надо разбить старую государственную машину и почему, вместе с тем, нужна новая государственная власть. Я проникся убеждением, что надо строить новое государство, которое, будучи глубоко демократичным, каким не было ни одно государство ранее, станет важным орудием в борьбе за обновление человеческого общества и что, таким образом, подготовляется исторически закономерное отмирание государства.

Обучаясь на экономическом факультете, я с увлечением читал статьи и слушал лекции о планировании экономической жизни и о том, какие огромные перспективы открывает планирование именно перед Россией, отсталой и богатой страной. Тогда все эти мысли о плане были совершенно новыми и увлекательными. На экономическом факультете лекции о планировании читал Осадчий, впоследствии заместитель председателя Госплана, а позднее — жертва сталинских репрессий.

В начале двадцатых годов мы, будущие работники государственного аппарата и будущие инженеры, видели в советском государстве не столько орудие мировой революции, сколько орудие революционного переустройства жизни в самой России. Близость мировой революции, во всяком случае, — ее историческая близость, у нас не вызывала сомнений. Но именно поэтому мы видели в европейской революции неотвратимый процесс, двигателем которого являются силы, действующие вне России. А советское государство, в свою оче-

редь, рассчитывало на поддержку мировой революции.

Только к концу двадцатых годов, когда послевоенная стабилизация капитализма развеяла надежды на скорую революцию в Европе, изменились и наши представления (я говорю в первую очередь о молодых людях, пришедших со студенческой скамьи в государственный аппарат). Тогда идея строительства социализма в одной стране предстала пред нами как новая спасительная перспектива.

Естественно, что, став сотрудником НКИД, я с большим увлечением участвовал в осуществлении новых задач во внешней политике. Мне уже пришлось в опубликованных в 1967 году в «Новом мире» заметках о становлении советской дипломатии писать о том, как в двадцатых годах делались попытки сочетать защиту интересов Российского государства, а в дальнейшем Советского Союза, с последовательным интернационализмом.

Своеобразным воплощением синтеза интернационализма и служения советскому государству был человек, оказавший влияние на мою судьбу; он рекомендовал меня на работу в Наркоминдел. Я говорю об Юлиане Мархлевском. Польский революционер, участник борьбы польского крестьянства, он был деятелем и немецкого рабочего движения, одним из основателей союза «Спартак». Он в 1920 году возглавлял Польское Временное революционное правительство. А затем он стал одним из первых советских дипломатов, защищавших интересы революционной России на Дальнем Востоке и в Финляндии.

Юлиан Мархлевский был человек большого обаяния, от него веяло глубоким внутренним спокойствием, он проявлял к окружающим свое внимание в благородных и сдержанных формах. Мне запомнилось еще, что этот профессиональный революционер и политический боец был знаток литературы и искусства, и что искусство входило в сферу его постоянных интересов. Я вспоминаю как летом 1920 года, вернувшись чуть ли не на

один день с фронта, Мархлевский нашел время зайти с женой в тогдашнюю Морозовскую галерею, чтобы полюбоваться работами французских импрессионистов.

Мархлевский знал меня, когда я был еще ребенком, в Мюнхене. В Москве он принял меня в своем доме с большой теплотой, когда я явился к нему 22-летним юношей. Приглядевшись ко мне, Мархлевский пожелал рекомендовать меня на работу в Народный Комиссариат Иностранных Дел. Так, по рекомендации деятеля польского, немецкого и русского революционного движения я стал работником советского государственного аппарата.

Через два года после моего поступления на работу в НКИД СССР, когда я уже занимал должность заведующего Торгово-политическим отделением, разыгрались те события, о которых здесь повествуется.

ГЛАВА I

13 декабря 1924 года в мой маленький кабинет (бывшая кухня барской квартиры огромного дома на Кузнецком мосту) вошел мой сослуживец по Экономическо-правовому отделу НКИД СССР и спросил, читал ли я свежий номер «Вечерней Москвы». Я не читал. Он положил передо мной газету со следующей заметкой:

СМЕРТЬ ПАРВУСА

Берлин. 12 декабря. Скончился от удара Гельфанд — Парвус. Покойному исполнилось 57 лет.

КТО ТАКОЙ ПАРВУС?

Парвус (Гельфанд) — русский эмигрант. В 90-х годах и в начале 900-х годов Парвус работал в германской социал-демократии, примыкая к ее левому крылу.

В 1905 году он вернулся в Россию и принимал участие в первой русской революции. Был сослан и бежал обратно в Германию.

В эпоху мировой войны Парвус перешел в лагерь крайних социал-патриотов и играл роль прямого агента германского империализма.

Мой коллега вошел ко мне в конце рабочего дня, я как раз складывал бумаги, собираясь уходить. Стоя, я читал и перечитывал сообщение о кончине отца. Насколько помню, мой посетитель задал мне несколько вопросов, пытаясь уловить мою реакцию на случившееся, после чего удалился. Он был любитель острых ситуаций, и, вероятно, поэтому хоть и не был со мною близок, пожелал известить меня о кончине Парвуса. В те времена мы еще не задумывались над причинами

чрезмерного любопытства наших сослуживцев.

Не могу сказать, что я испытал тяжкое душевное потрясение, узнав внезапно о кончине отца. Но, конечно, я с большим волнением воспринял это известие, вспоминал покойную мать, задумался над моей странной судьбой. Ведь я видел отца в последний раз, когда мне было около пяти лет. В течение всего детства не слабело чувство обиды за мою мать, которую я очень любил. Она скончилась летом 1917 года, так и не поведав мне историю разрыва с отцом. Она никогда не жаловалась прямо на его поведение. Но еще ребенком я понимал, что она страдает по вине отца; он повинен в том, что она одинока, и в том, что нам нелегко жилось. С раннего детства я знал, что такое нехватка средств к существованию, я хорошо знал, что возникают такие, почти неразрешимые, задачи, как поиски работы, поиски дешевой квартиры, вернее комнаты, а то и вообще выбор города, в котором можно поселиться. Трудно приходилось в кайзеровской Германии политической эмигрантке из царской России. Нелегко ей жилось и по возвращении в Россию.

Еще мальчиком я относился к отцу критически и даже недоброжелательно не только по причинам личного характера. Я уже тогда знал то, что в лапидарной форме было изложено в вышеприведенной заметке «Вечерней Москвы». В свое время мать была крайне поражена известиями об отходе Парвуса от левого крыла германской социал-демократии, виднейшим теоретиком которого он был. Я догадывался, что по мнению матери первым звеном в политическом и моральном падении Парвуса явилось аморальное поведение в сфере личной жизни.

Известия о том, что отец разбогател, меня также восстановили против него. Я был воспитан в духе демократического идеализма и с детства относился враждебно — можно сказать, с плебейской ненавистью, — к богачам, к этим сытым, благополучным господам, которые живут материальными интересами и, конечно,

чужды высоким идеалам свободы, равенства и братства.

Когда мы с моим другом детства и юности Сашей Г., тоже выросшим в социал-демократической среде, хотели выразить свое неприязненное, а иногда и пренебрежительное отношение к какому-нибудь мальчику или юноше, мы говорили: «Ведь он сын богатых родителей!»

Я не был сыном богатого отца и не желал им быть.

Политические мотивы приобрели особую остроту, когда во время первой мировой войны Парвус объявил себя сторонником победы Германии. Я уже читал газеты, однако моя оценка поведения Парвуса определялась не газетной кампанией против него. Я был достаточно политически развитым подростком, чтобы пытаться составить собственное мнение о Парвусе. Я был убежден, что подлинные революционеры (я тогда уже слышал о Ленине) должны во имя народных интересов добиваться поражения буржуазного правительства своей страны. Следовательно, рассуждал я, Парвус изменил делу германского рабочего класса, а, перестав быть интернационалистом, он изменил и делу русского рабочего класса. Таков, насколько помню, был ход моих мыслей. Со всем пылом юного революционера я осуждал поведение Парвуса и твердо решил, что наступит час, когда я делом докажу отцу свою правоту.

Летом 1917 года я получил известие от отца. Мой свойственник, живший в Копенгагене и переписывавшийся со своими родными в Одессе, сообщил Парвусу мой адрес. Парвус прислал мне (очевидно с оказией, уже не помню) письмо на необыкновенной бумаге и еще более необыкновенные платиновые часы. Я воспринял его послание не как письмо от отца, а как «письмо от неизвестного». По почте я ответил Парвусу, что не желаю принимать от него подарки и не стану поддерживать с ним личные отношения, пока не получу от него объяснения по поводу его общественной и политической деятельности. Ответа не последовало ни в тот год, ни позднее. Письмо отца пропало во время моих

различных странствий, а часы, которыми я не пользовался, я продал уже в двадцатых годах в Москве, когда нужны были деньги накануне рождения ребенка.

Летом 1920 года, готовясь в Москве к откомандированию в высшую школу для возобновления занятий, я при выдаче каких-то новых документов (кажется уже называвшихся трудовыми книжками) переменил фамилию Гельфанд на фамилию Гнедин. Тем самым я раз и навсегда порвал с Парвусом, «зафиксировал документально», что у меня свое собственное общественное лицо.

Я не намерен был скрывать и никогда не скрывал, что мой отец — Парвус, но я хотел быть самим собой, самостоятельно сформировавшимся человеком, жизненная линия которого определяется им самим, а не его «происхождением».

Именно по той причине, что я не хотел, чтобы люди относились ко мне как «к сыну Парвуса», я обычно избегал встреч с людьми старшего поколения, знавшими Парвуса лично. Когда Л. Г. Дейч, в 1905 году пошедший в ссылку вместе с Парвусом, а при Советской власти живший в доме для престарелых революционеров, пожелал меня видеть, я к нему не пошел. Труднее было мне уклониться от приглашения высоко чтимой мною Клары Цеткин. Все же и к ней я не пошел, так как считал, что она пожелала видеть не Евгения Гнедина, а Женю, сына Парвуса. Я совершил грубую, непростительную ошибку, хотя бы потому, что, разыскивая меня, Клара Цеткин, вероятно, думала прежде всего о том, что я сын ее друга Татьяны; ведь она переписывалась с моей матерью вплоть до ее кончины в 1917 году.

Моя встреча с семьей Мархлевского была исключением из правила.

Желание быть самим собой, отречение от отца, внутренне пережитое и продуманное, и наряду с этим неприятное чувство, что мне все же надлежит отмежеваться от Парвуса или, по крайней мере, разъяснять, что я с раннего детства с ним разлучен, — все это по-

родило во мне некоторый комплекс неполноценности, который мне пришлось преодолевать. Порой я говорил с горькой иронией: «Когда я помру стариком, кто-нибудь скажет: вот хоронят сына Парвуса...».

Кончина Парвуса напомнила мне, что я его сын. Первые минуты преобладало чувство горечи от сознания, что я, выросший без отца, никогда его не увижу. Наряду с этим чувством какого-то детского огорчения я испытывал досаду взрослого человека, который из-за роковых обстоятельств лишился возможности выполнить важную жизненную задачу.

Эта задача, как я полагал, заключалась в том, чтобы, встретившись с Парвусом, указать ему, как он виноват перед моей матерью, и изложить серьезные политические обвинения; я представлял себе, как я задал бы отцу неприятные для него вопросы. В воображении я объяснялся с ним не просто как сын, а как убежденный социалист. Я напомнил бы Парвусу, что он был теоретиком левого крыла германской социал-демократии и активным участником русской революции 1905 года. Порой я представлял себе, как после принципиального политического объяснения, даже резкой стычки, наша встреча завершилась бы содержательной беседой с человеком, к которому я не мог не испытывать глубокий интерес.

(Теперь я могу себе примерно представить, что ответил бы мне Парвус на упреки, касающиеся его семейной жизни. С присущей ему резкостью и бескомпромиссностью он повторил бы мне лично то, что я теперь прочел в его книгах; при встрече с отцом меня ранили бы его слова о том, что в силу его отношения к жизни его стиль жизни «взорвал узкий круг семьи»: меня оскорбили бы его объяснения, что ему необходимо было сохранить свободу и духовную независимость, и поэтому он, по его словам, расстался с моей матерью и со мной. Парвус, вероятно, отвел бы мои политические обвинения, заявляя, что он оставался социалистом по своим взглядам и революционером по своему мировоз-

зрению. Такое его заявление меня бы безусловно не удовлетворило, оно и в самом деле неубедительно. С другой стороны, на меня могло бы произвести сильное впечатление, если бы Парвус мне сказал то, что он декларировал в одной из своих полемических брошюр: «В области мысли я не признаю никаких компромиссов. Я все подвергаю критике — революцию, социализм, включая понятия добра и зла, справедливости и нравственности. Кто я такой, вам никак не понять, — вам, кто счел себя революционером под влиянием чувств или поверив в программу, либо под воздействием чьих-то слов, по традиции или в силу случайных обстоятельств, вам не понять, кто я такой, ибо я революционер мысли!».

Мне пришлось бы задуматься над этими словами, я заметил бы в них перекличку с присущим мне в те молодые годы преклонением перед силой человеческого разума. Однако я безусловно не согласился бы с утверждением, будто можно, ссылаясь на силу интеллекта, оправдывать аморальные поступки).

Мне было 25 лет, когда я узнал, что встречи с отцом и беседы с ним не бывать.

* * *

В первые же часы, тут же, в служебном кабинете, мои мысли обратились от прошлого, от воображаемых и невозможных встреч к действительности, к практическим последствиям случившегося. Поскольку я не состоял в партии, у меня не было непосредственных причин обращаться за указаниями в какую-либо партийную инстанцию. Я и не нуждался в директивах, а принимал решение в согласии с моим социалистическим мировоззрением, с моими политическими убеждениями. Мне было ясно — да я и не задумывался над этим — что я не воспользуюсь богатством отца. Однако этим решением не исчерпывались выводы, которые я сразу же сделал из случившегося.

Я был тогда плохо осведомлен о деятельности Пар-

вуса в годы, предшествовавшие его кончине, ничего не знал о его личной жизни, о возможных причинах его смерти. Но я знал, что он был крупным политическим деятелем в лагере, враждебном советской стране, он был финансовым магнатом.

Рассуждая как работник дипломатического ведомства, то-есть политического аппарата, я тут же пришел к мысли, что мои права на наследство такого деятеля, каким был Парвус, могут быть использованы в интересах советского государства. Я обрадовался, что судьба открыла передо мной возможность совершить поступок, полезный для моей советской родины.

Как я упомянул, рабочий день уже пришел к концу. Но оказалось, что член коллегии НКИД СССР В. Л. Копп еще в Комиссариате. Я тотчас же отправился к нему и высказал свои чисто деловые предложения, связанные с кончиной Парвуса и ее возможными последствиями. Копп уже знал меня: при переговорах о торговом договоре с Финляндией он был опытным председателем, а я — молодым секретарем советской делегации. Виктор Леонтьевич сразу же отозвался на мои соображения, вероятно, изложенные не очень продуманно, но зато пылко, — и сказал, что поставит вопрос о моем немедленном выезде в Берлин.

Когда я из НКИД шел домой, мои мысли уже были главным образом заняты перспективой неожиданной командировки в Германию с таким необычайным поручением.

Дома я рассказал о случившемся моей девятнадцатилетней жене, тогда уже матери полугодовалой дочки. Жена отнеслась с полным пониманием и одобрением и, прежде всего, с доверием к моему решению отказаться от наследства и поехать в Берлин, чтобы передать капиталы и предприятия Парвуса советскому государству. Я понимал тогда и хорошо понимаю сейчас, что у Нади не возникло и мысли о соблазнительной возможности воспользоваться теми благами, которые ей лично принесла бы моя доля наследства. Нас связывало такое

глубокое чувство, что она, конечно, не испытывала ни малейшего беспокойства по поводу того, что я уеду в Германию и окажусь в положении богатого наследника, перед которым открываются широкие перспективы.

В 1924 году мы оба были так молоды! Теперь мы вспоминаем с женой, что нас тогда манила неизвестность, борьба во имя высокой цели, нас радовало, что начинается «большое, подлинное Приключение».

Может быть, нужно все же читателю пояснить, что в описываемое время принятие богатого наследства советским гражданином не было чем-то нереальным. Ведь в 1924 году в нашей стране бушевала стихия нэпа. В то время можно было любые суммы в валюте получать из-за границы. В Москве, у Ильинских ворот открыто, а в сотне мест чуть прикрыто, совершались сделки с иностранной валютой. Наконец, мы могли бы уехать заграницу.

В те годы многие находились перед альтернативой, многое еще не было окончательным. Переезд в Москву из других городов, поступление на периферии или в столице на «советскую службу», все это часто были акты серьезного выбора. Такова была психология и пожилых людей, таких, например, как родители моей жены: он — бывший земский врач, она — преподавательница русского языка, прирожденная просветительница. Они совершенно перестроили свою жизнь, когда оставили в Одессе большую квартиру, хорошую работу и поселились в Москве в одной комнате, но включились в московскую жизнь, полную забот и больших надежд.

Я и мои друзья верили, по меньшей мере надеялись, что наступила историческая эпоха освобождения людей от материальной зависимости; после тяжких испытаний должна наступить в советской стране пора расцвета, полноты духовной жизни. Я хорошо понимаю, что далеко не все мои современники были во власти подобных иллюзий; по-иному рассуждали не только противники революции, но и многие ее сторонники. Однако я и мои товарищи не составляли редкого исключения.

Как бы то ни было, проявленное нами с женой в деле о наследстве бескорыстие (чего мы не сознавали) не было нашей личной доблестью, а отражало наши гражданские настроения, у меня осознанные, у Нади — само собой разумеющиеся. Хотя наше поведение было обусловлено определенными личными чертами, на нем сказалось то, что иногда называют «эпохальными характерами». В переломные исторические периоды характеры вовсе не «исторических» персонажей могут определяться мировыми событиями и общественными переменами. Сами того не сознавая, люди совершают такие поступки, каких они или им подобные люди, не совершили бы в иных исторических или общественных условиях.

Разумеется, определение жизненного пути и линии поведения не есть единовременный акт. Это результат предшествующего развития, которое у мыслящего и нравственного человека сопровождается раздумьями, поисками, порой нелегкими.

Одной из существенных черт того «эпохального характера», который складывался в годы революции и в первые годы формирования всеобъемлющего государственного аппарата, являлась новая форма самоутверждения и продвижения по общественной лестнице; человек приобретал определенное положение в обществе («социальный статус») не в результате удовлетворения каких-либо своих материальных интересов, а потому что участвовал в общем деле.

Я позволяю себе высказать некоторые общие замечания, выходящие за рамки самого «дела о наследстве», так как, несмотря на своеобразие этого эпизода, рассказ о нем может быть воспринят как часть более общего повествования о формировании мировоззрения и сложных путях развития советской интеллигенции, той, которая сыграла значительную роль в жизни советской страны.

Замечания более общего характера неизбежны по ходу моего повествования и по той причине, что я рассказываю о своих поступках и мотивах, какими они

были *в то время, о котором я пишу.* В этой части воспоминаний я не знакомлю читателя с тем, как я оцениваю многие прошедшие события теперь, *в то время когда я пишу,* когда я восстанавливаю в памяти далеко не только «идиллические» периоды, но и страшные времена репрессий и разочарований.

ГЛАВА II

На другое утро после получения известия о смерти Парвуса, как только я пришел в НКИД, мне было сказано, чтобы я позвонил Н. И. Бухарину по кремлевской «вертушке» (тогда это было для меня непривычно, а с Бухариным я не был знаком). Очевидно, Бухарин был тем членом Политбюро, от которого зависело решение вопроса, поднятого мною через В. Л. Коппа. Николай Иванович спросил меня, зачем я хочу ехать в Берлин; я сказал, что хочу использовать мои наследственные права в интересах нашего государства. Этого ответа, данного по телефону, оказалось достаточно. Мне верили, и в тот же день командировали со служебным паспортом в Берлин.

Прямого сообщения через Варшаву еще не было; еще шла подготовка железнодорожной конвенции. Я ехал через Латвию с пересадкой в Риге.

Я взял с собой несколько номеров «Крокодила» (они мне однажды пригодились в Берлине), еще какие-то брошюры и почему-то годовой отчет профсоюза Медикосантруд. Латвийские пограничники произвели обыск в моем чемодане (незаконно, так как я был транзитным пассажиром) и изъяли отчет работников медикосантруда, так как на обложке были изображены люди в белых халатах, но с красными флагами. На ближайшей от границы остановке, ночью, в вагон вошел господин в бекеше и в охотничьей шляпе с пером. «Типичный помещик», — подумал я. Отозвавшись на какую-то реплику проводника, новый пассажир раздраженно заметил: «А, вы из Совдепии!». Этого было достаточно, чтобы я сказал себе, что нахожусь среди врагов советской страны.

Но встреча ранним утром с Ригой была приятной и

бодрящей. Вокзал и город были озарены розовым светом, все блестело и сияло. Но мне надо было торопиться, я хотел поспеть на похороны отца. Я попытался выяснить, нельзя ли продолжать путь в самолете, что было тогда редкостью. Но сонный дежурный в привокзальном отеле, где помещалось бюро путешествий, сообщил, что в этот день улететь не удастся. Я вернулся на вокзал и уселся в светлом вагоне, где имелись только сидячие места, но было непривычно удобно (давно ли я пробивался из Одессы в Москву в теплушке). Я купил берлинские иллюстрированные издания и включил поездное радио, какого в наших поездах еще не было.

По пути промелькнули за окном нищие деревни и унылые станционные платформы западной Белоруссии, тогда входившей в состав Польши. Ночью мы проехали через ярко освещенный варшавский вокзал и пересекли польско-германскую границу.

Проснувшись и глянув в окно, я впервые со времени младенчества увидел страну, в которой родился, но которая не была и не стала моей родиной. С Германией связал свою судьбу, свою личную и политическую жизнь мой отец. Я же, его наследник, выросший на русской почве, был кровно связан с Россией, с русской культурой. Иначе и быть не могло. «Национальность — не цепи, — писал В. Г. Короленко, — наша родина там, где сформировалась наша душа, выросло сознание».

И вот, я глядел на дорогу, обсаженную аккуратно подстриженными деревьями, на дома с красными черепичными крышами, на пейзаж, как будто новый для меня и все же знакомый не только по книгам; в памяти возникали какие-то смутные воспоминания раннего детства, когда я в Мюнхене, держась за юбку матери, любовался первомайским карнавальным шествием рабочих организаций, помахивая красным флажком. Вероятно, поэтому, оказавшись в Германии, я — уже приученный оперировать общими политическими понятиями — с чувством острой враждебности разглядывал

шуцманов на станциях, а к рабочим на железнодорожных путях и на крыше какого-то задымленного здания приглядывался с симпатией и искал в их облике черты подлинных пролетариев.

В Берлине, на вокзале Фридрихштрассе, я изловчился выйти через тот единственный подъезд, у которого еще стояли для любителей конные экипажи. Несколько недоумевая, почему нет такси, я все же поехал на извозчичьих дрожках в посольство; тот-час за нами побежали мальчики с криком: «Богатый англичанин!»

Неплохая прелюдия для прибывшего в Берлин «богатого наследника» . . .

Восседая в экипаже, я подъехал к ныне уже не существующему старинному зданию на Унтер ден Линден 7, где через одиннадцать лет мне пришлось работать в качестве первого секретаря Посольства СССР.

Работники полпредства встретили меня радушно; я сразу же попросил выяснить, когда и где состоятся похороны Парвуса. К моему удивлению, справку немедленно раздобыла телефонистка. Секретарь посольства А. А. Штанге сообщил мне, что похороны уже состоялись накануне в Дрездене.

С первых же дней стало ясно, что придется вести борьбу за наследство. Завещания не было. Началась сложная тяжба, кое в чем напоминавшая классические литературные ситуации, например, «дело Джерндайса против Джерндайса», описанное в романе Диккенса «Холодный дом».

Во время многомесячных хлопот по «делу о наследстве Парвуса», я каждый свой шаг, все встречи, этапы занимательной эпопеи фиксировал в справках, которые сдавал в посольство. Иногда посол, Н. Н. Крестинский, включал сведения о ходе наследственного дела в свои сводные доклады. Самые справки посылались в Москву. В каких-то архивах они сохранились. К сожалению, я не имею доступа к архивам дипломатического ведомства, а мои личные записи, дневники и бумаги пропали; их забрали, когда в мае 1939 года я был арестован по

прямому приказу Берии.

Таким образом, я лишен возможности подробно и точно изложить историю дела, представляющего интерес и с точки зрения политической, и с точки зрения истории нравов. Я расскажу эту историю по памяти. Если будущий исследователь заинтересуется архивными материалами, он, вероятно, обнаружит, что я многое забыл и во многих частностях неточен. Однако он убедится, что я изложил правильно суть дела и свою собственную линию поведения.

Об этой своей собственной линии поведения хочу сказать еще несколько слов. Я уже отмечал, и мне еще придется по ходу рассказа указывать, что в моих решениях и поступках я исходил из такой «рабочей гипотезы»: я действую в качестве работника государственного аппарата, которому поручено извлечь максимум пользы для государства из «дела о наследстве Парвуса». Никаких других интересов и целей у меня быть не должно. Характерно, что я не стал узнавать, где находится могила Парвуса и не подумал о том, чтобы навестить могилу отца. Ведь это не входило в круг дел «чиновника, находившегося в служебной командировке» . . .

Откуда такая душевная холодность? Ведь я не слыву бессердечным, кое-кто даже считает меня склонным к сентиментальности. Это, конечно, не просто проявление черствости или бесчувственности. Очевидно, это черты все того же «эпохального характера». Выбирая жизненный путь, революционная интеллигенция, которая отдавала все силы социалистическому строительству, советскому государству, совершила не только политический выбор, но и выбор в сфере моральних понятий. Мы — сознательно или бессознательно, последовательно или эпизодически — отказывались от добрых чувств, душевной мягкости, от сентиментальных, как нам казалось, слабостей, порой от личных склонностей во имя умственной дисциплины, ради трезвости в оценках и решениях, во имя готовности подчинить личное

общественному, да и просто во имя безоговорочного послушания.

Когда человек сильной мысли заявляет, как это случилось с Парвусом, об относительности понятий добра, это опасно. Если революционные романтики отвергали человечность как «абстрактный гуманизм» и притом во имя абстрактной революционности, они приносили вред собственному делу. Но еще хуже, если люди, считающие себя революционерами, «в соответствии с программой или по традиции», пренебрегают требования морали. Результатом может быть рассудочность, суровость и безразличие к нравственным правилам, которые порой перерастают в автоматизм.

Я повествую об идиллических временах, когла благородные побуждения, сохраняя свою свежесть, шли на пользу молодому советскому государству.

ГЛАВА III

Прибытие из Москвы в Берлин никому неизвестного старшего сына Парвуса, претендующего на наследство, было, конечно, крупной сенсацией. Но мое появление не было первой сенсацией в деле о наследстве миллионера Парвуса. Еще в дни его болезни произошло событие, имевшее существенные последствия. Умирающего миллионера уговорили оформить брак со своей стенографисткой немкой, у которой от него была дочь. Тотчас после этого и перед самым моим приездом в дело вмешались бывшие компаньоны и кредиторы Парвуса: они потребовали объявить опеку над наследством. Весьма возможно, что этот шаг был предпринят и получил поддержку властей и суда, потому что стало известно о моем предстоящем приезде. Вероятно, германское посольство в Москве, выдав мне визу на въезд, сообщило по телеграфу о том, что сотрудник советского дипломатического ведомства собирается претендовать на наследство, а, следовательно, и на архивы видного деятеля социал-демократической партии и финансиста, который был связан тесными нитями с правительством Веймарской республики. (Теперь я выяснил, что в архиве Парвуса могли оказаться важные документы, относящиеся к 1917 году). Вероятно, все же при оформлении опеки над наследством Парвуса обо мне не упоминали. Кажется, основной аргумент был связан с попыткой оспаривать законность оформленного в больнице брака Парвуса с его стенографисткой, так как можно было утверждать, что он в эти дни уже не находился в здравом уме и памяти. Большую роль сыграло и то обстоятельство, что по общему мнению (оно было ошибочным) Парвус был несметно богат, компаньоны и кредиторы надеялись поживиться с помощью адвокатов и суда.

Самое введение меня в права наследника оказалось наименее сложным этапом в борьбе за наследство. В бумагах, оставшихся от моей матери, сохранились документы о моем рождении в Дрездене, и я их привез с собой, так что берлинский суд довольно скоро признал меня наследником доктора Александра Гельфанда (Парвуса). Была также признана законность брака Парвуса с его стенографисткой (к сожалению, я забыл девичью фамилию последней жены моего отца). Было еще три сына Парвуса, но так как их матери не догадались или не сумели в свое время оформить брак с Парвусом, их дети не могли претендовать на наследство. Законными наследниками были признаны три человека: молодая вдова (ей причиталось две восьмых), ее дочь шести лет (ей причиталось три восьмых) и старший сын от первого брака (мне причиталось три восьмых). Носились слухи, будто у Парвуса был еще один взрослый сын, но он не давал о себе знать. Мне попадались и в литературе упоминания, будто у Парвуса был сын примерно моих лет, и будто тоже дипломатический работник, но на германской службе. Думаю, что это ложные слухи. Особенно неправдоподобны утверждения, будто этот неизвестный потомок Парвуса — мой ровесник. До рокового разрыва моих родителей связывала духовная близость и любовь. О характере их отношений свидетельствует хотя бы единственная реликвия, у меня сохранившаяся: мадонна, дешевая репродукция картины, подаренная атеистом Парвусом его жене-атеистке накануне рождения сына, накануне моего рождения...

Вскоре после приезда в Берлин я познакомился с моей мачехой; мы были примерно одного возраста. Темноволосая стройная баварка была привлекательной женщиной, но симпатии она не вызывала. Конечно, обстоятельства для нашего знакомства были малоблагоприятными, мы встретились, если не как враги, то во всяком случае как соперники при предстоящем разделе наследства; но мне в ней не понравилась ее неинтеллигентность; к тому же она не проявляла ни душевного

волнения, ни каких либо естественных эмоций, казалось бы неизбежных в столь трагические для нее дни. Короче говоря, у меня создалось впечатление, что предо мною молодая соблазнительная секретарша-стенографистка, сумевшая использовать слабости шефа. Правда, в делах она плохо разбиралась, ее опекал приехавший из Баварии брат, провинциальный аптекарь.

Но у моей молодой мачехи был еще один советник и помощник: мой брат, сын Парвуса от русской социал-демократки, которая была фактической женой Парвуса после его развода с моей матерью. Лео был моложе меня лет на шесть; он говорил по-русски с небольшим акцентом. Насколько я знаю, окончив гимназию, он занялся живописью, но не был человеком искусства. По решению немецкого суда, он был обделен, лишен прав на наследство. Я понимал его трудное положение и старался проявить внимание к нему. Я помнил, что с точки зрения советского закона тот факт, что брак родителей не был оформлен, не лишает детей наследственных прав. Мне хотелось установить дружественные отношения с братом, тем более, что к этому должен был побудить естественный взаимный интерес. Между тем знакомство с этим моим взрослым сводным братом оказалось чрезвычайно тягостным. Он не был склонен, а, вероятно, и не был способен проявить интерес к брату из России; ему не пришло в голову, что я могу считать себя его должником, что я хотел бы к нему отнестись благожелательно, если не по-братски. Все свои расчеты и надежды Лео связывал с той долей наследства, которую должна была получить вдова Парвуса. Этот суетливый и тщеславный юноша пытался после смерти отца выступить в роли опекуна вдовы и ее дочери. Между тем, как мне стало позднее известно, отец был недоволен его образом жизни и он был в доме на положении непутевого приживальщика.

Я мог бы отнестись безразлично к тому, что Лео держится неприятно и неумно. Но тягостно было одно своеобразное обстоятельство: мне казалось, что между

нами большое внешнее сходство, и я воспринимал моего сводного брата как живую карикатуру на себя.

Мне казалось, что его тяжелый чувственный рот представляет собой ухудшенный вариант моих губ. А ресницы у него были такие же длинные, как у меня. Я отдавал себе отчет в некоторой непропорциональности моей фигуры; поэтому его неприятную полноту я воспринимал как досадное напоминание о моих недостатках. Его поверхностная артистичность и фатовство напоминали мне мои повадки и пустое эстетство в тот год, когда я поступал в университет в дореволюционной Одессе. Таким образом, встречи с Лео вызывали у меня досадное чувство, и потому, что мы были явно чужды друг другу, и потому, что между нами существовало сходство.

Иначе я отнесся к своей сводной сестре, маленькой Эльзе. Дочь Парвуса и молодой баварки оказалась милой толстушкой, она мне понравилась, и я завел с ней дружбу. Мачеха в свою очередь стала относиться ко мне чуть проще, когда я показал ей фотографию моей юной жены с малюткой на руках. «Очень хороша», — сказала мачеха с оттенком удивления. Видимо, у нее было превратное представление о наружности жителей Советской России.

Любопытно, меня раздражало внешнее сходство между мной и моим сводным братом и забавляло то, что моя сводная сестра чем-то напоминала мне мою шестимесячную дочку. А когда я вернулся в Москву и моя прелестная дочурка засеменила мне навстречу (она начала ходить в мое отсутствие), я снова обнаружил некоторое отдаленное, но несомненное сходство между внучкой Парвуса от его первого брака и его дочерью от четвертого брака.

Я недолго поддерживал отношения с вдовой и со сводным братом. В таких личных контактах не было надобности по ходу наследственной тяжбы. К тому же в результате необычайного стечения обстоятельств я довольно скоро понял, что вдова и сводный брат вряд

ли заслуживают моего доверия.

По каким-то чисто деловым причинам мы с мачехой должны были встретиться и условились, что я к ней зайду. Когда же я явился в назначенный час, под вечер, ее не оказалось дома. Я провел вечер в обществе М. Бельского, моего знакомого по Одессе, находившегося проездом в Берлине; его постоянным местом работы было полпредство СССР в Праге. Он был опытнее меня и взялся мне показать ночной Берлин. Мы забрели в ресторан «Барберина». Как во всех подобных заведениях, в «Барберине» ужинали и кутили состоятельные люди и там же подыскивали себе клиентов легкомысленные дамы. Не помню, по какой причине, кажется, потому, что меня смутила роскошь главного зала, мы поднялись на галлерею, опоясывавшую зал. Все было для меня ново, в том числе и фокстрот, который мне тогда казался неприличным танцем. На галлерее было тесно, пары топтались между столиков. Внизу танцевали на площадке перед эстрадой, где расположился джаз, тоже бывший тогда новинкой, пожалуй, не только для меня. В общем, я счел, что попал в «злачное место».

Я не был ни слишком наивен, ни чрезмерно добродетелен. Однако, ночной ресторан в западной части Берлина во время начинающейся высокой коньюнктуры явился для меня, конечно, непривычным зрелищем. Обстановка, которая мне открылась, лишь отдаленно напоминала одесские кафе, куда я заглядывал с любопытством, будучи первокурсником, и была чуть схожа с нэпманскими ресторанами в Москве, от которых я с возмущением отворачивался. Писал же я в 1923 году в «стихах для себя»: «Прохожу по Петровке ночью, пахнет пивом и черным кофе, изрыгают подвалы пьяниц, проезжают на дрожках воры... Черт побери, во что же превратилась Москва во мраке! Помните же, собаки: революция продолжается!»

Я говорю здесь об этом, чтобы понятна была моя реакция на неожиданные впечатления, полученные в

«Барберине». Когда я с острым любопытством наблюдал, как внизу фокстротируют щеголеватые господа и нарядные дамы в вечерних платьях, я вдруг узнал в танцующей паре знакомых мне людей и, вскрикнув, схватил за руку своего спутника. Мой двойник, мой сводный брат, облаченный в смокинг, танцевал внизу с вдовой моего отца! Надо знать, какое впечатление на меня производил впервые увиденный фокстрот в ночном ресторане, чтобы было понятно, почему моя реакция была так сильна. Мое впечатление было болезненно преувеличенным, но оно не было вовсе ложно. Лео не случайно выступал в роли советчика и покровителя молодой вдовы и своей мачехи.

Тот факт, что вдова и сын Парвуса чуть ли не через месяц после кончины мужа и отца вместе кутили в шикарном ресторане, подтверждал подозрение, что, когда Парвус был при смерти, его приближенные из корыстных соображений навязали ему оформление брака с его стенографисткой. Кроме всего, для меня было неожиданностью, что мои новые родственники и соперники в борьбе за наследство располагают средствами для того, чтобы проводить время в дорогом ресторане; они при встречах со мной неизменно давали мне понять, что объявление опеки над наследством поставило их в тяжелое материальное положение. Я же со своей стороны не удосужился разузнать или их расспросить, какое имущество отца фактически уже оказалось в их руках. Они, вероятно, весьма опасались, что я затрону эту тему, и не понимали, почему я этого не делаю. Они не могли догадаться, что меня интересует в первую очередь судьба предприятий Парвуса и архивов, а не реализуемые ценности.

На другой день после посещения ресторана я зашел к вдове и спросил, почему накануне в назначенное время ее не было дома. Она сказала, что ей было необходимо уйти к своим родным. Я промолчал, но то ли ее смутило выражение моего лица, то ли она сама чувствовала себя неловко, — быть может, в эту минуту я на-

помнил ей моего отца, — так или иначе, она смотрела испуганно и растерянно.

Я встретился и с другой женщиной, с которой Парвус был близок довольно долго. Фрау Шиллингер (я сейчас внезапно вспомнил ее фамилию, кажется, точно) была экономкой в доме Парвуса во время войны, в частности в Копенгагене, в годы его особенно успешных финансовых операций. У нее было два сына от Парвуса, еще два моих сводных брата. Эта уже не очень молодая немка с приятным лицом вызвала во мне большую симпатию, нежели законная вдова. Она производила впечатление неглупой, милой и какой-то уютной женщины. Я нашел в ней смутное чисто внешнее сходство с моей матерью, и мне подумалось, что мой отец должен был это заметить. В то время как с вдовой мне не о чем было говорить, с фрау Шиллингер мы охотно разговаривали. Она сдержанно упомянула о своем материальном положении, которое вряд ли было устойчивым. Можно было с уверенностью сказать, что она не посещает ночные рестораны. Я тут же подумал, что по справедливости следовало бы ей выделить какие-либо средства, если оправдаются предположения, что Парвус оставил миллионное богатство.

Два сына фрау Шиллингер — тоже мои сводные братья — не вызвали у меня никаких эмоций, ни положительных, ни отрицательных. С этими двумя немецкими мальчиками у меня явно не было ничего общего. Их дальнейшая судьба мне неизвестна.

Конечно, мой личный опыт, полученный при знакомстве с моими сводными братьями и сестрой, весьма своеобразен, но все же я должен констатировать, что родственные связи — понятие условное.

ГЛАВА IV

В связи с борьбой за наследство мне пришлось встретиться с некоторыми бывшими сотрудниками Парвуса. Одним из них был Бройер, директор принадлежавшего Парвусу Издательства литературы по социальным вопросам. (В литературе упоминается Брейнинг как редактор изданий Парвуса. Не знаю, спутал ли я фамилию или было два различных человека). Издательство было крупным предприятием, публиковавшим научные исследования, переводные издания (например, «Всемирную историю» Герберта Уэллса), популярные серии и несколько журналов, бывших рупором Парвуса.

Издательство занимало большое здание в деловой части Берлина. Мое появление там походило на прибытие наследного принца во дворец усопшего монарха. Когда я шел по коридору, служащие издательства через стеклянные двери с любопытством разглядывали нового патрона, каким они меня считали. Немолодая секретарша почтительно сопровождала меня в кабинет директора. Мальчик-посыльный, провожая меня, воспользовался благоприятным случаем и рассказал «новому хозяину», что ему приходится содержать свою мать, уверял, что ему можно давать важные поручения; почему-то он даже пытался продемонстрировать мне свои бицепсы.

Эти добрые люди заблуждались. Не знал моих подлинных намерений и мой дальний родственник, опекавший меня в Берлине. Я. Р. Вугман (Весов) был политическим эмигрантом дореволюционных времен; после Октября он принял советское гражданство, и, будучи образованным экономистом, сотрудничал в советской прессе. С его семьей я был близок еще в

детстве, в Одессе; он был женат на двоюродной сестре моей матери. Мне было очень неловко, что я как бы обманывал милых, интеллигентных людей и заботливых родственников, которые не подозревали, что я прибыл в Берлин не просто потому, что был законным наследником Парвуса, а в качестве советского работника, добывающего наследство Парвуса для государства. Вне посольства никто из моих берлинских знакомых и друзей не представлял себе, до какой степени я был далек от мысли, что мои наследственные права могли бы меня обогатить.

Не предполагали этого и бывшие компаньоны Парвуса. Директор издательской фирмы Бройер познакомил меня, правда, в самых общих чертах с положением издательства, преподнес мне несколько книг. Но он держался достаточно сдержанно, в частности еще и потому, что был функционером социал-демократической партии. Бройер заподозрил, что не все просто в моей борьбе за наследство, когда я (а вместе со мной работники посольства) проявили неосторожность.

По ходу розысков наследства выяснилось, что у Парвуса был сейф в одном швейцарском банке. К тому времени уже все заинтересованные лица находились в недоумении: миллионы все еще не были обнаружены. Поэтому имелись все основания предполагать, что еще не разысканные ценные бумаги, акции и наличные деньги хранятся в сейфе в Швейцарии. С согласия полпредства, я стал добиваться возможности поехать в Швейцарию, в Цюрих, чтобы присутствовать при вскрытии сейфа. Бройер со своей стороны проявил большой интерес к швейцарскому сейфу и предложил мне, что он похлопочет в швейцарском посольстве о выдаче мне швейцарской визы. Вот тут-то и была допущена ошибка. Я вручил Бройеру для передачи в швейцарское посольство мой паспорт. Это был служебный паспорт; мы в полпредстве не подумали о том, что надо было для этого случая снабдить меня общегражданским паспортом. Через день Бройер вернул мне

мой паспорт, заметив, что мне не может быть выдана виза на въезд в Швейцарию, так как между Швейцарией и СССР разорваны дипломатические отношения. (После убийства В. В. Воровского советское правительство объявило, что будет бойкотировать Швейцарию). «Ведь у вас служебный паспорт», — сказал мне с выразительной гримасой бывший приближенный Парвуса.

Когда в дальнейшем стали яснее мои истинные намерения как наследника Парвуса, Бройер в довольно занятной форме дал мне понять, что он меня раскусил. Я сидел у него в кабинете, когда ему позвонил по телефону какой-то деятель социал-демократической партии, и шел разговор о предстоящем митинге. Глядя мне прямо в лицо, Бройер сказал по телефону своему собеседнику: «Если коммунисты проявляют активность, надо им давать отпор . . .»

Что касается сейфа в Швейцарии, то при его вскрытии присутствовал в качестве моего доверенного лица немецкий адвокат социал-демократ Бенгейм. В сейфе оказались обрывки оберточной бумаги и веревочка.

Вместе со своим родственником, который первое время сопровождал меня при посещении немецких официальных инстанций, я отправился к назначенному судом опекуну над наследством Парвуса. То был юстицрат Вертхауэр (юстицрат — высшее звание, присваивающееся адвокатам). Вертхауэр возглавлял крупную нотариальную и адвокатскую контору, у него были еще четыре компаньона-адвоката, допущенные к выступлениям во всех судебных инстанциях Берлина. Несомненно, «опекун» был влиятельным лицом в судебной и адвокатской среде. Вместе с тем Вертхауэр являлся юрисконсультантом крупных финансовых предприятий, в том числе и связанных с деятельностью Парвуса. Вероятнее всего, Вертхауэр был лицом заинтересованным в деле о наследстве Парвуса, а может быть, и в сокрытии каких-то документов; можно было бы оспаривать его назначение опекуном, но ни я ни другие наследники этого вопроса не поднимали. Позднее фа-

милия Вертхауэра упоминалась в газетах в связи со скандальными аферами некоторых его клиентов, новых богачей, нажившихся в период инфляции.

Я напрасно предполагал, что при встрече с «опекуном» выясню причины объявления опеки, узнаю ее условия и возможные сроки ее снятия. Свидание было кратким и бессодержательным. Контора юстицрата находилась в мрачном здании в восточной части Берлина. Нас провели в неуютную, довольно темную и небольшую приемную. Обстановка в приемной ничуть не была рассчитана на то, чтобы подбодрить посетителя. Вероятно, с богатыми клиентами юстицрат Вертхауэр встречался в другом месте. Нас принял угрюмый господин с обрюзгшим лицом и в роговых очках (он, конечно, не носил черных очков, но у меня осталось в памяти мясистое лицо с полузакрытыми глазами и неприятным ртом). Вертхауэр держался со мной подчеркнуто неприветливо, а с сопровождавшим меня почтенным и интеллигентным литератором почти высокомерно. Он дал понять, что опека нескоро будет снята, что имеются крупные и необеспеченные претензии к наследникам, намекал, кажется, и на спорность прав вдовы. Нет сомнений, что Вертхауэр считал нужным показать мне и моему другу, что хоть я и являюсь старшим наследником, все же до поры до времени я не смогу оказать влияние на ход дела, да и вообще с моими правами в данный момент не очень собираются считаться. Я должен был понять, что исход наследственной тяжбы зависит от других, более влиятельных лиц. Нет сомнения, что солидный член берлинского адвокатского сословия действовал по поручению этих лиц, когда проявлял ко мне подчеркнутое безразличие и явно старался запугать главного наследника.

Одним из тех господ, которые поручили юстицрату избрать такую тактику при встрече со мной, был некто Георг Склярц. И вот однажды я получил от Склярца приглашение его навестить.

Склярц был известным дельцом, разбогатевшим в

годы инфляции. Вероятно, он был обязан своим богатством прежде всего Парвусу. Он был его компаньоном, когда Парвус во время первой мировой войны развернул свои нашумевшие операции по продаже Дании рурского угля и закупке датского бекона для Германии. Для осуществления этих операций Парвус создал несколько фирм и пароходную компанию, которая еще существовала ко времени его кончины, но потеряла свое значение. Все эти операции были задуманы как важный ход в политической стратегии: нейтральная Дания перестала экономически зависеть от Англии, ее угля, ее импорта бекона, и оказалась связанной экономически с Германией.

Парвус выдвигал идеи, разрабатывал стратегические планы, учитывавшие ход войны и конъюнктуру на мировых рынках, связывался с правительственными учреждениями вплоть до самых высших, где он играл роль эксперта. Между тем все коммерческие операции, порой и чисто спекулятивного характера, находились в ведении помощников и компаньонов Парвуса, одним из которых и был Георг Склярц.

Но близость Склярца к такому видному политическому и финансовому деятелю как Парвус придавала ему большую респектабельность и, очевидно, расширила круг его деловых интересов. Так, Склярц возглавлял крупную и популярную в те времена кинокомпанию; в этой фирме работал, в частности, советский кинорежиссер Разумный, оставшийся в Берлине, кажется, не порывая с СССР, и Инкижинов — актер, игравший главную роль в фильме Пудовкина «Потомок Чингизхана», позднее вовсе порвавший с Советским Союзом.

Не помню, через кого Склярц меня нашел, но пригласил он меня без ведома прочих наследников. Я отправился к Склярцу один; его адрес был записан на бумажке; адрес гласил: Тиргартенштрассе, Приватштрассе, вилла такого-то. Адрес свидетельствовал о том, что Склярц живет в аристократическом районе. Сама Тиргартенштрассе, граничившая с знаменитым

лесопарком, считалась улицей богачей, но вилла Склярца находилась на Приватштрассе, то есть на частновладельческой улице, принадлежавшей не муниципалитету, а владельцам вилл. После довольно долгих поисков я нашел в конце безлюдного тупика ворота, за которыми была расположена вилла, которую Склярц, очевидно, приобрел в годы инфляции у разорившегося аристократа.

Привратник был предупрежден, он сразу же меня впустил, швейцар по звонку открыл тяжелую дверь и я очутился в большом холле. Казалось, в доме пусто. Не знаю, объяснялось ли такое впечатление большими размерами здания или тем, что Склярц назначил для свидания со мной такой час, когда его домашних и секретарей не было. Он хотел сохранить в секрете нашу встречу. Во всяком случае, я не видел никого, кроме самого Склярца и двух лакеев. Один из них проводил меня на второй этаж, а затем через продолговатый зал с длинным столом для пиршеств провел меня в большой кабинет.

Там в углу за письменным столом и под огромным портретом моего отца сидел упитанный, небольшого роста человек с мелкими чертами лица.

Конечно, роскошный дом на частновладельческой улице, гулкий холл, молчаливые лакеи, широкая лестница, богатая обстановка, какую мне приходилось видеть только в западных фильмах, — все это произвело на меня немалое впечатление; визит к Склярцу был поистине интересным приключением.

Однако облик хозяина дома показался мне вовсе неинтересным. Первоначально я вообще не отводил глаз от портрета Парвуса. Я имел возможность получить представление о внешности моего отца. На портрете был изображен несколько тучный человек с крупной головой красивой формы. «Голова Сократа на туловище слона», — такой отзыв о наружности Парвуса мне позднее дважды встретился в воспоминаниях его друзей. Меня же на портрете поразил огромный, высокий

лоб и глубоко задумчивое, пожалуй, даже грустное, выражение лица. Несколько странным мне показалось, что у отца была борода.

Склярц сразу заговорил со мной о портрете, вероятно, не только потому, что я проявил к портрету нескрываемый интерес, но потому, что это было заранее подготовленным эффектом. Склярц заявил, что этот портрет был написан по его заказу. Затем он стал распространяться о своей преданности Парвусу и прочувствованно говорил о дружбе с ним. Все это мне показалось малодостоверным; бросалось в глаза различие между человеком, с которого писали портрет, и человеком, сидевшим под портретом.

Я не в состоянии восстановить конкретное содержание беседы с бывшим ближайшим компаньоном моего отца. Не хочу задним числом домысливать детали. Суть же заключалась в том, что Склярц предложил мне заключить с ним союз против вдовы и прочих претендентов на наследство из среды кредиторов. Он не очень навязчиво и, как ему вероятно казалось, «тонко», пытался вызвать во мне интерес и привлечь мою симпатию, упоминая о своих тесных отношениях с Парвусом, и недвусмысленно намекая на свое нынешнее влияние и богатство. Этой последней цели послужил и разговор по телефону в моем присутствии. Он поручил одному из своих служащих послать, как он выразился, «из моих погребов» два ящика вина известному деятелю немецкого кино (не помню точно кому).

Склярц не только был лишен личного обаяния, но вообще не мог вызвать симпатии даже у собеседника, который не испытывал бы, как я, непреодолимую антипатию к любому капиталистическому деятелю.

Во всяком случае, у меня не было никаких ни личных, ни деловых оснований принимать предложение Склярца и вообще устанавливать с ним постоянный контакт. Я, не задумываясь, ответил отказом на предложение Склярца. После этого дело о наследстве Парвуса и планомерное ограбление наследников получили

свое дальнейшее развитие.

Еще когда тяжба не была закончена, а также и в позднейшие годы, я порой задумывался над вопросом, поступил ли я тактически правильно, сразу порвав со Склярцем. Может быть, имея его своим союзником или поддерживая в нем представление, что я его союзник, я получил бы такие сведения о жизни и деятельности Парвуса, которые не только представляли бы интерес для меня лично, но имели бы и большое политическое значение? Может быть, я получил бы доступ к каким-либо документам из архива моего отца? Я отвечал себе на эти вопросы отрицательно. Задача Склярца заключалась в том, чтобы меня запутать и использовать в своих корыстных целях. Он не стал бы, да вероятно и не мог бы удовлетворить мои политические интересы, а пытался бы меня «вознаградить» и окончательно связать, открыв передо мной соблазны «красивой жизни». Но уже первые намеки на это вызвали у меня ироническое отношение.

Я отказался иметь дело со Склярцем прежде всего по чисто этическим мотивам. У меня не могло быть ничего общего с этим человеком. Но решение, продиктованное моральными соображениями, было правильным и с деловой точки зрения. Не было надобности в сделках с бывшим коммерческим директором предприятий Парвуса, чтобы добыть для советского государства ту часть наследства Парвуса, которую я в конце концов и получил.

Мне хотелось бы здесь подчеркнуть в общей форме ту мысль, что вопреки распространенным среди циников и обывателей взглядам решения и поступки, продиктованные моральными и принципиальными соображениями, вовсе не являются наивными и непрактичными, они оказываются разумными, а порой спасительными. Мне пришлось в этом убедиться во время трагических событий в моей жизни, происшедших в 1939 году.

ГЛАВА V

Чем более затягивалось и осложнялось дело о наследстве Парвуса, тем яснее становилось, что я не могу постоянно и самолично им заниматься. Было решено, что я передам защиту моих интересов как наследника Парвуса юридическому отделу Торгпредства СССР в Берлине. Я говорю «было решено», потому что не помню, с кем я советовался и кто участвовал в принятии решения. Это не «провал» памяти, просто я пользовался самостоятельностью и никто специально не надзирал за моей деятельностью; как-никак я в то время занимал пост заведующего Торгово-политическим отделением НКИД и можно было предполагать, что я разбираюсь в юридических вопросах лучше обычных дипломатических работников. В действительности я не знал специфики гражданского судопроизводства капиталистической Германии: правда, некоторые бумаги по наследственному делу я составлял самостоятельно на немецком языке, и этим вызвал одобрение юрисконсультов торгпредства. Впрочем, о них будет разговор особый.

К сожалению, я совершенно не в состоянии по памяти подробно рассказать, вокруг чего конкретно шла борьба. Я добивался снятия опеки, мы требовали, чтобы опекун дал достоверную информацию о размерах наследства. Оспаривали оценку отдельных объектов, видимо, опекун информировал наследников о претензиях кредиторов, а мои юристы давали оценку этим претензиям. Дело было запутанное и о каждом его этапе я регулярно составлял справки. Я строил свои справки по образу тех докладных записок, которые мне приходилось подготовлять по вопросам моей служебной компетенции. На основании этих справок и принимались решения, если в этом была надобность.

Хотя юридический отдел торгпредства взял на себя сношения с берлинским судом, с адвокатами и прочими инстанциями, причастными к наследственной тяжбе, у меня оставалось много забот и дел, которыми я должен был лично заниматься. Я пробыл в Германии с декабря 1924 года по май 1925 года, и снова там побывал осенью 1925 года.

До передачи дела Торгпредству, да отчасти и позднее, общее направление моей деятельности давал посол Н. Н. Крестинский. Правда, мне редко удавалось с ним обстоятельно говорить. В те времена роль посла в Берлине была очень значительной. Намечался сговор Веймарской республики с западными державами, так называемая локарнская политика. Советский посол вел важные и трудные переговоры с германским правительством, приведшие в конце концов к заключению нового договора, затруднявшего участие Германии в антисоветской агрессии и вызвавшего резкие нападки правых партий. Н. Н. Крестинский был фактически дуайеном (старшиной) дипломатического корпуса в Берлине (формально им был папский нунций); он являлся главой огромной советской колонии в Берлине; ему приходилось поддерживать контакт с руководством Германской коммунистической партии.

Николай Николаевич с исключительной скрупулезностью относился ко всем своим обязанностям; он был чрезвычайно точен в исполнении политических директив и с величайшей внимательностью вникал в детали не только особо важных, но и второстепенных дел. Как я мог позднее убедиться (занимая должность референта по Германии), — Н. Н. Крестинский необыкновенно обстоятельно и даже порой чрезмерно подробно докладывал центру обо всех своих шагах и обо всем, что происходило в сфере его деятельности. Даже о ходе дела о наследстве Парвуса он время от времени упоминал в особом пункте своего сводного политического доклада.

Н. Н. Крестинский стал послом в Берлине после того,

как примкнул к оппозиции. Бывший секретарь ЦК и бывший нарком финансов оказался в отрыве от партийной жизни. Случайно мне пришлось присутствовать при том, как он вместе с другими работниками посольства с волнением читал полученный из Москвы бюллетень ТАССа об одном из пленумов ЦК, осудившем оппозицию. В бюллетене было указано, что два члена ЦК «воздержались от голосования». «Несомненно, Надежда Константиновна, — задумчиво сказал Николай Николаевич, — но кто еще?». Можно было предполагать, что и он воздержался бы от поддержки резолюции, безоговорочно осуждающей оппозицию. В 1925 году сочувствие взглядам оппозиции еще не считалось абсолютной крамолой и тем более изменой. Поэтому случайно подмеченный мной оттенок в реплике Крестинского меня не слишком смутил несмотря на то, что сам я был твердым и убежденным приверженцем формировавшейся тогда «генеральной линии» партии.

Раз уж я чуть подробнее остановился на фигуре Н. Н. Крестинского, то должен напомнить, что его имя войдет в историю прежде всего потому, что он был единственным обвиняемым на фальсифицированных открытых процессах, который решился публично отказаться от приписываемых ему показаний и заявил о своей невиновности.

Советником посольства был С. И. Бродовский, статный человек с крупной седой головой. Мне с ним не пришлось общаться.

Первыми секретарями посольства были А. А. Штанге и И. С. Якубович — совершенно разные люди. Штанге, кажется, был в прошлом сотрудником царского дипломатического ведомства, во всяком случае, он принадлежал к этой среде; окончил какое-то весьма привилегированное учебное заведение. Ко времени моего поступления в НКИД Штанге заведовал Вторым Западным отделом, т. е. он ведал германскими делами. Видимо, он проявил свою приверженность революции с первых ее дней. Это был тогда очень общительный,

разговорчивый человек; когда он находился в чьем-либо кабинете, то в коридоре был слышен его глубокий бас.

Однако в Берлине А. А. Штанге чувствовал себя неуверенно; он рассказывал мне, что при недавнем переезде на работу в Берлин у него похитили чемодан. Он был встревожен, и мне казалось, что он колеблется в объяснении: чья разведка — германская или наша — заинтересовалась содержанием его багажа.

Жизнь Штанге закончилась трагически. В конце двадцатых годов он был назначен советником посольства СССР в Иране, и стало известно, что по дороге в Тегеран он скончался. Я был тогда референтом по Германии; когда я в беседе с помзавом отдела В. Л. Лоренцом выразил сожаление по поводу кончины Штанге, то почувствовал, что это было излишне. Позднее кто-то сказал, будто Штанге повесился в туалете железнодорожного вагона; а может быть, его арестовали. Как бы то ни было, имя его никогда больше не упоминалось. Характерно, что в годы репрессий историей с Штанге не воспользовались для обычных «разоблачений» на тему о том, что дипломатический аппарат был засорен, никого не обвиняли в «связях с А. А. Штанге»; но именно эта «фигура умолчания» парадоксальным образом побуждает меня подозревать, что, возможно, как раз Штанге, в отличие от подвергавшихся травле мнимых «иностранных шпионов» действительно был связан с германской разведкой.

Главной «рабочей силой» в дипломатическом составе посольства был И. С. Якубович, давнишний участник революционного движения. Это был чистейшей души человек, проявлявший доброжелательность и дискретность как в отношениях с людьми, так и при обсуждении политических проблем. Он хорошо ко мне относился, но ему было, конечно, не до меня. Днем он был загружен текущей работой, а по вечерам не вылезал из фрака; наше посольство находилось в центре обще-

ственной жизни Берлина; Якубович постоянно говорил о том, что ему отчаянно надоели «светские обязанности».

Я имел возможность прибегнуть к совету людей компетентных и благожелательных, но они были настолько обремены делами, что я редко решался отнимать у них время на обсуждение наследственной тяжбы.

Не вмешивались в мои дела — вернее, я не ощущал вмешательства в мои дела — работников разведки и контрразведки (тогда иностранный отдел ОГПУ). Вообще, никто не пытался наложить руку на выполнение столь необычного и деликатного поручения, каким было дело о наследстве Парвуса; никто не призывал к бдительности молодого работника, получившего доступ в самую гущу берлинских деловых кругов и никто не ограничивал его инициативу, равно как и не втягивал его в какие либо иные дела.

У меня нет оснований считать, что я на заре своей деятельности находился в каком-то исключительном положении. Более того, ведь меня за два года до моей поездки в Германию чуть не уволили из НКИД во время чистки государственного аппарата. Как выяснилось впоследствии, работник ОГПУ, опрашивавший меня и положивший свое заключение комиссии по чистке, извратил мою биографию; кроме того, он не знал ни истории, ни географии. В частности он заподозрил меня в том, что я скрыл свое пребывание в Новороссийске, на территории занятой белой армией. Поводом явилось мое собственное указание в анкете, что я учился в Новороссийском университете. Так именовался университет в Одессе с тех времен, как Одесса была фактическим центром Новороссийского края, не имевшего никакого отношения к городу Новороссийску. Если молодой бдительный проверяльщик мог этого и не знать, то он во всяком случае мог бы убедиться, что в Новороссийске никогда не было университета.

Как бы то ни было, очевидно, что пресловутые «органы» не вмешивались в мои дела и не тревожили меня не по той причине, что они относились ко мне с каким-

то неограниченным доверием. Объяснение заключается в том, что в описываемые мною времена органы разведки, контрразведки и репрессий, при всем том значении, которое им придавалось, не были поставлены над государственным аппаратом, как это случилось впоследствии в период так называемого культа личности, то есть массовых репрессий.

ГЛАВА VI

В Берлине я жил в особняке посольства в центральной части города на Кронпринценуфер, набережной на реке Шпрее. До образования СССР в этом здании помещалось полпредство Украинской Социалистической республики; полпредом был Шлихтер. Позднее Советское правительство продало этот особняк. В гитлеровские времена в этом небольшом, но комфортабельном здании разместился штаб фюрера гитлерюгенд Бальдура фон Шираха, известного военного преступника.

В описываемое мною время на Кронпринценуфер находился Отдел дипломатической информации посольства СССР в Берлине. Отдел возглавлял Павел Людвигович Лапинский (Михальский); его заместителем был Стефан Александрович Раевский. С ними обоими мне в 1924 году не пришлось близко познакомиться; наше сотрудничество и даже дружба относятся к тридцатым годам.

П. Л. Лапинский был видным деятелем польского и международного рабочего движения, участником Циммервальдской конференции. После 1917 года он стал членом Коммунистической партии СССР и активным проводником внешней политики Советского государства. В 1933 году, побывав в США в качестве корреспондента «Известий», он участвовал в подготовке установления дипломатических отношений между СССР и США. Насколько мне известно, личность и деятельность П. Л. Лапинского получили отражение в работах польских историков. П. Л. Лапинский был глубоким мыслителем, исследователем законов и противоречий современного капитализма и одновременно блестящим публицистом-международником. В характере Павла Людвиговича были черты кабинетного ученого и даже, я сказал бы, черты высоко интеллектуального «мистера Пиквика», несколько неожиданные в таком опытном и глубоко принципиальном политическом деятеле.

С. А. Раевский был умнейшим человеком широкой

культуры: за его внешней невозмутимостью скрывались тонкий юмор и доброта. В силу присущей ему сдержанности и скромности он никогда не рассказывал о своем прошлом. Между тем — как я узнал теперь — он прошел трудный путь польского революционера. Еще совсем молодым, в 1908 году, он был арестован в Лодзи, пробыл в Москве в Бутырской тюрьме в ожидании суда до 1912 года, когда царские власти выслали его в Якутию на пожизненное поселение. В 1917 году С. А. Раевский обрел свободу. Я близко познакомился с С. А. Раевским, когда он с конца двадцатых годов до середины тридцатых занимал пост заведующего иностранным отделом в редакции «Известий», где он пользовался всеобщим уважением. С. А. Раевский был также редактором таких изданий, как газеты «Москауэр рундшау» и «Журналь де Моску».

П. Л. Лапинский и С. А. Раевский погибли в сталинских тюрьмах.

В 1924 году в особняке на Кронпринценуфер работали отборные знатоки международной политики и рабочего движения. Совершенно разные люди с одинаковым сочувствием и одобрением относились к советской внешней политике, с одинаковым интересом участвовали в общем деле, несмотря на различия не только в характерах, но и во взглядах по ряду вопросов. Так устанавливались отношения сотрудничества, основанные на доверии, конечно, в определенных рамках.

Сейчас, когда я рассказываю о сотрудниках Отдела дипломатической информации посольства СССР в Берлине в 1924 году, ни одного из них нет в живых; почти все они погибли трагически в годы репрессий.

Доклады по германской внутренней политике составлял Герхард Эйслер. Я был с ним мало знаком и упоминаю о нем лишь для иллюстрации только что высказанных соображений о своеобразии состава работников отдела при посольстве СССР. Герхард (под такой фамилией он известен) был братом Рут Фишер; хотя она была исключена из германской коммунистической

партии и занимала крайне враждебную позицию по отношению к СССР, ее брат работал в посольстве СССР, а в дальнейшем стал видным работником Коминтерна, выполнял важные поручения, проявляя при этом немалое мужество.

Рядом с коминтерновцем работал над смежными проблемами исследователь, принадлежавший к другому крылу европейского рабочего движения — Денике, человек, близкий к Гильфердингу. Денике был типичный эрудированный интеллектуал со сложной личной жизнью; он живо реагировал на события, высказывал интересные и острые суждения. Его связь с социал-демократами ценилась в посольстве, хотя и вызывала у кое-кого скептические комментарии. Однажды Денике, возвращаясь со мной с приема в посольстве и будучи навеселе, сообщил мне, хотя мы были мало знакомы: «Я свое дело сделал, привел Гильфердинга в посольство». Очевидно, Денике выполнил желание Н. Н. Крестинского, который как-то сказал мне: «Я никого не считаю потерянным для нашего дела, для Советского Союза». Правда, сотрудник отдела дипломатической информации посольства СССР Денике был затем «потерян для нашего дела»: он стал сотрудником издававшегося в Вене органа «австро-марксистов», журнала «Гезельшафт». Дальнейшая его судьба мне неизвестна.

Сотрудником отдела дипломатической информации был Жан Львович Аренс. Позднее он стал генеральным консулом в Нью-Йорке и затем в Париже, одно время заведывал отделом печати НКИД СССР. Я слышал, что Аренс активно участвовал в работе, связанной с большим риском. Это был интеллигентный и изящный человек с живым умом и пылким темпераментом. Он был уничтожен в годы сталинских репрессий.

У меня установились дружеские отношения с двумя молодыми работниками отдела дипломатической информации — Георгием Александровичем Астаховым и Алексеем Федоровичем Нейманом. Астахов — по происхождению донской казак, — занимался в отделе

проблемами Ближнего Востока. Он с энтузиазмом относился ко всем формам национально-освободительной борьбы, к ее руководителям. Худой и нервный человек с угловатыми движениями, неспокойными руками, он то и дело теребил свою редкую бородку на еще молодом лице. Георгий Александрович был прямодушный человек, смело формулировал свои мысли, не задумываясь над производимым впечатлением. Я присутствовал на многолюдном собрании советской колонии в торгпредстве, на котором Астахов делал доклад и произнес нашумевшую фразу, звучавшую примерно так: «Любой восточный монарх, противостоящий колониальным державам, нам дороже любого европейского социал-демократа». Из этого не следует, что Астахов не отличал восточных деспотов от подлинно прогрессивных деятелей или что он стоял на сектантских позициях в вопросах европейского рабочего движения. Георгий Александрович не был сектантом, ни догматиком, он был революционным романтиком.

Астахову пришлось сыграть своеобразную роль в истории: он был поверенным в делах СССР в Берлине летом 1939 года, когда был подготовлен и заключен советско-германский договор, предшествовавший началу войны в сентябре 1939 года. Мы с Астаховым познакомились в 1924 году в особняке на Кронпринценуфер, а виделись в последний раз в 1941 году на пересыльном пункте лагеря в республике Коми; Астахов погиб в лагере от дистрофии.

А. Ф. Нейман в описываемое время был еще молодым человеком с юношеским румянцем на смуглом лице; он был женат на прелестной бельгийке, дочери горняка.

Алеша Нейман был широко образованный человек, владел несколькими языками, увлекался искусством. Вспоминаю, как он, обычно сдержанный и даже чуть застенчивый, рассказывал с великим удовлетворением, что в газете «Вельт ам Абенд», близкой к компартии, опубликованы под псевдонимом его рецензии о новейших спектаклях в берлинских театрах. А. Ф. Нейман

был затравлен и уничтожен в 1938 году, когда он возглавлял отдел НКИД СССР, ведавший Францией, Англией и США.

Отдел дипломатической информации посольства СССР в Берлине был весьма своеобразным учреждением. П. Л. Лапинскому и С. А. Раевскому было присвоено звание советников посольства, но к работе посольства они прямого отношения не имели. Кроме того, сообщения и выводы, которые они излагали в своих докладах, не всегда совпадали с выводами, содержавшимися в докладах посла или его ближайших сотрудников. Правда, задача отдела дипломатической информации заключалась не в освещении текущих событий, а в составлении для Москвы обстоятельных докладов — как сказали бы теперь — долгосрочных прогнозов.

На работе отдела и его сотрудников несомненно отразилось и то обстоятельство, что его руководитель Павел Людвигович Лапинский был по призванию настоящим ученым исследователем. Впоследствии он написал большую работу о нынешней стадии капитализма, переданную им в секретариат Сталина и неопубликованную. Доклады отдела дипломатической информации строились на основе глубокого изучения проблем и контактов с широким кругом западноевропейских деятелей и экспертов. Одним из известных мне достижений этой группы исследователей был составленный С. А. Раевским доклад, в котором был предсказан переворот Пилсудского в Польше. При этом анализ его предпосылок в сущности был настолько проницательным, что после прихода Пилсудского к власти доклад был у нас опубликован в несколько переработанном виде как брошюра за подписью К. Радека и Р. Стефановича. (Радек часто пристраивался к чужим работам.)

В аппарате ЦК и НКИД, да и среди работников посольства в Берлине, было распространено скептическое отношение к странному конгломерату, каким являлся коллектив работников на Кронпринценуфер, хотя его и возглавляли испытанные деятели рабочего движения.

Фактом являлось, что этот коллектив отличался по стилю работы от обычного государственного аппарата того времени. Впрочем, говоря об этом, я отнюдь не хочу создать впечатление будто в других звеньях аппарата, в частности дипломатического, было мало людей образованных и инициативных.

Должен заметить, что, несмотря на то, что у меня были личные дружеские отношения с молодыми работниками на Кронпринценуфер, я плохо понимал, зачем существует особый отдел дипломатической информации. Но так уж случилось, что по работе я был связан с основными сотрудниками посольства, а жил как гость у товарищей на Кронпринценуфер.

Впрочем, встречи и контакты с ними были спорадическими. Обычно, приходя домой, я ни с кем не виделся; я проходил по небольшой лестнице мимо застекленной каморки портье на первый этаж, где находились парадные комнаты и несколько кабинетов, потом по широкой лестнице поднимался на второй этаж — там тоже были гостинные и рабочие комнаты, затем выходил на площадку, откуда несколько дверей вели в жилые комнаты, и, наконец, по винтовой лестнице взбирался на верхотуру, где мне была отведена под самой крышей светелка с овальным окном; я любовался с высоты светло-серой рекой с катерами и пароходиками, глядел на противоположный берег, вокзал (Лертербанхоф), железнодорожные пути, а дальше, сквозь дым и сетку дождя, виднелись улицы и дома густонаселенного района Моабит. Пейзаж как бы воспроизводил известные мне картины французских импрессионистов.

Была некая двойственность (но не раздвоенность) в моем образе жизни и занятиях. Мне отвели жилище в привилегированном красивом особняке посольства, но жил я в каморке, где в прошлом, вероятно, помещалась прислуга аристократического владельца дома на Кронпринценуфер. Я был дипломатическим чиновником, командированным в Берлин, но к официальным делам

посольства не был причастен; правда, я систематически следил за прессой, специальной литературой и благодаря пребыванию в Берлине стал более квалифицированным международником и специалистом по Германии. Я работал у себя в каморке, где стол был завален экономическими изданиями и книгами. Я сам распоряжался своим временем. Если мне не нужно было встретиться с кем-либо по наследственным делам, я порой целыми днями блуждал по городу, бродил по залам музеев, закусывал в народных пивных, а то и примыкал к уличной рабочей демонстрации, что было тогда частым явлением. Я купил себе хороший плащ и кепку, но сохранил московский костюм. Вид у меня был не очень солидный, но все же вряд ли была справедливой моя шутливая надпись на фотографии, где я снят в марте 1925 года уличным фотографом близ Рейхстага: «Московский вокзальный жулик думает, что приобрел европейский вид». Во всяком случае, при моем образе жизни в Берлине, я, если бы в то время уже существовали хиппи, возможно, проводил с ними немало часов.

Я числился богатым наследником, но мой бюджет оставался в рамках получаемых мной суточных; я в них отчитывался как всякий другой работник государственного аппарата. Такой порядок мною строго соблюдался, когда эти суточные мне выплачивались из сумм, которые переводились на мое имя в качестве «пособия наследнику от опекуна»; эти деньги поступали через торгпредство на счет посольства.

Насколько я могу теперь судить, мне полагались приличные суточные в соответствии с моей должностью заведующего отделением в центральном аппарате НКИД СССР. Тем не менее мне помнится, что порой я бывал стеснен в расходах. Я тратил порядочно денег на книги, развлечения и подарки родным и друзьям, да и вообще не умел жить расчетливо.

Правда, у меня были расходы в связи с хлопотами по наследственному делу. Пора вернуться к непосредственному рассказу на эту тему.

ГЛАВА VII

Среди материалов, погибших после ареста в 1939 г., имелись мои наброски и очерки, объединенные под общим заглавием «Берлинский калейдоскоп». Жаль, что я их в свое время не опубликовал. Некоторые из этих очерков представляли собой единственное в своем роде достоверное свидетельство о таких наблюдениях, каких не имел возможности сделать какой-либо другой советский журналист или литератор. Таковы, например, мои впечатления от знакомства с судебным исполнителем Паулем Рихтером.

Теперь я уже совершенно не представляю себе, каким образом мне удалось свести знакомство с судебным исполнителем при берлинском ландсгерихте, которому было поручено разобрать и привести в порядок груды бумаг в сундуках и чемоданах, опечатанных в доме Парвуса. Как бы то ни было, я получил доступ к этим сундукам; правда, я тогда не знал, что их содержимое представляет собой относительно несущественную часть политического архива Парвуса. Это выяснилось позднее.

Мой «приятель» Пауль Рихтер, мелкий стряпчий при берлинском суде, был настоящий, классический пожилой немецкий бюргер, пузатый, с лоснящимся лицом, с дешевой, крепкой сигарой во рту; он был пропитан пивом, но не бывал пьян; он был разговорчив, чудаковат, но неглуп, даже себе на уме. Некоторое время мы работали в подвале, куда было завезено имущество, на которое наложил руку суд. В подвалах было холодно, мы часто делали перерывы и по предложению Рихтера согревались в трактире глинтвейном за мой счет. Сначала это меня забавляло, но увы, дешевое подогретое вино навсегда отбило у меня вкус к глинтвейну.

Я говорю «мы работали», потому что Пауль Рихтер

составлял опись бумаг, а я их прочитывал, пока он писал. К сожалению, я не обладал таким совершенным знанием немецкого языка, чтобы быстро разбирать незнакомый почерк, схватывать суть личного письма; не хватало опыта и для того, чтобы сразу оценить значение разнообразных политических и финансовых документов. Почерка моего отца я не знал, лишь некоторые имена, упоминавшиеся в письмах и документах, были мне знакомы. Немало было в архиве различных информационных бюллетеней, рассылавшихся узкому кругу лиц. Обнаружил я и несколько писем государственных деятелей. В нескольких папках хранилась переписка Парвуса со швейцарским правительством. Оказывается, Парвус добивался предоставления ему швейцарского гражданства; юридическим обоснованием служило то обстоятельство, что он был собственником земельного участка на территории Швейцарии. Но Парвусу было отказано в предоставлении ему прав гражданина нейтральной Швейцарии. Он оспаривал это решение в резких полемических письмах.

Работа пошла быстрее, когда Пауль Рихтер перевез часть ящиков к себе на квартиру и мы больше не мерзли, роясь в бумагах. В моих пропавших очерках имелось подобие описи обстановки в жилище судебного исполнителя при берлинском ландсгерихте. Если бы режиссер спектакля из немецкой жизни соответственно обставил сцену, театральные критики сочли бы, что он переборщил. В маленькой гостиной-столовой трудно было повернуться — там было все, что принято считать признаком мещанского уюта: громоздкий буфет и старинный комод, занавески, кружевные накидки, стулья, обитые плюшем, бархатная скатерть на столе, вазочки и стеклянная посуда, олеографии и цветы в горшочках, наконец, клетка с канарейкой. Но работали мы в довольно пустынной и полутемной комнате, видимо, давно приспособленной под склад вещей, находившихся на попечении судебного исполнителя.

Рихтер не был бескорыстен, но и не проявлял на-

вязчивость или цинизм. Вероятнее всего, он рассчитывал на будущие блага после того как я получу огромное наследство. Моей подлинной роли он не понимал. Он добродушно давал возможность наследнику миллионера знакомиться с бумагами из архива его отца. Хотя положение с наследством становилось все более загадочным, Рихтер не терял веры, что миллионы еще найдутся.

Он явно испытывал уважение и симпатию к скончавшемуся Парвусу. Не думаю, чтобы у него были для этого какие-то неизвестные мне причины. Он плохо знал биографию Парвуса, но ознакомление с его архивом привело Пауля Рихтера к убеждению, что это был выдающийся и щедрый человек. Рихтер даже вообразил, что подлинная фамилия Парвуса (и моя) была псевдонимом: Гельфанд по-немецки Helphand, можно прочесть как «помогающая рука». Парвус, мол, взял себе фамилию, соответствующую его стилю жизни и принципам: помощь нуждающимся. Переписка Парвуса могла служить подтверждением наивной версии о символическом истолковании фамилии Парвуса. Замечу, что мне пришлось от разных людей слышать много достоверного о широте и щедрости Парвуса.

Разумеется, судебному исполнителю, восхвалявшему моего отца, я не рассказывал, что тот полтора десятка лет вовсе не заботился о своей первой жене и своем первенце. Видимо, Паулю Рихтеру нужно было включить в свой жизненный опыт и некий положительный пример. Слишком много преступлений и злобных поступков ему довелось видеть. Кое о чем он мне рассказывал, но с особенным пылом и негодованием повествовал о том, как власть имущие и спекулянты-«шиберы» обманули доверие добрых немцев во время войны и в годы инфляции. Однажды Пауль Рихтер подвел меня к большому чемодану, открыл его и воскликнул: «Вот, смотрите, они съели мое мясо!» Эту фразу я запомнил на всю жизнь. Чемодан был доверху наполнен обесцененными кредитками различных лет. Обесценение немецкой марки, потерю сбережений Пауль Рихтер и, во-

обще, люди его круга, воспринимали как уничтожение их существа, не просто состояния или благополучия, а самой жизненной сущности. Во всяком случае, я, молодой революционер, идеализировавший рабочий класс и противопоставлявший его мелкой буржуазии, мог с достаточным основанием считать, что оказался лицом к лицу с «потерявшим голову мелким буржуа» . . .

Пауль Рихтер не только дал мне возможность ознакомиться с архивом Парвуса, но и не возражал против того, чтобы я взял с собой некоторые заинтересовавшие меня документы. Кто знает, может быть он был хитер и двуличен, может быть мне подстроили ловушку: если бы, увлекшись, я захотел бы получить значительную часть архива и предложил бы судебному исполнителю деньги за архив, он сообщил бы об этом тем, кто желал бы меня скомпрометировать. У меня и теперь нет определенного мнения относительно намерений судебного исполнителя Рихтера. А когда я с ним встречался, мне трудно было видеть в добродушном немце злодея, но, конечно, еще труднее было ему доверять. В конце концов, дело могло объясняться просто: Рихтер считал меня одним из совладельцев хранившегося у его имущества, к тому же не имевшего по его мнению материальной ценности.

Мне удалось добыть несколько документов Правления германской социал-демократической партии и — это я хорошо запомнил — письмо Парвусу президента республики Эберта; оно валялось среди гораздо менее значительных документов. Все добытые документы я, вернувшись в Москву, сдал в Институт Ленина (насколько помню именно туда).

ГЛАВА VIII

Среди бумаг, обнаруженных мною в архиве Парвуса, находилось несколько листков, исписанных его рукой. Мне теперь кажется, что заметки были сделаны на русском языке. Но, возможно, что это аберрация, так как я сделал для себя выписки по русски. К сожалению эти записи пропали в годы репрессий. Возможно, их забрали при обыске после моего ареста в мае 1939 года. Но поскольку использовать против меня мое происхождение и историю с наследством нельзя было, то, вероятно, следователи за ненадобностью выбросили малоразборчивые заметки.

Но я хорошо запомнил содержание рукописных заметок Парвуса. Видимо, в полусознательном состоянии, были записаны сбивчивые советы как помочь России избавиться от разрухи, голода и... власти большевиков. Один из набросков содержал рассуждения о необходимости «изгнать из Петрограда Ленина и Троцкого». При этом Парвус настойчиво предупреждал, что до принятия решительных мер надо вывести население из города, а для этого нужны теплые вагоны; поэтому он дополнил политические проекты соображениями о том, как оборудовать железнодорожные вагоны печками...

Эти заметки, написанные Парвусом, очевидно, в бреду, незадолго до кончины, можно, пожалуй, считать черновыми набросками единственного варианта завещания моего отца. Его мысли были заняты не личными делами или судьбой его богатства; он не испытывал потребности высказаться по вопросам германской политики, хотя последние десять лет своей жизни постоянно твердил, что все его интересы как политического деятеля и социалиста связаны с Германией. Нет, мысли умирающего Парвуса были прикованы к России. Но что это были за мысли! Я получил непосредственное и

страшное подтверждение, что мой отец до последних дней был одержим мыслью о том, как спасти Россию от Советской власти, которую я, в отличие от моего отца, считал революционной, прогрессивной и благодетельной не только для России, но и для других стран.

Несвязанные заметки по-видимому душевно больного Парвуса, при всей их сумбурности, не были плодом случайных настроений. Я перечел забытый мной, нечитанный сорок лет, некролог Карла Радека в «Правде» от 14 декабря 1924 года. Записываю здесь интересное свидетельство Радека, опубликованное им, возможно, с ведома некоторых членов Политбюро еще в год кончины Ленина и до того, как широко развернулись внутрипартийные споры. Радек писал о Парвусе:

«Был один момент в его жизни, когда он думал, что спасется из грязного болота, в котором тонул. Когда пришли известия об Октябрьской революции, он приехал от имени ЦК германской социал-демократии в Стокгольм и обратился к заграничному представительству большевиков, предлагая от имени пославших его в случае отказа германского правительства заключить мир организовать всеобщую забастовку. В личном разговоре он просил, чтобы после заключения мира ему было разрешено советским правительством приехать в Петроград: он готов предстать перед судом русских рабочих и принять приговор из их рук, он убежден, что они поймут, что он в своей политике не руководствовался никакими корыстными интересами, что они позволят ему еще стать в ряды русского рабочего класса, чтобы работать для русской революции. Приехав в Петроград с известиями о положении в Германии, я передал Ильичу и просьбу Парвуса. Ильич ее отклонил, заявив: «нельзя браться за дело революции грязными руками».

Мне пришло в голову, что, возможно, Парвус, собираясь «предстать перед судом русских рабочих», подумал и о том, что, излагая свои объяснения, он таким образом даст ответ на вопросы, которые я, его старший

сын, поставил в своем письме, написанном всего за три месяца до Октября...

Когда была опубликована статья Радека, я не сомневался в том, что Ленин был прав, отказавшись от контактов с Парвусом. Я и теперь так думаю...

Слова Ленина о том, что нельзя прикасаться к революции грязными руками, мне очень понравились в двадцатых годах; а в настоящее время они представляются мне особенно поучительными и современными и более существенными нежели утверждение, что революцию не делают в белых перчатках.

Общая оценка личности Парвуса, данная К. Радеком в «Правде», может быть проиллюстрирована хотя бы следующими словами: «Вся политика II Интернационала... нашла свое выражение в этой фигуре человека, начавшего как великий революционный писатель и кончившего в болоте спекуляции и в роли... советника президента кровавой капиталистической республики».

Мои находки в архиве Парвуса кое в чем подтверждали негативную часть характеристики, данной в некрологе, опубликованном в «Правде»; кое-что и расходилось с абсолютно отрицательным мнением о его личности. Когда же я теперь ознакомился с литературой о Парвусе, с некоторыми его произведениями, написанными в молодые годы, примерно до сорокалетнего возраста (до 1908 г.), то я убедился, что справедливо представление о нем как о крупном революционном писателе и вообще мыслителе. Нет сомнений и в том, что он изменил идеалам своей молодости и даже идеологии зрелого периода, что он использовал свои выдающиеся способности, знание капиталистической экономики для того, чтобы разбогатеть, не отказываясь при этом и от спекулятивных операций.

Справедливы, однако, и слова самого Парвуса в личной беседе с Радеком, также приведенные в некрологе в «Правде»: «Я Мидас — наоборот: золото, к которому я прикасаюсь, превращается в навоз». Это горькое

признание имеет глубокий трагический смысл. Став капиталистом, Парвус не сумел реализовать свои широкие политические планы, которые, по его заверениям, должны были стимулировать продвижение Европы к социализму. С точки зрения бывшего деятеля рабочего движения накопленное «золото» во всяком случае обесценилось.

Вместе с тем слова Парвуса имели и практический смысл: его богатство было случайным и неустойчивым. В самом деле, в наследстве знаменитого богача, владельца крупных предприятий, недвижимости, не обнаружили «золота», то есть значительных свободных капиталов, не говоря уже о миллионах. Такая ситуация объясняется рядом причин, о чем я ниже скажу. На эту сторону дела бросает также некоторый свет любопытный эпизод из истории розыска богатства Парвуса.

Однажды портье особняка на Кронпринценуфер вызвал меня вниз с моей мансарды: ко мне явился посетитель, чего ранее, кажется, не бывало. Посетителем оказался брат вдовы Парвуса, аптекарь из маленького баварского городка. Он показал мне письмо нотариуса из Мюнхена, сообщавшего, что он желал бы встретиться с кем-либо из наследников Парвуса. Аптекарь не хотел, чтобы его сестра лично встретилась с нотариусом в Мюнхене. Вероятно, он предпочел, чтобы именно я рискнул в обход опекуна, назначенного судом, вести сепаратные переговоры с доверенным лицом скончавшегося наследователя. Вместе с тем мои новые родственники, убедившиеся, что я не претендую на захваченные ими ценности, были уверены, что я поделюсь с ними теми ценностями, которые, может быть, добуду.

Я отправился в Мюнхен. Почему-то я поехал вечерним поездом в купе чуть ли не первого класса. Я говорю «почему-то», так как не в моих обычаях было разыгрывать из себя богатого молодого человека. Видимо, мне кто-то посоветовал поехать в Мюнхен по возможности незаметно. Совет был неудачным. Второе место в купе вагона занял представительный господин с военной

выправкой. Он беззастенчиво меня расспрашивал, куда и зачем я еду; у меня не было сомнения, что германские власти подослали ко мне далеко не второразрядного шпика. Разумеется, я держался осторожно. Мой попутчик сказал, что едет до Мюнхена. Каково же было мое удивление, когда, проснувшись утром, я обнаружил, что мой сосед исчез, и я один в купе. Я спал необыкновенно крепко; у меня было неприятное ощущение, будто я не случайно заснул так быстро и крепким сном; я не сомневался, что пока я спал, меня обыскали; хорошо, что у меня не было с собой ничего компрометирующего.

В Мюнхене я в тот же день разыскал нотариуса (забыл его фамилию) на его квартире. Нотариус оказался почтенным, интеллигентным старичком, доживавшим свой век в тихой, удобной квартирке среди книг и красивых вещей. Мюнхенский нотариус был действительно старинным доверенным лицом Парвуса, возможно, его старым приятелем, он на эту тему не распространялся. Он сообщил мне, подкрепив свои слова документами, что несколько лет назад Парвус ему вручил «для хранения и управления» (приблизительный перевод формулы) ценные бумаги на сумму в 700 тысяч марок. В результате инфляции стоимость их к кончине Парвуса кажется, не превышала нескольких сотен марок, но добросовестный нотариус счел своим долгом передать бумаги наследникам. Я их с благодарностью принял и передал в Торгпредство.

Почтенный нотариус не пускался в подробные разговоры на личные темы; в отличие от Склярца он не хвастал дружбой с моим отцом и в отличие от многих других лиц не задавал мне никаких вопросов. Но он знал, откуда я прибыл в Берлин и, не скрывая этого, стал мне рассказывать, что он всю жизнь занимался коллекционированием материалов на тему «что такое труд». Он повел меня в соседнюю комнату и показал огромную картотеку: на каждой карточке было записано какое-либо высказывание, либо из литературного

произведения, либо принадлежавшее великому человеку, либо относящееся к фольклору. Мой собеседник сказал, что проделанная им работа соответствовала и взглядам моего отца; вместе с тем он пытался мне объяснить, что для Советской республики, объявившей труд священным делом и опиравшейся на людей труда, картотека на тему «что такое труд» представляет большой интерес. Одним словом, мюнхенский нотариус полагал, что я заинтересуюсь коллекцией и потому, что я наследник Парвуса, и потому, что я советский гражданин.

Нотариус надеялся, что я приобрету его картотеку. Я старался его не разочаровывать, но и не обнадеживал старого чудака, вероятно, честного человека, которому Парвус недаром доверял.

Самое любопытное в истории с бумагами, хранившимися у мюнхенского нотариуса, это то, что Парвус, по-видимому, забыл, что когда-то дал своему доверенному лицу в Мюнхене на хранение капиталы, превышавшие полмиллиона. Ведь он мог затребовать ценные бумаги или поручить реализовать их, когда началось их обесценение. В том, что Парвус умел предвидеть конъюнктуру, сомневаться не приходится. Нотариус, предложивший мне приобрести картотеку на тему «что такое труд», произвел на меня положительное впечатление. Вместе с тем нет оснований думать, что он скрыл часть доверенных ему капиталов. Я полагаю, что он-то как раз и оказался единственным честным доверенным лицом Парвуса. Другие притаились и не давали о себе знать.

Между тем кредиторы и компаньоны (в том числе и те, которые задолжали Парвусу) предъявили свои претензии, частично обоснованные, частично дутые или завышенные.

В результате когда Парвус скончался, не было достаточных материалов для оценки его имущества в целом. Можно было лишь установить стоимость материальных ценностей и объектов, таких как пароходство, изда-

тельство, научный институт и научная библиотека, автомобиль, вилла под Берлином, дом и участок в Швейцарии. Знаменитый финансист слыл миллионером и действовал как человек, ворочающий миллионами, а миллионы исчезли. Для объяснения этой странной ситуации недостаточно просто констатировать, что Парвус не был несметно богат, как утверждали его враги, распространявшие слухи о темных операциях Парвуса, и как думали его друзья, сотрудники, компаньоны и политические единомышленники, деятельность которых он субсидировал.

То, что не оказалось полных данных о претензиях Парвуса к другим лицам и к его же компаньонам и то, что осталось неизвестным местонахождение всех его капиталов, отчасти объясняется одним своеобразным обстоятельством: у Парвуса не было собственной бухгалтерии или иного счетного аппарата. На это обратил внимание, в частности, один из ближайших литературно-издательских сотрудников и друзей Парвуса, социал-демократ Конрад Хениш. В апологетической брошюре, изданной после смерти Парвуса, Хениш с почтительным недоумением рассказывает: «Даже во время войны, когда его операции достигали миллионов, миллионов в золоте, он мне часто говорил: «Моя единственная бухгалтерская книга — это моя голова». В крайнем случае он дополнял этот «гроссбух» беглыми записями в настольном календаре... Позднее в созданные им предприятия он посадил дельных директоров, которые вели дело в соответствии с коммерческими правилами».

Тот же Хениш цитирует из статьи Парвуса, опубликованной в 1920 году в журнале «Ди Глоке», следующие слова: «Никогда я не относился к деньгам с таким презрением, как теперь, когда я ими обладаю».

Черты характера и деятельности Парвуса, о которых я упоминаю, это только любопытные детали портрета сложного человека. Тот, кто пожелал бы углубиться в анализ личности Парвуса, убедился бы, что это весьма

непростая задача. Дело не только в том, что возникли бы острые политические проблемы, невозможно было бы избежать полемики, направленной по одним вопросам против самого Парвуса, а по другим — против его критиков. Одна проблема перманентной революции чего стоит! То, что эта концепция Парвуса несомненно противоречила взглядам Ленина и вообще большевизму, легко установить, но исследование этим не было бы исчерпано.

Чисто методологическая трудность, встающая перед биографом Парвуса, состоит в том, что позитивные стороны его деятельности как революционного мыслителя и теоретика можно вскрыть лишь путем анализа солидных (не так по объему, как по содержанию) трудов, погребенных в книгохранилищах; между тем о негативных сторонах его деятельности, особенно во время первой мировой войны, шумели газеты всех направлений. И в настоящее время некоторые политические шаги Парвуса это — сенсационная тема, которой на Западе посвящены новые работы, не только исторического характера. О научных и публицистических трудах Парвуса и его роли в рабочем движении появилась, насколько мне известно, только одна работа — кандидатская диссертация Винфрида Шарлау, изданная на правах рукописи в Мюнстере в 1964 году.

Мне представляется, что статьи и работы, написанные Парвусом в тот период, когда он был видным теоретиком левого крыла германской социал-демократии, с которым Ленин поддерживал личные отношения и в квартире которого печатался ряд номеров «Искры», представляет большой интерес, но главным образом для историка рабочего движения. Однако, частично те же работы молодого теоретика революционного действия, но еще в большей степени социально-экономические исследования, которые Парвус после бегства из царской ссылки опубликовал в Германии в 1906-1908 гг., содержат материал и соображения, ценные для понимания современных процессов, происходящих в разви-

тых индустриальных капиталистических странах; это относится и к современным проблемам стачечного движения, и к современным формам концентрации промышленности и банков, и к архисовременным проблемам регулирования экономики, в том числе и в условиях национализации промышленности. Парвус задолго до крушения колониальных империй и независимо от этой стороны дела доказывал, что по мере развития капитализма основными рынками сбыта для промышленно развитых стран будут не отсталые колонии, а другие развитые промышленные страны. Собственно говоря, он предсказал образование современного европейского «общего рынка». Звучат современно и рассуждения Парвуса в книге, опубликованной в 1907 году; завершение образования мирового рынка, говорил он, привело к положению, противоположному тому, которое существовало в начале капиталистического развития: «если новое промышленное государство, — возникнет ли оно в Азии или в Америке, — использует лучшие источники гидроэнергетики, раньше других перестроит свой транспорт и индустрию на базе электроэнергии, оно вытеснит все другие на мировом рынке . . .».

Автор упомянутой диссертации о теоретических трудах и роли Парвуса в рабочем движении довел свое изложение до 1910 года. Касаясь дальнейшего периода, он привел лишь свидетельства того, что Парвус пользовался доверием правящей верхушки Германии во время войны (а это уже серьезное обвинение). Относительно финансовой деятельности Парвуса немецкий исследователь с оттенком горечи говорит так: «Многие деятели соединяют финансовые комбинации с политической карьерой, но не выставляют это напоказ как это делал Парвус». В заключение автор диссертации констатирует: «Ни в личной жизни, ни в сфере идей Парвус не придерживался той позиции, которая шла бы кому-либо навстречу или облегчала бы компромисс».

Таковы некоторые элементы характеристики Парвуса, которыми я могу дополнить свое изложение событий

прошлого. Я делаю это для того, чтобы читателю был яснее, кем был человек, о наследстве которого я веду рассказ. Эти подробности и ссылки на литературу выходят за рамки моего повествования прежде всего потому, что в ту пору, о которой здесь идет речь, личность моего отца меня мало интересовала. Тогда меня не привлекла бы задача нарисовать портрет деятеля, столь враждебного моей стране. До конца наследственной тяжбы я оставался в роли добросовестного работника советского аппарата, выполняющего конкретное поручение. Это далось мне легко из-за моего отрицательного отношения к Парвусу и по той причине, что я поехал в Германию, будучи убежденным социалистом, а вернулся в Москву, укрепившись в своих убеждениях.

ГЛАВА IX

Общий рисунок моей жизни определился раньше, чем возникло дело о наследстве Парвуса. Поэтому поездка в Берлин не поставила меня перед новой жизненной альтернативой. Все необычайные впечатления и неожиданные проблемы, с которыми я столкнулся, накладывались на уже сложившееся отношение к общественным и политическим событиям.

Между тем передо мной раскрылись разнообразные, удивительные картины, промелькнули своеобразные лица. Недаром я назвал мой дневник берлинским калейдоскопом. Трудно теперь его восстановить в памяти.

Парадоксально: в Москве, не желая оказаться в роли сына Парвуса, я избегал встреч с близкими мне по духу замечательными людьми, знавшими моих родителей. Находясь в Берлине именно в роли сына Парвуса, я завел знакомство с чуждыми мне людьми.

У меня сохранились детские воспоминания о посещавшем наш дом «добром дяде» Гильдебрандте. Я встретился с ним. Гильдебрандт оказался типичным правым социал-демократом, самодовольным мелким партийным чиновником, который кичился и тем, что он выходец из рабочей среды, и тем, что он — деятель влиятельной партии буржуазной республики. Наша беседа была неприятной и бесплодной. Я резко критиковал германскую социал-демократию, а Гильдебрандт расхваливал без разбора политику и лидеров своей партии. Естественно, он с раздражением отозвался на мои слова, что социал-демократия изменила идеалам его собственной юности.

Луиза Каутская, жена Карла Каутского, выразила желание со мной встретиться. Я помнил, что в тяжелые времена наших с матерью мытарств получались письма от Луизы Каутской, помнил, как мама им радовалась. Каутская посылала моей матери новые произведения

(даже авторские экземпляры книг) видных деятелей и писателей немецкого рабочего движения с тем, чтобы мама их переводила на русский язык.

Наше свидание взволновало Каутскую, это можно было заметить и по тому, как она со мной встретилась, как расспрашивала о маме, как меня разглядывала. Теперь, когда я из переписки Розы Люксембург с Луизой Каутской и из рассказов о ней узнал, что она была сердечным и тонким человеком, я лучше, чем при личной встрече понимаю, что она испытала сложные чувства, познакомившись с сыном Парвуса и Татьяны, который стал большевиком (Каутская, наверное, не сомневалась, что я член КПСС). По молчаливому соглашению мы о Парвусе упомянули лишь вскользь. Каутская, несомненно, относилась отрицательно к деятельности Парвуса последних лет и понимала, что я также отрицательно оцениваю его поведение. У меня хватило такта не заговаривать о Карле Каутском и не выкладывать его супруге, что я вполне согласен с ленинской оценкой «ренегата Каутского». Зато я с юношеской прямолинейностью задавал малоприятные вопросы по поводу оппортунизма других лидеров германской социал-демократии. Луиза Каутская с достоинством и ясно отвечала на мои упреки и излагала свое мнение. Так, она согласилась, что первый президент германской республики Эберт отступил от идей социал-демократии и отозвалась об Эберте недоброжелательно; Каутская, конечно, знала, что Парвус был неофициальным советником Эберта. Возражая мне, она взяла под защиту Лебе, тогдашнего социал-демократического председателя рейхстага. Словом, личные симпатии и антипатии Каутской отражали ту политическую позицию, которую принято называть «центристской».

Каутская, конечно, предпочла бы не вести со мной политических дискуссий, но, вероятно, она видела, что я искренен и серьезно отношусь к затронутым проблемам. Теперь я понимаю, что при этой своеобразной встрече, вообще, незачем было касаться политических

вопросов, но тогда я считал своим долгом ясно и твердо сформулировать свои политические взгляды и познакомить жену Карла Каутского с точкой зрения молодого советского работника, а тем самым и с позицией его сверстников. Я исходил из ригористического убеждения, что личные мотивы и эмоции должны отступать на второй план перед идейными и политическими соображениями.

Пожелал со мной встретиться бывший единомышленник Парвуса по русской социал-демократии Бухгольц. Он назначил мне свидание в кафе. Видимо, Бухгольц заинтересовался мной не столько потому, что я сын Парвуса, сколько потому, что ему рассказали, что я убежденный сторонник советского строя. Это свидание в кафе было как бы первым из многих таких же свиданий, которые я впоследствии имел в Берлине уже в качестве советского дипломата и проводника советской внешней политики. При встрече с Бухгольцем мне пригодились те номера «Крокодила», которые я, как уже упоминал, захватил из Москвы. Я принес их с собой в кафе и продемонстрировал Бухгольцу в доказательство того, что в советской стране изобличаются недостатки и существует возможность критики. На моего собеседника номера «Крокодила» произвели определенное впечатление. (Для сведения современных читателей: ни я не был циничным лицемером, ни Бухгольц — наивным или доверчивым человеком. В двадцатых годах в нашей стране играла большую роль острая сатира. Правда, тогда уже давали себя знать противоположные тенденции, возобладавшие в период «культа личности» Сталина. Возможно, Бухгольц понимал это лучше, чем я). Помнится, я был доволен результатами встречи с Бухгольцем, мне казалось, что я побудил его хотя бы частично пересмотреть свое отрицательное отношение к СССР.

Иной характер носила моя случайная встреча с одним из редакторов газетенки «Дни». Узнав, кто мой собеседник, я обрушился на него с резкими обвинениями во

лжи и клевете на советскую страну и тотчас же ушел из дома, где он находился в качестве гостя.

Побывал я и в клубе русских эмигрантов. Я как бы присутствовал на спектакле-гротеске. В коридоре и комнатах клуба, как мне казалось, то и дело встречались чудом сохранившиеся или ожившие персонажи дореволюционной Одессы — маклеры и купцы. Мне даже померещилось, что дежурный старшина клуба — сам Анатра, знаменитый одесский богач. В ресторане играл джаз (как я уже писал, — тогда новинка); среди кутивших господ мне показали знаменитых спекулянтов, братьев Бармат; я запомнил выражение их лиц; такой прямой, наглый и пустой взгляд я впоследствии замечал в лагере у крупных уголовников. К ресторану примыкала читальня; там сидел в одиночестве какой-то человек интеллигентной наружности, он листал советские газеты, но вникнуть в интересующий его материал ему мешал гремивший за стеной джас-оркестр, и он раздраженно бормотал: «Проклятая музыка!». Я с любопытством наблюдал за изнервничавшимся интеллигентом, почему-то считал, что только на капиталистическом Западе ресторанный шум и грохот джаза могут помешать русскому интеллигентному человеку читать газеты и размышлять.

Не только при встречах с заведомыми противниками большевизма или, во всяком случае, чуждыми мне людьми я защищал генеральную линию партии, как я ее понимал. Однажды я познакомился с молодыми немецкими рабочими. Кажется, дело происходило в начале 1925 года, вскоре после снятия Троцкого с поста наркома по военным и морским делам. Во всяком случае, у меня в памяти остался спор именно относительно позиции Троцкого и оценки его взглядов. Мои собеседники не очень решительно (или не вполне откровенно) выражали сомнения в обоснованности кампании против Троцкого и его сторонников. Мои возражения они выслушивали с интересом, но и с некоторым недоброжелательством. Тем не менее, мы относились друг к

другу с доверием в том смысле, что верили в приверженность каждого из нас делу революции и социализма. Оба эти понятия обладали воодушевляющей свежестью и не воспринимались как штампы.

Если возражения и споры лишь укрепляли меня в чувстве своей правоты, то, естественно, еще большим стимулом явилось соприкосновение с рабочим движением и моими единомышленниками. Я уже упоминал, что порой присоединялся к рабочим демонстрациям. Я запомнил одну боевую колонну, которая двигалась из рабочих окраин к центру, преодолевая сопротивление полиции. В рядах демонстрантов царил большой подъем, который я разделял; я чрезмерно увлекся и пришел в себя, когда обнаружил, что у входа на Постдамербрюке нахожусь в первом ряду колонны и чуть ли не наскочил на пузатого шуцмана. Полицейские образовали цепь, чтобы не пропустить демонстрантов в самый центр города. Я вышел из рядов демонстрантов, сообразив, что нарушил все правила поведения советских граждан за границей; если бы полиция меня забрала, разразился бы немалый скандал.

Другая запомнившаяся мне демонстрация была связана с перенесением праха скончавшегося за границей Юлиана Мархлевского на кладбище, где находились могилы Либкнехта и Розы Люксембург. Сначала происходил траурный митинг в здании полпредства СССР. Большой зал с зимним садом был совершенно заполнен людьми. Помню, что речь произнес Н. Н. Крестинский, говорил и Эрнст Тельман. Потом демонстрация направилась из центра к кладбищу. Как было мне не испытывать волнение и душевный подъем, если в столице капиталистической Германии тысячи и тысячи немецких рабочих участвовали в проводах революционера-интернационалиста.

Однажды работники отдела дипломатической информации пригласили меня на встречу с берлинскими деятелями литературы и театра. Хотя это была полубогемная вечеринка, много пили, все же впечатление от этого

вечера не противоречило восприятию действительности в свете революционного романтизма.

В тот вечер я познакомился с двумя необыкновенно привлекательными людьми: Анной Лацис, актрисой и режиссером, известной, в частности, как теоретик и организатор театра для детей, и с Бернгардом Райхом, режиссером в театре Рейнгардта и другом Брехта. Наше знакомство продолжалось в Москве, куда Райх переехал, желая участвовать в строительстве новой социалистической культуры. И, действительно, как Бернгард Райх, так и Анна Лацис, внесли весьма значительный вклад в развитие советского театра. До конца шестидесятых годов Анна Лацис еще активно работала в театре Латвии, окруженная любовью и уважением. Оба они были сталинским аппаратом отправлены в лагерь.

При встрече с Бернгардом Райхом в Берлине в годы моих хлопот по делу о наследстве Парвуса на меня произвело большое впечатление именно то обстоятельство, что талантливый молодой деятель европейского передового искусства был убежденным противником буржуазного театра и поклонником советского искусства. Встречи с такими энтузиастами, как Райх и его друзья, укрепляли во мне убежденность в том, что, отвергая духовное и материальное наследство деятеля буржуазного мира и борясь за интересы советского государства, я делаю общее дело вместе с лучшими представителями европейской интеллигенции. Эти берлинские энтузиасты из мира искусства, в свою очередь, видели в молодых советских дипломатах людей нового мира. Любопытно, что Бернгард Райх посвятил атмосфере, царившей на Кронпринценуфер, и встречам со всеми нами несколько страниц в своих мемуарах, вышедших в 1970 году в Берлине. «Анна Лацис, — писал Райх, — познакомила меня с русскими дипломатами, жившими на Кронпринценуфер... Это были люди весьма различного склада, но все они видели перед собой ясную цель и были твердо уверены, что цель будет достигнута. Они жили ради социалистических

идей, но вопреки традиционным ложным представлениям, они, будучи революционерами, людьми, преданными идее, не вели себя как экзальтированные мечтатели. Они были... трезвыми, практическими, мыслящими людьми... Они представляли новый человеческий тип: Homo sovieticus. У меня возникло желание ближе узнать этого Homo sovieticus и собственными глазами взглянуть на страну, где этот тип формируется»[1].

Из людей, встреченных мною тогда же, запомнился Вальтер Беньямин — тогда еще малоизвестный, позднее, особенно в настоящее время, усердно цитируемый и читаемый критик и философ пессимистического толка. Мы говорили о поэзии. Его, очевидно, заинтересовало в моем отношении к поэзии сочетание любви к современной русской поэзии с попытками социологической критики. Подвыпив, мы рассуждали о том, что на описании пейзажей изысканными поэтами отразилось то обстоятельство, что они глядели на природу через зеркальные окна вилл и железнодорожных вагонов первого класса. К концу вечеринки, Вальтер Беньямин пробормотал: «Вы настоящий большевик: вы умеете и приказывать и подчиняться».

Через несколько лет Вальтер Беньямин приезжал в Москву в качестве туриста. При встрече со мной он уже не проявлял прежнего энтузиазма по поводу моих большевистских достоинств. Возможно, он заметил, что я становлюсь чиновником. Будучи убежденным и известным антифашистским критиком, Вальтер Беньямин после прихода Гитлера к власти эмигрировал во Францию. Затравленный нацистами, как писал Томас Манн, он в Париже покончил самоубийством. Вальтер Беньямин исповедовал философию, сочетавшую надежду с «великим отрицанием», она привела его в годы фашистского разгула к абсолютному отрицанию.

Увенчанием впечатлений от встречи с представите-

1) Bernhard Reich. Im Wettlauf mit der Zeit. Erinnerungen aus fünf Jahrzehnten deutscher Theatergeschichte, 1970, Berlin, S. 94.

лями артистического и литературного мира Берлина было исполнение молодым Брехтом его песен. Мы собрались кружком у рояля. Сочетание революционности с новаторством в искусстве было как раз тем, о чем я мечтал...

Все описанные встречи и впечатления были в моей берлинской жизни лишь фоном или дополнением к стычкам и приключениям в моей борьбе с капиталистическими дельцами и юристами, наложившими руку на наследство Парвуса и его расхищавшими. Все впечатления лишь укрепляли меня в моих взглядах. Я уверенно говорил, вернувшись из Берлина, что теперь уже, вне сомнения, никакие новые факты и впечатления не могут поколебать моей убежденности в превосходстве советского строя над капиталистическим.

Мои политические убеждения укрепились и в результате чисто профессиональных наблюдений над развитием международных отношений. Я собрал в Берлине материал о картелировании в Германии и вообще в Европе, о происходившем в те годы образовании крупных германских и европейских монополий. Эти процессы, как известно, приобрели огромный размах после окончания второй мировой войны. Но и в те времена это был реальный процесс, который создавал базу для международной консолидации капиталистических групп и государств, для их противостояния Советскому Союзу. Тут нечего было домысливать и романтизировать. Тем не менее представление о борьбе континентов, возникшее у меня на основе реальных фактов, претворилось в моем сознании в романтической форме. Шагая «по улицам бесстыдного Берлина», как говорилось в моих стихах, я декламировал:

Не называйте речь поэта детской
И вслушайтесь в его косноязычный крик:
Европы вижу я советской
Блокированный материк, —

Австралия откажет нам в признаньи,
Америка откажет нам в зерне,
В Китае разыграется восстанье,
Захочет Индия остаться в стороне.

Еще до попыток экономической блокады СССР в период пятилеток, за много лет до прихода к власти в Китае Коммунистической партии и до образования нейтральной Индии, за четверть века до возникновения двух блоков — НАТО и Варшавского пакта, была в приведенных стишках довольно удачно предсказана структура будущих международных отношений. Действительно, международные противоречия развертываются в масштабе континентов. Но структура — формальное понятие. Что касается содержания, смысла событий и роли отдельных международных сил, например, Китайской республики, то история отступила от тех представлений о путях прогресса, из которых в 1925 году исходил молодой сотрудник советского дипломатического ведомства. Можно предвидеть исторические трагедии, но ирония истории непредсказуема.

ГЛАВА X

В мае 1925 года я возвратился на родину морем, на советском грузовом пароходе, следовавшем из Гамбурга в Ленинград. Кроме меня, пассажирами были два дипкурьера и незнакомый крепкий старичок, который, по его собственным словам, не имел советской въездной визы, но не был этим обеспокоен. Странность заключалась в том, что этот, уверенный в себе пассажир был явно аполитичным человеком; нельзя было предположить, что это законспирированный политический деятель. В Ленинграде я узнал, что мой загадочный, но весьма симпатичный попутчик — отец Михаила Кольцова.

В качестве заведующего Торгово-политическим отделением НКИД я состоял членом Таможенно-тарифного комитета при Совнаркоме СССР и располагал рекомендательным письмом к таможенным властям. Но, очевидно, вследствие моей моложавости я не внушал таможенникам должного уважения, и мне было предложено открыть один из двух чемоданов, привлекший внимание своей тяжелостью. Чемодан был доверху заполнен книгами. В другом чемодане я вез подарки родным и друзьям. Я вернулся в Москву в том же костюме, зато в новом плаще, новой кепке и новых ботинках.

Летом и осенью 1925 года мне было не до наследственного дела. Наступила завершающая фаза в переговорах о торговом договоре между СССР и Германией; я был занят этими делами не только по основной должности, но и потому, что являлся экспертом при советской делегации, которую возглавлял сначала Я. С. Ганецкий, а потом Борис Спиридонович Стомоняков. Обширный договор с Германией должен был стать важной вехой в развитии экономических связей между Советской страной и крупными капиталистическими странами

(прежде всего с самой Германией); в этом договоре впервые подробно фиксировалось признание принципа монополии внешней торговли, установленного в СССР. Таким образом, торговый договор с Германией был новаторским документом крупного политического значения.

В двадцатых годах работникам НКИД чаще приходилось не столько применять или истолковывать законы и договоры, сколько разрабатывать их на совершенно новых основаниях. В статье, опубликованной в 1967 году в «Новом мире», я писал: «Молодые советские дипломаты росли в такой атмосфере, когда новаторство было не просто лозунгом или пожеланием, а реальной необходимостью». Именно в такой атмосфере я жил и работал в ту пору, когда в мою жизнь вторглось «дело о наследстве Парвуса». Для этой атмосферы характерно было и острое ощущение противоречивости интересов советской дипломатии и дипломатии капиталистических стран. Ведь наше новаторство шло вразрез с исконными целями и традициями буржуазной дипломатии. Естественно, что и переговоры о торговом договоре между СССР и Германией порой приобретали обостренные формы. Германская делегация выступала в роли авангарда европейских промышленных монополий, и это ясно сказывалось на ходе переговоров. А мы, советские работники, считали, что, обеспечивая интересы и права СССР в договоре с Германией, как бы создаем советский аванпост в деловом мире капиталистической Европы. Конечно, заключение торгового договора открывало большие перспективы чисто экономического значения.

Сложность переговоров, отсутствие исторических прецедентов и фактическая, не всегда раскрываемая непримиримость позиций обеих сторон по некоторым вопросам, все это, в частности, вело к тому, что многие формулировки в договоре были компромиссными, причем каждая из сторон готовилась по-своему их истолковать. Поэтому имели большое значение оттенки в переводе с немецкого на русский и обратно. Я был хорошо

знаком с подготовкой договора, поэтому мне поручили накануне подписания договора участвовать с советской стороны в сличении немецкого и русского текстов. Моим партнером с германской стороны был советник Хильгер. (Впоследствии, в 1939 г., он функционировал в качестве переводчика и посредника при переговорах Сталина и Молотова с Риббентропом.)

К тому времени, когда был подписан торговый договор, 12 октября 1925 года, произошли сдвиги в деле о наследстве Парвуса. Расхищение наследства еще не закончилось, но опекун, назначенный судом, стал подводить итоги. У меня сохранился один единственный документ, относящийся к тому времени. Это официальное письмо юстицрата Вертхаура от 19 сентября 1925 года, адресованное на мое имя: «Господину Гельфанду, Москва» («опекун» не знал моего московского адреса). Юстицрат уведомлял, что он уже в состоянии выплатить каждому из наследников по одной тысяче марок и просил сообщить, куда перевести причитающиеся мне деньги. На экземпляре этого письма имеется моя, сделанная карандашем, пометка, что деньги переводились на счет Советского государства.

Одновременно с письмом «опекуна», вероятно, и до его получения, поступали письма от юристов Торгпредства, ведших дело. Возник ряд юридических и практических вопросов. Понадобилась моя новая поездка в Берлин.

На этот раз я уже не встречался с другими наследниками или с их представителями. Достаточно было ознакомления с материалами, имевшимися в юридическом отделе торгпредства. Не помню в деталях, какие стороны дела и борьбы за наследство мы на этот раз обсуждали. Шла большая переписка с судебными инстанциями, мы составляли какие-то письма и документы, консультировались с немецким адвокатом Торгпредства. (К делу был привлечен крупный эксперт-юрист профессор Вимпфхеймер). Но наследственное дело оставалось запутанным и, может быть, поэтому я,

как ни странно, не запомнил, о каких точно суммах шла речь, и каков был предположительный размер моей доли (кажется, около ста тысяч марок). Я старался вести дело таким образом, чтобы в конечном итоге во всяком случае удалось получить в счет моей доли весь комплекс имущества «Института по исследованию причин и последствий первой мировой войны» и входившей в его состав научной библиотеки международного значения.

Этот, созданный Парвусом, Институт был одно время единственным в своем роде учреждением, а после создания в США фондом Карнеджи аналогичного учреждения — вторым в мире по значению центром исследования предпосылок и последствий войны. Я получил представление об этом институте на основании материалов, с которыми знакомился, и из сообщений наших ученых, его посетивших. Сам я там не побывал. (Он находился в Копенгагене). Теперь, когда на Западе возникли модные дисциплины — «наука о мире» и так называемая полемология, наука о войне, — я склонен думать, что институт, обширные материалы которого в конечном счете получило советское государство, был предшественником современных учреждений, специализирующихся на «науке о мире и войне».

Итак, я знакомился с соображениями двух юристов торгпредства, формулировал свои пожелания, давал согласие на их предложения. Это были опытные, доверенные работники торгпредства, ведшие дела значительно более важные, чем дело о наследстве Парвуса, и по объему капитала, и по государственному значению.

Через несколько лет оба эти юриста отказались от работы в торгпредстве и обосновались в Берлине. Не знаю подробностей, сами ли они вышли из советского гражданства или были его лишены. Мне передавали, что уже при их уходе из торгпредства обнаружилось, что они — весьма состоятельные люди, даже стали домовладельцами. Возможно, они нажились на крупных взятках, которые получали от немецких клиентов

торгпредства. Возможно, они причастны и к расхищению наследства Парвуса. (Я не называю их фамилий, так как не знаю точно всех обстоятельств их ухода из торгпредства, не знаю их дальнейшей судьбы).

Мое второе пребывание в Германии было окрашено в совершенно иные тона, нежели первая поездка: мне было разрешено поехать туда с женой. То был настоящий праздник. Все, что меня окружало, все встречи с людьми представали передо мной в новом свете. Теперь я уже не бродил одиноко по улицам «бесстыдного Берлина», а вместе с Надей наслаждался яркими впечатлениями. Мы любовались «огнями большого города» и вглядывались в его лицо.

В ту пору Берлин был крупнейшим европейским, если не мировым, культурным центром. До того как разразился кризис тридцатых годов и наступила ночь фашистского варварства, в литературе и искусстве республиканской Германии царило большое оживление. Близость к искусству, естественно, делала нас особенно восприимчивыми к открывшейся нам культурной жизни. Оно так и было. Однако сказалось и то, что мы с женой все воспринимали не только со свойственным каждой личности своеобразием, но и как люди, жившие в новом обществе, сложившемся в советской стране. Через несколько дней после приезда в Берлин Надя писала родным «... Часто, слишком часто вспоминаем наши театры и прессу... Вообще они, сыграв роль громкоговорителя Европы, лишили меня непосредственного восприятия. Слишком часто случается, что мы толкаем друг друга локтем и говорим: «Помнишь «Д. Е.» или что-нибудь в этом роде». (Д. Е. — пьеса Эренбурга «Трест Д. Е.», шедшая в театре В. Мейерхольда).

Более непосредственной была наша реакция на искусство и памятники прошлого. На нас, например, произвело большое впечатление то, что мы оказались в тех местах, где когда-то сиживал Э. Т. А. Гофман, произведения которого мы любили. В ночные рестораны типа «Барбериха» мы не попадали.

В берлинских музеях мы впервые вдвоем познавали в подлинниках античное искусство, которое позднее во всей полноте открылось нам в Италии. В Дрездене состоялась наша первая встреча с мадонной Рафаэля и другими сокровищами живописи.

У меня и сейчас висит в комнате копия картины Иордана «Диоген на рынке». Старый, полный сил, мускулистый человек с пронзительным взглядом, приподняв перед собой фонарь, стоит среди скотов и людей, похожих на животных, — каждый, по-своему: всадник напоминает свою лошадь, торговцы и попы походят на быков и свиней. Покупая гравюру, я, кажется, не сознавал, что она меня привлекла не только потому, что я с детства был пленен образом Диогена, но и потому, что занимаясь наследственным делом, чувствовал себя Диогеном на торжище.

По дороге из Дрездена в Веймар мы встретились в поезде с русским эмигрантом. И эта встреча отличалась от моих сложных контактов в предшествующую поездку. Наш случайный русский попутник, взглянув на мою жену, воскликнул: «Какая радость встретить здесь, в Германии, тургеневскую девушку!». Тут уж пришлось обойтись без политических дискуссий.

В Веймаре, переночевав в гостинице на привокзальной площади, мы получили адрес приличного частного пансиона и отправились туда в трамвайчике, который останавливался по требованию в любом месте.

Хозяйкой пансиона, в котором мы поселились, была вдова местного адвоката. В сохранившемся письме Нади в Москву она пишет: «Хозяйка наша — почтенная, красная, толстая и седая немка, сладко улыбающаяся, но, вероятно, довольно прижимистая». Когда я рассказывал о квартире судебного исполнителя Рихтера, я лишь по памяти обрисовал немецкий мещанский уют. В Веймаре он был такой же, и я могу благодаря сохранившемуся письму Нади привести точные детали: «. . . большая спальня, совсем не московская, типичная немецкая: две громадные деревянные кровати с ночны-

ми столиками по бокам, мраморный умывальный стол, на котором два фаянсовых кувшина и две фаянсовые миски, наполненные водой, зеркальный шкаф со множеством отделений и над умывальником — тоже большое зеркало. Укрываемся перинами и теплыми одеялами, в спальне довольно холодно, так как обе комнаты, из которых одна большая, отапливаются одним камином... В столовой стоит посредине овальный стол, над которым висит лампа с громадным абажуром, справа в углу большое трюмо, слева выложенная зелеными изразцами «голландка», подле которой стоит старинный шкафчик для посуды. Кроме того, в комнате большой письменный стол и маленький гарнитур из столика, дивана и двух больших кресел с маленькой ножной скамеечкой. Все это обито желтым плюшем с бахромой. На окнах, конечно, гардины, в ночных столиках — сосуды; все, что можно, покрыто салфеточками, на стенах — картина, изображающая цыганку, копии Беклина и земние пейзажи, на полу — ковер».

В этом описании квартиры вдовы веймарского адвоката любопытно то, что в обстановке жилища немецкой провинциальной интеллигенции конца первой четверти XX века явно преобладал стиль середины XIX века. Вместе с тем из письма молодой советской интеллигентки видно, что она воспринимала бюргерский комфорт отчужденно, как нечто пошлое и «старорежимное».

У нашей хозяйки столовались солидные обыватели города Веймара, в том числе и сотрудник местной либеральной газеты. Свой интерес к России он выражал лаконично и традиционно: «О, Достоевский!». Появление молодых супругов из Москвы был сенсацией в этой среде. Однако не слышно было никаких политических замечаний, как это бывало в Берлине. Мы перестали быть в центре внимания наших сотрапезников, когда появилась новая тема для беседы: они обсуждали за столом — благоговейно и с волнением — приезд в республиканский Веймар бывшей владетельной герцогини, соизволившей даже посетить городскую больницу.

Впечатления от Веймара, дома Гете, от жилищ Шиллера, Листа, от парков и холмов прелестного города тесно сливаются в моей памяти с общим представлением о классической немецкой культуре, философии и поэзии. В Веймаре мы находились в атмосфере «страны мыслителей и поэтов».

Но так случилось, что именно в Веймаре в 1925 году мы впервые увидели иной облик Германии, Германии милитаристов и палачей, тот облик, с которым нам пришлось впоследствии столкнуться вплотную во время нашего пребывания там в фашистские времена. Мы шли однажды по уютной старинной улице Веймара, конечно, после посещения одного из хранилищ культурных ценностей, когда вдруг послышалась дробь барабана и из-за угла вышла, отбивая шаг, военизированная колонна. Вероятно, это был отряд нацистских штурмовиков или аналогичная группа людей, готовых стать орудием войны и фашистского террора. Отряд был неоднородного состава; упоминая об этой встрече в своих заметках того времени, жена писала: «Впереди отряда шел студент-корпорант; криво усмехаясь, он нес черное знамя с изображением черепа, скрещенных костей и свастики».

Мы тогда не могли знать, какую роль в истории и в нашей жизни сыграет германский фашизм, но словно охваченные зловещим предчувствием, мы с ужасом глядели в самодовольные и грубые лица молодых фашистов, на жестокие, наглые лица их командиров. Эта группа немцев не имела ничего общего со всем тем, чем нас пленила в Веймаре немецкая культура.

Оттого, что во время поездки в Германию со мной была моя жена, в иной атмосфере происходило и соприкосновение с «наследством Парвуса». Неверно было бы, конечно, утверждать, что именно потому, что со мной была Надя, я познакомился с единственным симпатичным человеком из окружения Парвуса. Но все же так сложились обстоятельства.

Мы познакомились и несколько раз встречались с

поэтом Бруно Шенланком. Парвус ему покровительствовал, Шенланк был своим человеком в его доме. Это объясняется отчасти тем, что Шенланк — сын рано скончавшегося германского социал-демократа, с которым Парвус в свои лучшие времена, в конце прошлого века, вместе редактировал газету левого крыла социал-демократической партии. Но Парвус отнюдь не отличался склонностью к сентиментальным воспоминаниям или снисходительным отношением к людям по причине давнего знакомства или прежней дружбы; видимо, он просто симпатизировал молодому Бруно Шенланку.

Скажу несколько подробнее о поэте, который был близок с моим отцом и отнесся с большой симпатией ко мне и к моей жене во время нашего краткого знакомства.

Бруно Шенланк с ранних лет был вынужден добывать себе средства на жизнь нелегким трудом. Он работал в помещичьих имениях и на фабрике, не раз менял профессию, дольше всего служил продавцом в книжном магазине. Нас с Шенланком сближало то, что мы оба в детстве и юности принадлежали к демократическим «низам» буржуазного общества. Но предо мной открылись широкие жизненные перспективы благодаря Октябрьской революции, а перед Шенланком — благодаря поддержке мецената, роль которого сыграл мой отец.

Происхождение Бруно Шенланка и его жизненный путь предопределили и его политические взгляды: он стал социал-демократом. Во время войны он был организатором и участником антивоенной демонстрации и попал в тюрьму. Потом он был на фронте в Бельгии. Когда разразилась ноябрьская революция 1918 года, он примкнул, по его выражению, к крайним левым. После марта 1920 года, то есть когда, с одной стороны, был дан массовый отпор контрреволюционному путчу Каппа, а с другой — было подавлено при участии правых социал-демократов вооруженное выступление рурских

рабочих, Бруно Шенланк отошел от политической борьбы.

Бруно Шенланк считал себя рабочим поэтом. Какой смысл он вкладывал в это понятие, Шенланк разъяснял в предисловии к книжке стихов, которую он нам подарил; она у нас сохранилась. Название книги — «Будь нашей, земля!».

Размышления Шенланка о рабочей поэзии касались проблем, обсуждавшихся в то время и у нас. Шенланк заявил о своем несогласии с чрезмерно узким определением такого понятия как пролетарское искусство. Если источником вдохновения поэта, живописца или композитора, писал Шенланк, являются социальные бедствия и социальная борьба нашего времени, и если это находит выражение в его творчестве, стало быть он просвещает пролетариат, побуждает его сознавать свои смутные душевные движения и стремления; тогда автор является в лучшем смысле этого слова представителем искусства мира труда, рабочим поэтом, хотя бы он сам и не испытал подневольный труд на фабрике. До мировой войны, писал Шенланк, чаще всего случалось, да и теперь бывает, что поэт, вышедший из среды фабричного пролетариата, остается в рамках традиционной мелкобуржуазной «поэзии бедноты». Между тем бывает и так, что поэт, который вовсе не является типичным пролетарием, взрывает все устаревшие формы и раскрывает новое содержание.

Эти мысли, сформулированные в предисловии к книге, вышедшей в берлинском Издательстве рабочей молодежи, Бруно Шенланк излагал и в разговорах с нами, и таким образом мы при встрече с немецким поэтом как бы продолжали споры и беседы, происходившие в 1925 году в Москве.

Шенланк так характеризовал послевоенную рабочую поэзию Германии и тем самым свое творчество: «Мировая война и послевоенная горячка, годы революции и инфляции всколыхнули хаос в душах юных поэтов и заставили нас говорить пламенным языком. Мы слы-

шим, чувствуем каждой клеточкой своего существа как из расколовшегося надвое мира, из его распада и бездны встает другой, более мощный мир, который принадлежит созидательному труду».

«Вселенная на части раскололась» — это образ из моих лирических записей двадцатых годов. Понятно, что такие же представления Бруно Шенланка находили у нас отзвук. Мировосприятие поэта, которому покровительствовал мой отец, оказалось близким, созвучным той душевной атмосфере, в которой жили мы с Надей.

Однако нет сомнений, что Парвус глядел на мир совсем иными глазами нежели вхожий в его дом поэт. Зато они, очевидно, одинаково оценивали общественные события того времени и, особенно, Октябрьскую революцию. Совершенно обратная ситуация сложилась в моих отношениях с Бруно Шенланком: мне было сродни его поэтическое восприятие современного мира, но я стоял на абсолютно иных общественных позициях, нежели Шенланк-социал-демократ.

Правда, политические разногласия не замутняли нашего краткого знакомства. Бруно относился к нам с большой сердечностью, и к тому же он был ни трагическим поэтом, ни сумрачной личностью; наоборот, он отличался жизнерадостностью, а в его поэзии было кое-что от пантеизма.

Мы совершали совместные прогулки по Берлину. Наиболее интересным было посещение виллы Парвуса в одном из самых живописных мест в окрестностях Берлина — в Шваневердере. В веймарские времена там находились виллы аристократов, меценатов и просто богатых людей, а в гитлеровские времена со Шваневердер связывались сенсационные слухи о разгульной жизни сановников гитлеровского рейха и в частности Геббельса и его прислужников из «культуркаммер».

Мы поехали в Шваневердер по предложению Шенланка, которому хотелось раскрыть перед нами привлекательную картину жизни Парвуса и его друзей. Садовник, хорошо знавший Шенланка, сразу впустил

нас на территорию виллы, опечатанной судебным опекуном. Огромный, несомненно комфортабельный дом, расположенный на берегу озера, был заперт, и войти в него нельзя было. Большой сад был ухожен, но совершенно пуст. У мостков небольшой «собственной пристани» покачивались лодки и моторный катер тоже взятые на учет судебным «опекуном». Мне, выросшему у Черного моря, никогда не дано было иметь собственную лодку; поэтому я ощутил досаду и даже зависть к тем, кто мог во владениях моего отца наслаждаться радостями моего любимого водного спорта. Это — единственный случай, когда мне пришло в голову, что богатство Парвуса могло бы и мне доставить жизненные удовольствия; тогда вновь ожило и недоброжелательство к Парвусу, порожденное на этот раз мелким чувством: когда чужие люди катались на моторке моего отца, я, его сын, бродил по морскому берегу, с досадой наблюдая, как взрезают волны катера богатых молодых людей. Все это были, конечно, мимолетные мысли, о которых я говорю, так сказать, для полноты картины.

Показывая мне виллу Парвуса, Бруно Шенланк был очень оживлен и даже взволнован; ему вспоминались приятные часы, проведенные у Парвуса, он рассказывал об обедах и блестящих застольных беседах, душой которых был хозяин виллы. Но Шенланка взволновала и своеобразная, даже драматичная ситуация, когда после смерти своего покровителя он привел на покинутую виллу его старшего сына с молодой женой. По просьбе Шенланка садовник срезал в саду все сохранившиеся еще поздние розы и преподнес букет моей жене. «Как бы радовался старик, если бы принимал вас здесь, — воскликнул Шенланк, обращаясь к Наде, — и он преподнес бы вам эти розы!»

Сейчас я с теплотой вспоминаю Бруно Шенланка и его знаки внимания. Но показательно, что в те годы, вернувшись в Москву, я и не подумал о том, чтобы сохранить связь с Шенланком — как-никак рабочим поэтом.

При посещении виллы Парвуса произошел эпизод, упоминание о котором возвращает мой рассказ к наследственному делу. От того ли, что симпатия Шенланка к нам произвела впечатление на садовника, оттого ли, что я сумел втянуть его в разговор, но случилось так, что он мне поведал небезынтересный факт: всего за несколько недель до моего посещения виллы оттуда были вывезены ящики с архивом Парвуса. Особенно досадно стало мне, когда я услышал от садовника, что перевозкой архивов распоряжались представители Правления германской социал-демократической партии. Все это происходило, конечно, с ведома судебного опекуна, который был не только подставным лицом кредиторов-расхитителей, но и обеспечивал политические интересы правых лидеров социал-демократии. А они позаботились о сохранении в тайне документов, освещавших их деятельность и деятельность одного из главных скрытых советников руководства партии. Политические единомышленники Парвуса как бы парировали ущерб, причиненный им тем, что старший сын Парвуса ознакомился с частью архива, которая оказалась у судебного исполнителя Рихтера.

Я сообщил в посольство о похищении архивов Парвуса Правлением социал-демократической партии. Если память мне не изменяет, ни я, ни юристы торгпредства никаких шагов по этому поводу не предпринимали.

В конце 1925 года мы с женой вернулись в Москву. В дальнейшем я лично больше не занимался делом о наследстве Парвуса, разве что в порядке служебной переписки. Дело завершилось только в 1927 году. Я этого совершенно не помнил и могу назвать дату лишь потому, что сохранилось письмо, которое я написал жене, находившейся тогда под Ленинградом. В письме от 14 июля 1927 года я сообщил жене, что в счет моей доли наследства (около 100 тысяч золотых марок) получена библиотека и собрание документов «Института исследований причин и последствий мировой войны».

Судьбой этого ценнейшего собрания книг и докумен-

тов весьма интересовались различные круги в Европе. Но видимо в Европе неизвестно то, что оно оказалось в Москве. Так, например, в изданном в последние годы собрании писем Мартина Андерсена Нёксе опубликовано письмо Нёксе и примечание редакции, касающиеся судьбы Института, созданного Парвусом. В письме Нёксе Секретарю Коминтерна Кобецкому от 1-12 1920 г. говорится: «В качестве посредника от имени К. Деринга я предложил Советскому правительству большую библиотеку, собранную «Обществом по изучению социальных последствий войны» (Парвус-библиотека). Эта библиотека теперь оценивается во много сотен тысяч крон и представляет большую ценность. Все это я сообщил через Литвинова, но до сих пор не получил ответа».

К этому письму Нёксе редактор издания Верге Хауман уже в 1970 году дал такое примечание: «Библиотеку создал Парвус, прибывший в Данию. Мы ничего не знаем о судьбе библиотеки и ее позднейшей стоимости»[1].

При моем «посредничестве» Советское правительство получило знаменитую библиотеку и при том, естественно, безвозмездно. Библиотека «Института по исследованию причин и последствий мировой войны» была передана Институту Ленина. В те года он еще существовал отдельно от Института Маркса и Энгельса. Как мне рассказывали знакомые, некоторое время на стеллажах виднелась табличка: «Дар Е. А. Гнедина». В 1946 году моя жена, работая по соглашению в ИМЭЛ'е, видела на некоторых карточках пометку, что книга ранее принадлежала Институту Парвуса.

От дирекции Института Ленина я получил письмо за подписью зам. директора В. Сорина с выражением благодарности и с сообщением, что я внесен в списки постоянных получателей всех изданий Института Ленина. Некоторое время я, действительно, получал ленинские сборники.

---

1) Мартин Андерсен Нексё. Письма, т. 1, 1970, стр. 363.

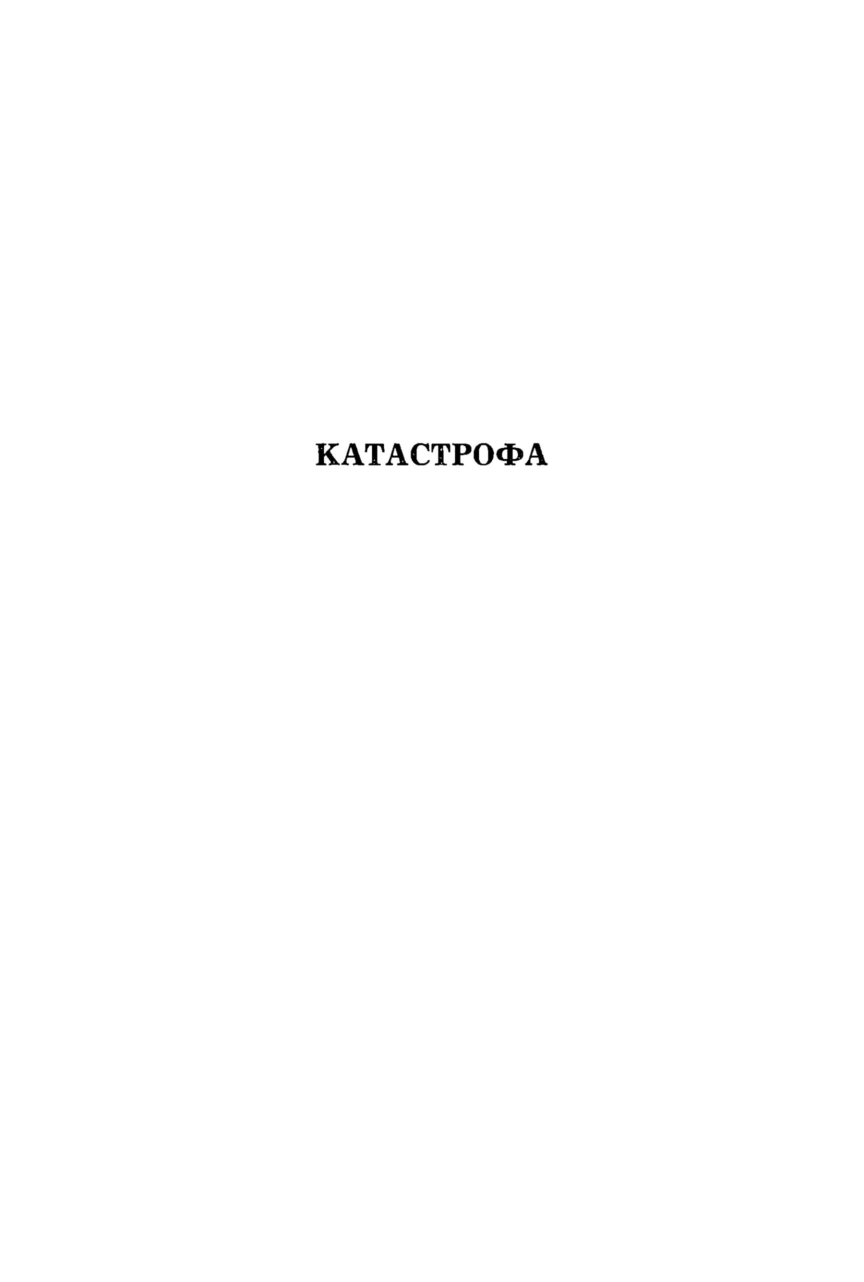
Завершение «дела о наследстве Парвуса» совпало с переменами в моей профессиональной деятельности. Из сферы юридической и экономической я перешел в сферу «чистой», да и нечистой, международной политики. Я стал референтом по германским делам и одновременно с увлечением работал в качестве журналиста-международника. В том же письме от 14 июля 1927 г., в потором упоминается о получении «Библиотеки-Парвус», я писал: «Вчера был совсем особенный день: я вернулся из редакции позже трех часов ночи. Причина: приход важных телеграмм, с которыми связана моя передовая . . .»

Я окончательно ушел из НКИД в редакцию «Известий» в 1931 году, хотя меня продвигали по службе в НКИД, а вернее именно поэтому, как я и сказал М. М. Литвинову. Я не хотел делать карьеру в дипломатическом ведомстве.

Так начался период моей жизни, в течение которого я с одной стороны — совершенствовался, преуспевал в своей профессиональной деятельности, развивался и как личность, а с другой — был вовлечен в работу государственного и политического аппарата, то есть обезличивался. С этой точки зрения предшествующий период, описанный мною в этом рассказе, был еще идиллическим временем. О дальнейшей моей эволюции, моего поколения, да и всего общества, я попытался рассказать в моих записках, которые озаглавил: «Катастрофа и второе рождение».

В 1935 году по решению Политбюро меня вернули на дипломатическую работу и я занял пост первого секретаря посольства в Берлине. А в 1939 году, когда был снят с поста М. М. Литвинов и началась подготовка пакта СССР с гитлеровской Германией (в ту пору я заведывал Отделом печати НКИД СССР) меня вместе с другими невинными жертвами репрессий по прямому приказу Берии отправили в тюрьму, в лагеря, а потом в ссылку «навечно».

В 1955 году я был реабилитирован и возвратился в Москву.



КАТАСТРОФА

ГЛАВА I

ВЕЧЕР 2 МАЯ 1939 ГОДА

В качестве заведующего Отделом печати НКИД СССР, я должен был присутствовать на различных дипломатических приемах, но происходило это довольно редко. Я не искал этих встреч и даже уклонялся от них, порой вопреки моим служебным обязанностям. Случилось, однако, так, что 2 мая 1939 года я был на обеде у японского поверенного в делах Ниси в бывшем морозовском особняке на улице Коминтерна (теперь Дом дружбы с зарубежными странами на улице Калинина, а в двадцатых годах в этом здании помещался театр Пролеткульта, руководимый Эйзенштейном).

Ниси иногда обращался ко мне по делам, касавшимся японских корреспондентов в Москве. Наши беседы были бесплодными. Рассказывая о них, я, шутя, говорил, что диалог имел примерно такой характер: я, указывая на чистый лист бумаги, объяснял, что он — белый, а Ниси с застывшей улыбкой повторял одно и то же: «Нет, господин Гнедин, он черный...» Ниси стал одним из главных проводников и даже вдохновителем антисоветской политики Японии во время мировой войны.

В те годы мне представлялось, что дипломатия японского империализма обладает в наибольшей степени чертами, присущими определенному зловещему типу политиков: наглость в расчете на слабость противника, упрямство и лицемерие возведенное в систему. Словом я относился недоброжелательно к тогдашним японским дипломатам.

Мои настроения отразились на том, как я держался на обеде. Незадолго до того крупный японский журна-

лист (кажется, даже директор газетного предприятия, сейчас не помню) побывал в Москве, был принят мною, а затем проехал в Варшаву и оттуда стал посылать враждебные по отношению к СССР статьи, написанные в совершенно ином тоне, нежели его высказывания в Москве и статьи, посланные из Москвы. Я воспользовался этими фактами для того, чтобы на обеде в полемической форме раскритиковать нравы японской печати и ее внешнеполитическую линию. Конечно, я тогда сознательно или полусознательно игнорировал то обстоятельство, что не все в статьях японского редактора было клеветой. Очевидно, он сообщал какие-то данные о репрессиях и терроре в СССР. Но ведь мне надлежало по должности парировать выпады против нашей страны, тем более, что они исходили из заведомо враждебного источника. Я поступал в соответствии со своими обязанностями и ставил интересы государства, его внешнеполитический престиж выше истины. Наивно было бы теперь винить себя за это, но как не вспомнить, что в эти же самые дни в соседнем здании в НКВД, следователи в свою очередь во имя интересов государства — как они их понимали — пренебрегали истиной и вымогали ложные показания от невинных людей.

Возможно, что я высказывался на обеде у японского дипломата с несколько излишним пылом, тем более, что мне, как почетному гостю, подливали из особой бутылки доброе рейнское вино. Правда через несколько часов это вино придало мне бодрости во время беседы гораздо более важной, нежели пикировка с японскими дипломатами и журналистами.

В разгар обеда слуга доложил тихо хозяину, что меня просят подойти к телефону. Оказалось, что меня срочно вызывают в секретариат Наркома. Я сказал, что приеду как только окончится обед. Такой вызов был совершенно необычным явлением. Поскольку звонили не мои дежурные цензоры и меня не соединяли с Наркомом, я решил, что дело не в политических событиях, а просто

сотрудник секретариата проявил чрезмерное и неуместное усердие. Однако, минут через двадцать меня снова вызвали к телефону из секретариата Наркома и сообщили, что я должен немедленно прибыть в наркомат; меня попросили передать аналогичное распоряжение заведующему правовым отделом НКИД М. А. Плоткину, который тоже присутствовал на обеде. Я извинился перед посланником и тут-же за столом сказал Плоткину, что его также желают срочно видеть по служебному делу. Плоткин, как и я при первом звонке, решил, что происходит недоразумение, либо что я инсценировал вызов, чтобы демонстративно не засиживаться у японских дипломатов. В действительности, хотя на застольной беседе и сказались соображения внешне-политической тактики, тем не менее, я вовсе не был намерен нарушать правила и внешние формы дипломатической деятельности. Я говорю об этом по той причине, что в этот же вечер, руководясь именно подобными соображениями о необходимости соблюдать форму и порядок государственной работы, я совершил поступок, по существу правильный, но весьма неосторожный.

Я приехал в НКИД вероятно уже после 10-ти часов вечера. В «большом доме на Лубянке» (улица Дзержинского), расположенном против НКИД, окна на всех этажах как всегда ярко горели. В НКВД кипела работа. Но и в здании НКИД, где обычно вечером светились только лампы дежурных секретарей, в частности, в моем Отделе печати, — в этот поздный час был полностью освещен этаж, где находились кабинеты и приемные Наркома, а между темными окнами других этажей сверкали огни в окнах кабинетов ответственных работников. Но внутри здания, в коридорах, было темно и пустынно, так как большинство сотрудников отсутствовало. В секретариате Наркома я застал коекого из заведующих отделами, управляющего делами Корженко и нескольких сотрудников спецотдела (кажется, он тогда так назывался). Мне стало известно,

что в здании НКИД заседает комиссия ЦК, которая намерена с нами беседовать.

Я прошел к себе в отдел и, просматривая вечерние телеграммы, мысленно готовился к беседе. Хорошо помню, что я был доволен, что предстоит встреча с комиссией ЦК; я надеялся лично изложить те проблемы работы с иностранной печатью, проблемы пропаганды и контр-пропаганды, относительно которых мною были написаны докладные записки не только М. М. Литвинову, но и непосредственно в ЦК. О снятии Максима Максимовича с поста Наркома я не знал; подобные предположения и не могли возникнуть именно в этот день, так как все видели Литвинова во время первомайского парада. Он находился на трибуне мавзолея и сидел в задумчивой и свободной позе чуть ниже той трибуны, на которой расположились Сталин и другие члены правительства, в том числе Берия, щеголявший, кажется, и на этом параде в форме НКВД. Позднее я подумал: возможно Максим Максимович знал, что вскоре будет объявлено об его отставке и своим присутствием на параде демонстрировал, что он на свободе.

Не только я вечером 2 мая не знал, что разразилась катастрофа. Пока я у себя в кабинете ждал вызова в комиссию ЦК, ко мне зашел, тоже прибывший с дипломатического обеда, заведующий отделом Прибалтики Бежанов. Он еще не был в секретариате и, видимо, полагая, что произошли какие-то важные внешне-политические события, хотел предварительно у меня проинформироваться. Обнаружив, что никаких особых международных событий нет, и узнав от меня, что среди работников, вызванных в секретариат, находится сотрудник спецотдела Токмаков (давнишний работник НКИД, в конце 20-х годов — секретарь комсомольской ячейки), Бежанов воскликнул: «О, значит дело серьезное!» и поспешно удалился. В тот же вечер я узнал, что Токмаков ведал секретными личными делами работников НКИД; именно поэтому его появление в вечерний час в Наркомате бывалый наркоминделец, каким являл-

ся Бежанов, счел событием более серьезным, чем даже международный кризис. В известной мере Бежанов был прав. Бедняга убедился в этом на себе: он был арестован, как и многие другие дипломатические работники.

Приближалась моя очередь вызова в комиссию и я отправился в «предбанник»; так государственные чиновники именовали помещение, из которого двери вели прямо в кабинет высокого начальства. Все находившиеся в «предбаннике» были напряжены и угрюмо молчаливы. Я обратил внимание на нервное поведение управляющего делами НКИД Корженко, который был прислан из НКВД с заданием навести порядок и дисциплину и поднять бдительность в дипломатическом ведомстве. Мои трения с Корженко были вызваны тем, что я не проявлял уважения к показной дисциплине и к различным формальным сторонам административной деятельности. Поэтому я не отказал себе в удовольствии поддеть Корженко, когда в приемной, где мы сидели, я обнаружил на столе оставленный управляющим делами толстый бухгалтерский гроссбух. Когда Корженко вбежал в приемную, я вручил ему книгу со словами, пародировавшими его собственные замечания: «Так нельзя поступать с серьезными документами». Корженко взглянул на меня не с раздражением, а скорее с испугом и недоумением. Он-то уже хорошо понимал, что и я и он скоро, вообще, будем лишены возможности держать в руках серьезные документы.

Когда через полгода мне предъявили «дело» с показаниями против меня, я был убежден, что найду там какие-нибудь заявления Корженко о моем мнимом «небрежении к бдительности». Но Корженко не давал против меня показаний и, видимо, не подавал на меня письменных жалоб до нашего ареста. Он оказался более серьезным и порядочным человеком, нежели я предполагал. А может быть его сразу расстреляли . . .

Самый гроссбух, неосторожно забытый управляющим делами, был прелюбопытным документом. Как я за-

метил, он содержал перечень фамилий ответственных работников НКИД с самыми краткими анкетными данными и основными «порочащими сведениями». Моей фамилии я там не успел отыскать.

Не знаю, объясняется ли это чертами моего характера, или в самом деле еще не прошло действие напитков, которыми меня потчевали на дипломатическом обеде, но я был настроен именно так, как бывает настроен человек, который, выпив вина, готовится принять участие в интересном приключении. Но, конечно, я отнюдь не был склонен к шуткам, когда, войдя в большой кабинет наркома, я оказался перед столом, за длинной стороной которого восседали: в середине Молотов, справа от него начальник ИНО НКВД, пресловутый Деканозов, назначенный Заместителем наркома иностранных дел, слева от Молотова сидели Берия и Маленков. По правую сторону от Молотова, но значительно дальше Деканозова, у самого торца стола сидел М. М. Литвинов.

Когда я оказался лицом к лицу с правительственной комиссией в таком составе, мне окончательно стало ясно, что комиссия прибыла в наркомат в связи со сменой руководства НКИД. Я, конечно, не был в состоянии тут же на месте оценить смысл происходящих событий и их возможные последствия. Правда, я и не намерен был, узнав об отставке М. М. Литвинова, менять линию своего поведения и держаться при встрече с комиссией ЦК иначе, чем я первоначально предполагал.

Мне было предложено рассказать о работе моего отдела. Такой вопрос, очевидно, задавался каждому заведующему отделом. Я говорил довольно подробно, старался поставить все те вопросы, разрешение которых я считал назревшим. У меня в памяти остались только проблемы, которые вызвали реакцию присутствовавших, вернее Берии. Насколько я помню, при этой встрече Молотов был молчалив и все время что-то записывал. Я запомнил его реплики при второй встрече в тот же вечер. Максим Максимович слушал, сидя в полоборота и только один раз метнул в мою сторону взгляд,

когда я, объясняя по какому кругу проблем я получал указания лично от наркома, сказал, что директивы порою бывали очень краткими, но мне кажется, я их правильно понимал и поступал соответственно. Когда я заканчивал эту фразу, Максим Максимович уже снова опустил голову. Видимо, ему сначала показалось, что я хочу сказать что-то, направленное против него и его руководства, но он быстро понял, что я вовсе не имею таких намерений. Нет сомнений, что все мои предшественники (кажется, я был последним), учитывая конъюнктуру, в своих докладах комиссии ЦК, сделали не мало выпадов против М. М. Литвинова.

Деканозов слушал молча, со специфическим глупо равнодушным и скучно угрожающим видом. В нем было какое-то мало почтенное сочетание мелкого торговца, подражающего в манерах крупным коммерсантам, и мелкого полицейского, подражающего жандармскому полковнику.

Маленков, тогда еще молодой государственный деятель, не произнес ни слова, но по мере того, как я говорил, его лицо приобретало удивленное, чуть смешливое выражение; он казалось бы думал: «Какие, однако, еще бывают чудаки в государственном аппарате».

Когда я характеризовал иностранных корреспондентов, Берия, поблескивая стеклами пенсне, воскликнул, как мне сначала показалось, раздраженно, а в действительности угрожающе: «Об этом мы с вами еще поговорим!» Я развивал свою излюбленную мысль, что у нас плохо поставлена и не организована контр-пропаганда и даже простая пропаганда за-границей наших достижений, и что иностранные журналисты, писатели и ученые лишены возможности получать те сведения о наших успехах, в распространении которых мы заинтересованы. В качестве одной из иллюстраций я упомянул о том, что иностранные корреспонденты приходили в Отдел печати за сведениями, относящимися к области обычной экономической статистики. Берия меня вновь атаковал: «Так вы и этим занимались!» На

сей раз «тональность» реплики была совершенно ясна; мысленно выпятив грудь, я отвечал, что раз партия меня поставила на данный пост, я должен исполнять все выпадающие на мою долю обязанности, и смысл моего доклада как раз заключается в констатации ненормальности положения, сложившегося в области информации для заграницы о наших успехах.

Не могу не нарушить последовательность изложения, но читателям будет ясней описываемая ситуация, если я скажу, что 2-го мая 1939 г., вечером, Берия уже располагал чудовищными «показаниями» против меня, которые, вероятно, он же лично накануне добыл с помощью пыток от человека, арестованного в ночь на 1-ое мая. Об аресте этого товарища — Е. В. Гиршфельда, с которым у меня не было тесных личных отношений, я слышал, а фантастические показания несчастной жертвы Берии я прочел уже после того как сам был подвергнут пыткам.

Самая острая проблема, поднятая мною в докладе комиссии ЦК, ранее еще не была затронута в моих докладных записках. Я счел, что, получив возможность выступать перед комиссией ЦК, я должен договорить все до конца. Я высказал и мотивировал мысль, что цензура телеграмм иностранных корреспондентов не имеет смысла и практического значения, более того, она вредна. Благодаря прогрессу в технике связи и постоянному контакту с дипмиссиями, иностранные корреспонденты имеют возможность самыми различными путями посылать свою информацию помимо цензуры. Зато, обращаясь в цензуру и составляя в соответствии со своими намерениями телеграммы, они на основании того, что цензор вычеркивает, что он пропускает и что вставляет, могли проверить свою информацию или получить сведения, которые мы в данный момент не стали бы им давать. Я предложил отменить цензуру.

Мне претила цензура, но нетрудно заметить, что моя мотивировка перед комиссией была строго прагматичной и не содержала никаких «либеральных мыслей»,

конечно, с точки зрения здравого смысла, но не с точки зрения тупых бюрократов.

Молотов уже ранее свое внутреннее возбуждение и странную растерянность прикрывал надменно недружелюбной гримасой. Когда я высказал «крамольные» мысли о цензуре, он придал своему лицу еще более недовольное выражение, одновременно делая пометки на бумаге. А Маленков тогда, очевидно, и взглянул с усмешкой и изумлением, между тем как Берия, видимо, выразил общие чувства членов комиссии, воскликнув с искренним возмущением: «Вы говорите вещи, которые не решится сказать даже член Политбюро!». Этот своеобразный комплимент я запомнил на всю жизнь.

Хотя я рассказываю о беседе, происходившей более 20-ти лет назад и я мог многое забыть, все же я уверен, что главное излагаю точно, по простой причине: в течение двухлетнего пребывания в тюрьме под следствием я многократно восстанавливал в памяти встречу с комиссией ЦК, запомнил беседу наизусть, ожидая, что меня будут о ней спрашивать. Этого не случилось. Я записал эту беседу впервые в своей тетради 5 ноября 1962 г.

Когда я вернулся в Отдел печати, мне стало известно, что дежурного цензора атакуют иностранные корреспонденты с сенсационными телеграммами об отставке Наркома иностранных дел СССР. Некоторые из корреспондентов добивались, чтобы я их принял. Я решил этого не делать, хотя обычно в дни больших событий всегда беседовал с наиболее видными журналистами и помогал цензорам. Однако, вместе с тем, я считал, что не должен вовсе прятаться от корреспондентов именно в этот вечер. Это дало бы повод для предположений, которые я считал нежелательными. При отсутствии каких-либо директив, цензор не пропустил бы ни одной телеграммы с комментариями по поводу отставки Литвинова, а это — полагал я, — имело бы вредные последствия; мировая печать сразу же подняла бы шум, заговорила бы «о растерянности в Москве» и даже о

кризисе. Моим служебным долгом было предотвратить подобную ситуацию.

Посоветоваться в тот вечер было не с кем: Литвинов — сдавал дела, а Молотов их еще только принимал; замнаркома Потемкина в Москве не было. Между тем нельзя было терять времени, корреспонденты, конечно, уже связались с мировыми столицами, а дипломатические миссии уже составляли шифровки.

Так своеобразно сложилась ситуация поздно вечером 2 мая 1939 года: от того как поведет себя лицо, не имевшее непосредственного влияния на государственные дела, проявит ли ближайший сотрудник снятого с поста Литвинова растерянность зависело, будет ли утверждать мировая печать, что в день отставки Литвинова Москва проявила растерянность. Как всегда я не хотел, чтобы происходящие события вызвали неблагоприятный для советского государства отклик за границей, и решил действовать на собственный страх и риск.

Все же, я выбрал форму наименее меня обязывающую. В пальто и шляпе я зашел в помещение цензуры, находившееся в первом этаже, с входом прямо с улицы. Обступившие стол взволнованного цензора взбудораженные корреспонденты сразу меня забросали вопросами. Я предупредил, что не имею никаких полномочий комментировать отставку Литвинова, и зашел лишь для того, чтобы помочь цензору и облегчить отправку информации. Тем не менее, мне задавались вопросы и я на них отвечал, каждый раз оговариваясь, что выражаю свое личное мнение. Корреспонденты не были назойливы и удовлетворились ответами на несколько вопросов, суть которых, сколько я помню, свелась к двум.

Один вопрос имел, конечно, кардинальное значение: «Означает ли отставка Литвинова изменение внешней политики СССР?» Я ответил, что в СССР политику определяют не отдельные наркомы, а ЦК и высшее руководство партии, поэтому смена лиц сама по себе у нас не означает перемены политики. Это был в принципе правильный ответ и подобного рода разъясне-

ния, вероятно, не раз давали наши дипломаты. (Исключением из правила явилось то, что Г. А. Астахов, поверенный в делах в Берлине, как теперь стало известно из опубликованных за рубежом архивных документов, уже 2 мая — очевидно по директиве, — осторожно выяснял, как отнесется гитлеровская дипломатия к последствиям снятия Литвинова с поста наркома и к новым перспективам советско-германских отношений. Но тайные маневры по подготовке сговора с гитлеровской Германией — особая тема, освещением которой я не стану здесь осложнять мое повествование).

Перечитывая уже в эти годы собрание документов советской внешней политики, я обнаружил, что М. М. Литвинов в 1931 году в официальном интервью после назначения его наркомом ответил на вопрос, повлияет ли смена наркома на внешнюю политику, почти совершенно в таких же выражениях, в каких я отвечал после его снятия в 1939 году. Но, давая свой ответ, я абсолютно забыл о давнем интервью Литвинова.

Мой ответ был правильным и с тактической точки зрения, если иметь в виду точку зрения правительства, которую я считал своим долгом отразить. Действительно, хотя Сталин в те дни и задумал совершить поворот в советской внешней политике, но в тот момент ему не нужно было открыто демонстрировать свои намерения; новые переговоры с Англией и Францией еще только предстояли, а непосредственный контакт с Гитлером еще не наладился. То, что я интуитивно правильно понял ситуацию, подтверждается тем фактом, что в телеграмме, разосланной несколько позднее некоторым послам за подписью Сталина (это была одна из последних правительственных директив, с которой я по должности мог познакомиться), было указано, что снятие Литвинова не означает изменения политики и обусловлено, главным образом, его разногласиями с Молотовым по вопросу о кадрах. (Привожу содержание, конечно, по памяти). Хитрая телеграмма Сталина, таким образом, содержала косвенное указание на то, что приход Мо-

лотова к руководству НКИД СССР связан с планом окончательного уничтожения старых кадров, в чем Литвинов не желал участвовать. Хотя Сталин хотел скрыть то, что снятие Литвинова с поста наркома и уничтожение дипломатических работников, активно проводивших антифашистскую политику, является подготовкой сговора с Гитлером, иностранные дипломаты это понимали, а гитлеровское посольство в Москве уже давно, примерно с осени 1938 года, связывало расчеты на перемену внешнеполитического курса с надеждами на устранение М. М. Литвинова и его ближайших сотрудников.

Возвращаюсь к моей беседе с иностранными журналистами 2 мая 1939 года. Второй вопрос, заданный ими, от ответа на который я не мог уклониться, был несколько бестактным. Они спрашивали, является ли Молотов знатоком международной политики и знает ли он иностранные языки. Я ответил, что Молотов — крупнейший государственный деятель и, естественно, он знаток всех важнейших проблем, в том числе и внешней политики.

Завизировав телеграммы, я поднялся обратно в Отдел печати и тут же продиктовал точный отчет о содержании телеграмм иностранных корреспондентов, их вопросов и моих ответов. Я переслал мою справку через дежурного в кабинет, где еще заседала комиссия ЦК.

Из последующего читатель поймет, почему я так подробно изложил обстоятельства моей встречи с корреспондентами.

Через несколько минут после передачи моей справки, меня вызвали в кабинет комиссии ЦК. М. М. Литвинова уже не было в кабинете. Члены комиссии, очевидно, только что оживленно и шумно беседовали между собой и замолчали при моем появлении. Берия глядел на меня в упор сквозь стекла пенснэ, еще более недружелюбно и даже с некоторым злорадством. Тогда я не подозревал, но теперь понимаю, что он уже мысленно видел меня распростертым на полу его кабинета.

Молотов стоял у стола явно взволнованный. Если бы иностранные корреспонденты его видели в эту минуту, они все же сообщили бы в своих телеграммах, что «Москва растерялась». Потрясая моей справкой, Молотов яростно обрушился на меня. Он выражался непристойно (эти прелестные обороты я хорошо запомнил), а смысл его речи сводился к тому, что он выступает в роли Геркулеса в Авгиевых конюшнях (если бы он так сформулировал свою мысль!). «Мы не нуждаемся в ваших рекомендациях», кричал Молотов. Кажется, тогда же, а может быть при первой встрече, он произнес фразу, которую я запомнил, очевидно потому, что все же был польщен: «Вы не гений, но человек умный, и должны были бы понимать...» Ни слова не было сказано по существу, о том, что не надо было даже косвенно опровергать предположение о предстоящей перемене внешней политики. Не могу сказать, что вся эта тирада и ругань были ясным выговором именно за то, что я встретился с корреспондентами. Может быть, и так. Но, вероятно, из моей справки все же было видно, что я не мог избежать этой встречи. К тому же весь этот эпизод как бы служил подтверждением правильности того, что я часом раньше говорил о вредности цензуры.

Сцена, разыгравшаяся в кабинете комиссии ЦК, конечно произвела на меня сильное впечатление. Я не мог тогда сохранить уверенность в том, что действительно не совершил ошибки и, во всяком случае, понял, что сразу «впал в немилость». Я допускал, что меня снимут с работы, не в наказание, а просто по той причине, что заведующий Отделом печати должен быть доверенным и близким сотрудником руководителя внешней политики. Любопытное событие, происшедшее через несколько дней, несколько рассеяло мои опасания. Об этом я буду говорить в следующей главе.

Но 2-го мая, как и в последующие дни, я не предполагал, что моя встреча, по долгу службы, с иностранными корреспондентами в помещении цензуры, явится

поводом для легенды, будто я дал интервью с определенной политической тенденцией и будто это интервью послужило причиной моего ареста. Только вернувшись в Москву через 17 лет, я узнал, что одной из причин для распространения такого апокрифа явилось то обстоятельство, что в закрытом бюллетене ТАСС было дано сознательно извращенное, порочащее меня изложение в действительности корректных сообщений иностранных корреспондентов. Руководителем ТАСС в ту пору был человек, близкий к Маленкову — Х-н. Сам же я о своем якобы сенсационном политическом интервью и его мнимом значении впервые услышал в тюрьме от журналиста, в конце 1939 года оказавшегося в одной камере со мной. Через несколько лет, при свидании в лагере, жена осторожно спросила меня, давал ли я какое-либо спорное интервью и рассказала о слухах, широко распространившихся в Москве. Так, например, адвокат сказал жене, будто я заявил иностранным корреспондентам, что Молотов не знает английского языка, а «этого не надо было делать».

Вечером 2-го мая 1939 г. я не предвидел дальнейших трагических событий в моей жизни, но, конечно, когда я ночью вышел из здания НКИД, уже погруженного во мрак, настроение у меня было неспокойное. Передо мной высился «большой дом на Лубянке», окна которого попрежнему горели огнями. В НКВД попрежнему кипела работа. Только я перешел улицу, как мимо меня промчалось несколько тяжелых черных лимузинов. Члены комиссии ЦК, их сотрудники и их телохранители разъезжались по домам. Впервые колонна правительственных машин, в составе которой порой двигалась и моя машина, была мною воспринята как опасная и враждебная мне непреодолимая сила. Вспоминая в тюрьме это ощущение, я подумал о колеснице Джаггернаута, давившей толпы верующих в Индии. Но в ночь с 2-го на 3-е мая 1939 г. я еще не знал, что «брамины» решили бросить меня под колесницу моего божества.

ГЛАВА II

КАНУН АРЕСТА И АРЕСТ

Мне хотелось бы прокомментировать то, что я рассказал в предыдущей главе. Но это окажется более уместным и естественным, когда я перейду к рассказу о моих размышлениях в тюрьме. Здесь же я постараюсь излагать только факты.

Впрочем, фактов в обычном смысле этого слова, собственно, осталось уже немного, если говорить о моей первой жизни, предшествовавшей аресту. Эта жизнь уже подходила к концу. Ее ритм был нарушен. Порой я как бы действовал в пустоте, порой я снова ощущал себя источником и воспреемником энергии.

В первые дни после смены наркома, ко мне часто обращались люди по служебным делам, прощупывая, не является ли деловой контакт со мной еще более ценным, чем прежде; ведь теперь НКИД возглавлял второй человек в стране . . . На пару дней я оказался в центре сенсационных происшествий. Потом вокруг меня окончательно образовался вакуум.

Не обошлось без курьезов. Работники ВОКС'а, несколько дней подряд добивались, чтобы я встретился с одним американским социологом. Я забыл его фамилию, это был тот профессор, который, побеседовав со мной в Берлине, счел, что я наилучшим образом анализировал положение в фашистской Германии. Теперь он стремился при встрече со мной получить содержательную и притом полуофициальную характеристику советской политики. Я уклонился от этой встречи, справедливо полагая, что на сей раз кто-нибудь другой должен позаботиться о том, чтобы иностранный гость вынес благоприятное впечатление от пребывания в Москве. Но, кажется, тогда никто об этом не поза-

ботился.

Ко мне явился французский леворадикального толка редактор и издатель Вожель. Он прибыл на майские праздники с рекомендательным письмом к М. М. Литвинову, и спросил меня полушутя, полусерьезно, нельзя ли это письмо вручить новому наркому, Молотову? Я нашел, что это было бы некорректно. Вожель тотчас же обратил разговор в шутку. Его, кажется, действительно забавляла сложившаяся ситуация. Меня она уже не забавляла.

Через два дня после моего доклада комиссии ЦК, я проводил какое-то совещание со своими референтами в обстановке довольно мрачной, потому что мои молодые сотрудники считали меня полутрупом или затравленным зверем, на которого они наконец набросятся по первому сигналу. Внезапно зазвонил прямой правительственный телефон и присутствовавшие были ошарашены, поняв, что со мной беседует сам Молотов и притом благожелательно. Действительно, Молотов, назвав меня по имени и отчеству, сказал, примерно, так: «Мы здесь решили принять ваше предложение и отменить цензуру. Ну что, вы довольны?» В трубку доносились голоса беседующих людей и я подумал, что Молотов говорит из кабинета самого Сталина. «Мы здесь решили . . .» Я был действительно доволен.

Мое предположение было правильным. Только лично Сталин мог одобрить такое предложение, которое, по свидетельству Берии, не решился бы высказать даже член Политбюро.

Молотов продиктовал мне по телефону заявление, которое я должен был сделать иностранным корреспондентам. Разумеется, надо было дать понять, что сенсационное мероприятие проводится по личному распоряжению нового наркома иностранных дел и что это одно из его первых распоряжений.

Собравшиеся в моем кабинете в полном составе иностранные корреспонденты были готовы услышать любую новость, но отнюдь не сообщение об отмене цензу-

ры. Вопросы удивленных журналистов касались лишь нового порядка подачи телеграмм и ответственности корреспондентов. Только Генри Шапиро (тогда корреспондент агентства Рейтер) спросил, отменяется ли также цензура в отношении советских газет. Насколько помню, я ответил, что мои полномочия относятся только к деятельности иностранных корреспондентов.

Снова я составил отчет о своей беседе с корреспондентами, на этот раз опасаясь, как бы я снова не вызвал недовольства. Я уже стал терять интуитивное понимание того, что верно и что неверно. Но на сей раз все обошлось благополучно.

Отмена цензуры, проведенная в мае 1939 г. впервые за все время существования советского государства, была недолговечным мероприятием. Через несколько месяцев, кажется, сразу после начала войны в Европе, цензура была восстановлена. В 1961 году цензура телеграмм иностранных корреспондентов была отменена, но видимо никто не вспомнил, что такое мероприятие уже было однажды осуществлено накануне второй мировой войны.

После того, как я встретился с иностранными корреспондентами, я передал Молотову через секретаря проект шифрованных телеграмм нашим послам с информацией об отмене цензуры и с некоторыми разъяснениями. Молотов меня пригласил в кабинет и как ни в чем не бывало поздоровался за руку. (Меня поразило, что у такого жесткого политика столь вялое рукопожатие слабохарактерного человека). Телеграммы были подписаны без малейших поправок. Нарком беседовал со мной, соблюдая дистанцию, но приветливо. Мне показалось, что скверный сон миновал, возобновляется нормальная деятельность. Но страшный сон лишь начинался.

Стало известно, что арестован Назаров, личный секретарь М. М. Литвинова, очень хороший, дельный, скромный молодой человек. Через несколько дней после 2-го мая мне позвонил из дому по правительственному теле-

фону М. М. Литвинов. Не помню, какой вопрос он мне задал, я же рассказал ему о том, что бывший его секретарь не является на работу, «исчез». Это был мой единственный разговор с Максимом Максимовичем после его отставки, последний наш разговор, последнее проявление его личного доверия ко мне при отсутствии каких бы то ни было личных отношений.

Я испытывал некоторое, вполне понятное беспокойство, когда думал о том, что несомненно был зафиксирован мой разговор по внутрикремлевскому аппарату с М. М. Литвиновым, уже после его отставки. О том, что наш разговор попадет на пленку и станет известен «высшему руководству», я помнил и тогда, когда разговаривал с Максимом Максимовичем. Но мое представление об элементарной порядочности, уважение к М. М. Литвинову, да и чувство собственного достоинства побуждали меня, не колеблясь, ему сообщить по телефону, что арестован его личный секретарь.

Когда в тот же день ко мне зашел Б. Е. Штейн, я рассказал ему о звонке М. М. Литвинова и о содержании нашего разговора. Борис Ефимович был озабочен, пожалуй, больше чем я, и посоветовал мне опередить возможные расспросы начальства, и самому при ближайшем служебном разговоре с Деканозовым или Молотовым, сказать, что у меня был телефонный разговор с М. М. Литвиновым, конечно, не вдаваясь в подробности. Я так и поступил, Деканозов выслушал мои слова с подчеркнутым безразличием.

Этот эпизод не имел никаких последствий, хотя бы уж потому, что судьбы людей решались независимо от их поведения. Мы поступали в согласии с моральными принципами и человеческим достоинством, даже если это было сопряжено с риском, но одновременно — как в описываемом эпизоде, — чувствуя, что ставим себя под удар, старались «проявить лойяльность» по отношению к руководству, по-прежнему не совершая подлостей. Между тем подобные наивные маневры порядочных людей им помочь не могли, а совершать их не следо-

вало, хотя бы из чувства самоуважения.

Вскоре Деканозов сказал мне, что мой заместитель будет снят с работы. Конечно, мне оставалось только принять к сведению это сообщение нового начальства. Однако, указав на положительные качества Г. Н. Шмидта, я просил дать мне в помощники работника, обладающего подобными же достоинствами, в частности, административными способностями. «Я плохой администратор» — добавил я, потому что никогда не хотел заниматься административной деятельностью. Деканозов ответствовал: «Не знаю, какой вы администратор, но я слыхал, что организатор вы хороший». Знакомясь в тюрьме со справкой о моей мнимой «преступной деятельности», которую, быть может, сочинял именно Деканозов, я мог догадаться, что говоря мне о том, какой я хороший организатор, Деканозов, по его мнению, проницательно и «тонко» намекал мне, будто знает о моей «причастности к антисоветской организации». Зачем этот злой человек делал такие намеки — трудно объяснить. То ли, стремясь запугать, то ли из тщеславия? Психология этих ничтожных злодеев непонятна нормальным людям.

Из этого разговора с Деканозовым я сделал вывод просто смехотворный в свете последующих событий. Я сказал жене, что видимо скоро вернусь на прежнюю журналистскую работу. Новое руководство пожелает заменить меня своим человеком и меня отпустят обратно в журналистику, «как только я подготовлю себе смену». Я рассказываю об этом проявлении наивности, как и о многом другом, чтобы осветить психологию людей, ставших жертвами репрессии, а, следовательно, облегчить и понимание самого механизма репрессий. Я заметил, между прочим, что встречающиеся в мемуарах И. Г. Эренбурга упоминания о наивности, проявленной, казалось бы, трезво мыслящими и осведомленными людьми, вызывает совершенно напрасное недоверие у современных читателей.

Еще через несколько дней мне рассказали, что Мо-

лотов, совершая обход наркомата, оказавшись у дверей Отдела печати, прошел мимо в другой отдел. Это было признано знаменательным сигналом. Вакуум вокруг меня замкнулся. Как-то забежал заведующий Правовым отделом М. А. Плоткин и рассказал, что Молотов пробыл у него довольно долго и выслушал доклад о работе Правового отдела. В разговоре со мной, с заведующим отделом, к которому Молотов не зашел, М. А. Плоткин надеялся убедиться, что Молотов к нему лично проявил благосклонность. Бедный Марк Абрамович не знал, что «благоволение» отсрочит его арест на несколько недель.

(Как мне теперь рассказала жена, на утро после той ночи, когда несчастного Плоткина арестовали, Молотов велел своему секретарю вызвать Плоткина из дому и выражал недовольство по поводу его отсутствия. Отвечая на повторный телефонный звонок, жена Плоткина воскликнула: «Спросите у своего наркома, где сейчас Плоткин!» Возможно, что бывали случаи несогласованности между организаторами уничтожения честных людей).

Вернувшись после реабилитации в Москву, я узнал от Б. Е. Штейна, что, сдавая дела Молотову в мае 1939 года, М. М. Литвинов назвал Плоткина и меня в числе самых способных работников центрального аппарата НКИД СССР. Услыхав о моем аресте, Максим Максимович не только огорчился, но и винил себя; по словам Б. Е. Штейна, он полагал, что, отозвавшись обо мне похвально, он вызвал этим недоброжелательное отношение ко мне Молотова и тот решил от меня избавиться, ускорив мой арест. В действительности сыграли роль и иные мотивы. Во всяком случае, рассказ Б. Е. Штейна о реакции М. М. Литвинова на мой арест позволяет утверждать, что не только некоторые романтики или плохо осведомленные люди, но и такой трезвейший и точно мыслящий человек как М. М. Литвинов все же не всегда ясно представлял себе психологию злодеев и механику избиения кадров в сталинские времена.

8-го или 9-го мая ко мне зашел член партбюро Солод, позднее наш малоудачливый посол в странах Ближнего и Среднего Востока. Он с нескрываемым раздражением и удивительно неуклюже, без всякой правдоподобной мотивировки, которую нетрудно было бы подобрать, зазывал меня на заседание партбюро. Мне было ясно, что члены партбюро хотят меня застать врасплох и в новых условиях сделать то, что им ранее не удавалось: предъявить мне клеветнические обвинения и исключить из партии.

10-го мая 1939 г. Деканозов попросил меня явиться к нему в 10 часов вечера. Днем я зашел к секретарю наркома (там почему-то не было ни души) и попросил выяснить, какова резолюция наркома по какой-то моей записке. Секретарь, вернувшись от Молотова, с нескрываемым удивлением, сообщил, что нарком хочет меня видеть. В маленьком кабинете, где меня раньше принимал Литвинов, стоял позади письменного стола у стены Молотов, заложив руки за спину. На этот раз рукопожатия были отменены. Он глядел на меня внимательно и, как мне показалось, с непонятным любопытством. Задав несколько вопросов по служебным делам, он задумчиво повторил вслух один из моих ответов, как бы приглядываясь ко мне. После того, как я упомянул, что вечером буду с докладом у его заместителя, Молотов меня отпустил.

В начале вечера я отправился на Центральный телеграф. В самых недрах этого правительственного учреждения, в зале, где, как мне помнится, на возвышении сидел человек в наушниках, видимо контролируя какую-то радиопередачу или линию связи, я в уголке, за маленьким столиком, просматривал принесенные мне телеграфные бланки с сообщениями иностранных корреспондентов, которые теперь, в результате моей собственной инициативы, давали информацию помимо Отдела печати. Вдруг в это помещение, где соблюдалась полная тишина, запыхавшись вошли три человека. «Ах, вы здесь!» — бессмысленно воскликнул один из них.

Он тут же снял телефонную трубку, позвонил Деканозову и доложил: «Гнедин здесь на телеграфе», и передал мне трубку. Деканозов выразил удивление, что я к нему не явился. Я сослался на то, что еще нет 10-ти часов и сказал, что немедленно приеду. Деканозов добавил явно не кстати: «А речь Чемберлена, о которой вы говорили, я получил». Мелкий полицейский, изображавший жандармского полковника, снова оказался «на высоте» своих задач: упомянув о служебном деле, он как бы «искусно рассеял беспокойство», которое мог испытывать «преступник накануне ареста» . . .

Я направился к выходу, сопровождаемый тремя субъектами. Пока я говорил по телефону эти «подоспевшие сотрудники» нетерпеливо переминались с ноги на ногу, а теперь, с трудом прикрывая назойливость деланной любезностью, они предложили мне поехать в их машине. Я ответил, что меня ждет моя машина.

Из подъезда я вышел одновременно с несколькими хорошенькими девушками — хористками или актрисами радиовещания. «Подвезите нас!» кокетливо крикнула одна из них. «В другой раз», обещал я за час до моего ареста. Девушки весело рассмеялись. Мне тоже стало весело.

Был настоящий майский вечер, вечер надежд и обещаний. На улицах было оживленно. Сидя в быстро мчавшейся машине, я глядел на Москву и мне было хорошо. Я был готов к тому, что меня ждут какие-то важные и, возможно, неприятные впечатления, но жить было интересно, и я радовался этому. Мой органический оптимизм на этот раз обманывал меня, а вернее спасал.

В здании НКИД в тот вечер было темно, тихо, но не вовсе пусто. Обычная жизнь замерла, но какие-то едва уловимые признаки свидетельствовали о том, что в доме неспокойно. Навстречу по лестнице спускался явно озабоченный заведующий Финансовым отделом НКИД, рядом с ним шел незнакомый человек. Трудно было догадаться, что я встретил арестованного работника НКИД, которого агент НКВД сопровождал в тюрьму.

Я прошел к себе и спросил дежурную, где мой заместитель. «Он наверху», необычно угрюмо ответила девушка. «Вероятно, внизу» — сказал я, имея в виду кабинет Деканозова, находившийся двумя этажами ниже. «Теперь уже все равно, внизу или наверху» — последовал загадочный ответ.

Эта интеллигентная молодая женщина не была приставлена ко мне. Я сам ее взял на работу по чьей-то добросовестной рекомендации. Тем не менее, она не решилась сообщить мне, что мой заместитель только что арестован в своем кабинете. Я же не догадался, и это не следует истолковывать как еще один признак моей странной слепоты. Даже более циничные и лучше осведомленные люди, чем я, не предполагали, что Молотов и Деканозов просто-на-просто ночью соберут дипломатических работников в Наркоминдел, как в пересыльный пункт для переотправки арестованных в тюрьму.

У меня не было времени размышлять над поведением дежурной секретарши. Я торопился пройти «вниз» к Замнаркому. И здесь, в секретариате, было темно, горела только настольная лампа секретаря, было тихо и обманчиво пусто. Когда-то здесь работал замнаркоминдела В. С. Стомоняков, человек со слабым здоровьем, но энтузиаст и неутомимый труженик. Мне приходилось поздно вечером бывать у него, жизнь тогда бурлила.

Но в тот вечер Бориса Спиридоновича уже не было в живых. Как мне через много лет стало известно, он покушался на самоубийство в день ареста и умер в тюремной больнице.

Незнакомый мне дежурный секретарь подтвердил, что заместитель наркома иностранных дел меня ждет. Я отворил знакомую дверь. На пороге передо мной встал неизвестный в штатском, направляя мне прямо в грудь револьвер. «Вы арестованы» — сказал он и быстрыми профессиональными движениями свободной руки похлопал по карманам моего пиджака и брюк. Впервые я испытал, что практически значит «потемнело в глазах». Я сделал несколько шагов вглубь комнаты. За

большим столом Бориса Спиридоновича Стомонякова восседал Деканозов все с тем же глупо равнодушным и скучно угрожающим лицом. Неожиданно для самого себя я сказал, отстраняя агента: «Нельзя ли без такой лихорадочной нервозности?!». Деканозов потребовал от меня ключи от сейфа в моем кабинете (этот сейф, как правило, был пуст). Я стал бросать на стол нового замнаркома иностранных дел все, что было в карманах: бумажник, ключи, кошелек, листки с заметками, которые я делал при чтении телеграмм. Бумажки Деканозов поспешно схватил, коробку с папиросами вернул; кажется, я кинул ее обратно на стол.

Засим Деканозов дал мне чистый конверт и предложил написать на нем мой адрес. В этот конверт он вложил ключи от моей квартиры. Позднее жена мне рассказывала, как, увидев в руках агента, явившегося с обыском, конверт, надписанный моей рукой, она рванулась к нему, воскликнув: «Мне записка! Дайте!» Тот невозмутимо вынул из конверта ключи и показал пустой конверт: «Записки нет». Но конверт жена сохранила до настоящего времени.

От Деканозова, в сопровождении уже успокоившегося агента, понявшего, что сопротивления я не окажу, я отправился в свой кабинет, взял плащ и уходя, сказал секретарше: «Сегодня я уже не приду». Она опустила голову, стараясь скрыть слезы. Из дверей одной из комнат выглянул сотрудник отдела печати Ярошевский, которому собственно незачем было здесь находиться в этот час.

Совершенно так же, как встретившийся мне на лестнице заведующий Финансовым отделом, я свободной походкой делового человека, вместе с сопровождающим, вышел на улицу. Напротив, как всегда, сияли окна «большого дома на Лубянке». Там, как всегда, кипела работа. Мы пересекли улицу, и пройдя по переулку, свернули по направлению к площади Дзержинского в узкую Малую Лубянку. (Теперь там широкий проезд). Мы остановились у небольшой, малозаметной двери в

здании НКВД, на которую я никогда не обращал внимания. У входа агент спросил скороговоркой: «Машина, дача есть?» «Какая там дача», отозвался я. Тут я подумал, что он отправится делать обыск у меня дома. «Вы увидите мою жену?» спросил я, и добавил с той четкостью, с которой пьяный, будучи убежден, что он совершенно трезв, произносит нелепые фразы: «Скажите ей, что я был ликом светел». Неловко вспоминать об этой декламации, но это правда, я так сказал. Видимо, при мысли о жене и дочери, я на мгновение стал невменяем.

Прямо с улицы мы зашли в небольшое помещение, напоминавшее экспедицию по сдаче и приеме почты. Но здесь принимали не пакеты, а людей при пакетах. Получив расписку, агент удалился. Он сдал меня на тюремный конвейер. Моя первая жизнь кончилась.

ГЛАВА III

ПЫТКИ

Переживания советского гражданина, попавшего в сталинскую эпоху сразу после ареста в здание НКВД СССР, можно сопоставить с низвержением в ад, но надо при этом в традиционную картину ада внести поправку. Грешники, осужденные церковью, знали, что они — грешники и готовились покаянно принять муки за свои грехи. Но каково было бы праведнику, предполагавшему, что его место в раю, очутиться в «геенне огненной»? От подобного «страха и ужаса» веет апокалипсисом.

Многим арестованным невинным людям, приведенным во Внутреннюю тюрьму НКВД СССР, действительно казалось, что наступил «конец мира». О том, какое впечатление на свежего человека производили — и должны были производить по замыслу оберпалачей — манипуляции, которым подвергался арестованный, можно судить по такому случаю: молодой полковник после того, как с ним проделали все «формальности» в комендатуре Внутренней тюрьмы, явился в камеру бледный и дрожащий, так как не сомневался вплоть до того, как переступил порог тюремной камеры, что его решили сразу без суда и следствия расстрелять. Эта история в соответствии с камерными правами рассказывалась как забавный анекдот[1].

Перехожу к рассказу о моих первых шагах в тюрьме. После того, как меня, раздев до-гола, подвергли такому телесному обыску, как если бы было достоверно известно, что я где-то спрятал бриллианты, после того, как комендант меня научил «играть на рояле» — как выражались в тюрьме — то есть держать пальцы надле-

1) Написано до ознакомления с книгой А. И. Солженицына «В круге первом».

жащим образом, когда с них снимают отпечатки, — я в возвращенной мне после тщательного осмотра одежде зашагал под охраной, как мне казалось, через несколько подвалов. В одном из них находился явно перегруженный работой и усталый фотограф. Меня посадили на стул с высокой спинкой, повесив на грудь бирку с номером. Фотоаппарат стоял на треножке, фотограф скрылся под черной тканью, накинутой на аппарат, и я невольно вспомнил, как меня фотографировали в раннем детстве; только на этот раз фотограф не обещал мне, что из аппарата вылетит птичка...

Я видел снимок в моем деле, на этом фото я был похож на только что пойманного, все еще опасного, хотя и веселого сумасшедшего.

От фотографа меня повели вверх по лестнице и привели — как я позднее узнал — на пятый этаж Внутренней тюрьмы НКВД. То была надстройка над старым зданием. В отличие от нижних этажей надстройка представляла вполне современную, хотя и небольшую тюрьму. В середине высокого помещения без окон находилась лестница, ведшая на галлерею, расположенную вдоль трех стен здания. На галлерею выходили двери камер. И внизу в стенах был ряд дверей с глазками.

Когда я переступил порог тюрьмы, меня поразила какая-то неестественность открывшегося мне зрелища. По плохо освещенному, на первый взгляд пустому, помещению, разхаживали люди в военной форме, но в домашних войлочных туфлях. Господствовала полная, но странная тишина, странная, потому что где-то в самой глуби этой тишины таились чуть уловимые звуки и шорохи, источник которых был незрим. По временам раздавалось звонкое щелканье. Я впервые услышал как щелкают языком или пальцами либо стучат ключем по пряжке пояса охранники, подающие сигнал: «Веду заключенного». Так предотвращалась встреча арестантов. Тот конвоир, который первым дал сигнал, двигался по своему маршруту, другие останавливались за углом или прятали своего подопечного в один из шкафов,

для этой цели устроенных на всех путях прохождения конвоиров.

Меня доставили в камеру, расположенную в нижней части корпуса. Лампа, ввинченная над дверью так, чтобы лучи были направлены вглубь помещения, бросала тусклый свет на довольно узкую камеру с тремя койками; две были заняты, третья меня ожидала. Как только щелкнул запор, мне навстречу поднялись два призрака, два бледных человека в нижнем белье. Первый вопрос: «С воли?», второй вопрос: «Это правда, что издан новый уголовный кодекс?» Так я в первые же минуты моего тюремного заключения услышал вопрос, который потом в течение полутора десятка лет не раз задавался и дебатировался в моем присутствии. Сколь многих людей не оставляла надежда, что беззаконию будет положен конец и при том простым путем, благодаря изданию нового уголовного кодекса...

Я отвечал, что не интересовался этими проблемами, кажется, была какая-то статья в «Известиях» о подготовке кодекса, кроме того, после прихода Берии в НКВД сообщалось о пересмотре ряда дел. «Впрочем, — добавил я не без достоинства, — я не знаю с кем я говорю». На сей раз не агенты палачей, как это было при моем аресте, а жертвы палачей поняли, что имеют дело с простаком. Мои соседи прекратили разговор и улеглись по койкам. Тем временем я стал читать висевшие на стене в рамке «Правила внутреннего распорядка в тюрьмах»... Теленок до последнего мгновения не знает, что его привели на бойню... Слово «тюрьма» меня больно ранило: «Итак, я действительно в тюрьме!» Но привычный охранительный рефлекс направил реакцию по более спокойному руслу: «Я никогда не бывал еще в тюрьме. Это все же интересно». Я стал укладываться на койке, стараясь себя успокоить такой гипотезой: меня поставили в самые худшие, самые тяжелые условия, ошибочно предполагая, что я знаю какие-то такие подробности о работе НКИД до смены руководства, которые я в обычных условиях не расказал бы. Словом,

меня проверяют. Я выдержу испытание и буду освобожден...

Засим произошло нечто неправдоподобное. Я даже не решился бы об этом говорить, если бы не свидетельства других людей. Улегшись на моей первой тюремной койке, я тотчас же крепко заснул.

Примерно часа в три ночи меня разбудил тюремщик: «На допрос, быстро!» Два конвоира, держа меня за обе руки, сведенные вместе на спине, повели вниз по лестнице, затем по тюремному коридору. У решетчатой двери оформили какие-то документы и вывели меня в один из коридоров главного здания. Меня доставили в какую-то канцелярию; там несмотря на поздний час было оживленно, стучала машинка, чиновники говорили по телефону, никто не обратил внимания на появление заспанного и взволнованного человека под охраной. Открыв обитую кожей типичную дверь сановного кабинета, конвоиры ввели меня в большую комнату с завешанными окнами. Меня посадили на стул в середине комнаты.

Передо мной за солидным письменным столом восседал тучный брюнет в мундире комиссара первого ранга — крупная голова, полное лицо человека, любящего поесть и выпить, глаза на выкате, большие волосатые руки и, как я позже заметил, короткие кривые ноги. Таким я запомнил тогдашнего начальника Особой следственной части НКВД СССР Кобулова, который, как и арестовавший меня Деканозов, был расстрелян вместе с Берией в 1953 году.

Кобулов заканчивал разговор по телефону. Заключительная реплика звучала примерно так: «Уже сидит и пишет, да-да, уже пишет, а то как же!» Кобулов весело и самодовольно хохотал. Речь шла, очевидно, о недавно арестованном человеке, дававшем показания.

Обернувшись ко мне, Кобулов придал своему лицу угрожающее выражение. Не отводя глаз, он стал набивать трубку табаком из высокой фирменной коробки «Принц Альберт». Я сам курил трубку и очень ценил

этот превосходный американский табак, который в Москве нельзя было достать.

(Прежде чем приступить к рассказу о первом допросе и последующих этапах следствия, я хочу пояснить, что я стараюсь по возможности не выделять в моем поведении те или иные определенные стороны. Я вижу свою задачу в том, чтобы, рассказывая о следствии и о том, как я фактически держался, вместе с тем рассказать и о том, чего я чуть-чуть не сделал, сказать, что было верным и удачным и что было ошибочным. Так я надеюсь, хотя бы частично достичь той цели, к которой стремлюсь: помочь потомкам разобраться в том, что происходило с людьми в сталинских застенках.

Я рассказываю то, что помню, с субъективным чувством, что это точный рассказ. Ведь я обстоятельства важнейших этапов следствия и допросов сам себе повторял чуть ли не каждый второй день в течение 26 месяцев тюремного заключения, да и позднее не раз, находясь в лагерях и ссылке...)

Сразу после вступительных формально-анкетных вопросов Кобулов провозгласил: «Вы арестованы как шпион...», помнится, он добавил: «крупный шпион». Хорошо запомнил свой ответ: «Кличка «шпион» ко мне не пристанет!» Эта задорная фраза не была чистой импровизацией, так как я уже ранее мысленно готовился к тому, как я в парткоме или другом месте дам отпор клеветническим обвинениям в шпионаже. Ведь на протяжении двух лет мне часто приходилось на собраниях быть свидетелем того, как исключаемым из партии и обреченным на арест сотрудникам НКИД предъявляли обвинение в связях с «шпионами». Да и газеты пестрили такими обвинениями.

В повышенно угрожающем тоне Кобулов заявил мне, что я разоблачен и вскоре буду расстрелян.

Полагая, что он меня запугал в достаточной мере, Кобулов потребовал, чтобы я ему рассказал о моих «связях с врагами народа». Я отверг и это обвинение, но стремясь подтвердить свою невиновность и проде-

монстрировать уверенность в себе, я сделал ошибку (если угодно, глупость), которая могла бы причинить вред и мне и другим людям. Уверенный в своей правоте и в чистоте моих друзей и товарищей я заносчиво заявил, что охотно назову фамилии всех моих арестованных приятелей и сослуживцев. Кобулов с нескрываемым удовольствием схватил авторучку и стал записывать называемые мною фамилии. Иногда я говорил: «Эту фамилию подчеркните, это — мой близкий друг». Кобулов послушно и поспешно подчеркивал. Насколько помню, набралось больше десятка фамилий.

Моя ошибка заключалась в следующем. Во-первых, среди названных мною товарищей мог быть какой-либо вынужденный дать показания против меня (один такой был), таким образом получалось, что я сразу «признал связи» с тем человеком, который в свою очередь уже в специфическом, продиктованном палачами, контексте, говорил о «связях» со мной. Во-вторых — мое чистосердечие было неосторожным и опасным, потому что, если бы кто-нибудь из названных мною арестованных ранее товарищей не давал показаний, или против него не набрали достаточно показаний, — то мое упоминание о нем, хотя бы и в невинной формулировке, могло быть использовано против него.

Сходную ошибку с опасными и весьма трагическими последствиями совершили сотни и сотни несчастных людей. Не в силах выдержать пытки или стремясь их избегнуть, но вместе с тем стараясь не причинять вреда невинным людям, еще не попавшим в лапы палачей, подследственные упоминали в своих показаниях знакомых или сослуживцев, до них и даже давно арестованных. А потом порой оказывалось, что эти лживые, но «свежие» показания давали следователям возможность довести до конца затянувшееся или не вполне удачно «оформленное» дело.

Однако, моя неосторожность не имела последствий. (Слово — к счастью — здесь неуместно). Во-первых, я сумел остаться и в дальнейшем на позиции, занятой

мною с самого начала, и не чернил моих друзей, фамилии которых я продиктовал Кобулову; во-вторых — мои друзья, как я себе представляю, не давали против меня показаний; в-третьих, почти все они уже были уничтожены ко дню моего ареста, чего я, конечно, не знал. Наконец, как стало мне ясно только к концу следствия, основные клеветнические показания против меня были получены именно от таких лиц, которых мне не пришло в голову назвать в числе моих друзей и близких знакомых.

К концу первого допроса Кобулов спросил меня, довольно неуклюже: «Это верно, что вы спали в камере?» Очевидно, за мною было установлено специальное наблюдение. Я ответил, словно извиняясь за допущенную бестактность, что последние дни у меня было много работы и я не высыпался. Кобулов посмотрел на меня внимательно и сказал: «Вы видно все еще не понимаете, что с вами произошло. Ваша прежняя жизнь не возвратится (приблизительно так он сказал). Ее отделяет пропасть от вашей дальнейшей жизни».

Я отметил про себя, что в начале Кобулов мне грозил скорым, чуть ли не немедленным расстрелом, а теперь как бы проговорился, что я еще буду жить.

На рассвете после допроса в камеру вернулся не простак, предполагавший, что он сумеет рассеять подозрительность, проявив честность и откровенность, а человек, окончательно понявший, что ему предстоит защищать свое честное имя и самую жизнь в труднейших условиях.

На этот раз я уже не заснул, тем более, что в шесть часов в тюрьме был подъем.

Одним из соседей по моей первой тюремной камере был пожилой полковник генерального штаба, насколько я понял, офицер царской армии, в начале революции перешедший на сторону советской власти. Он держался с большим достоинством и сдержанностью, пытался скрыть свою тревогу. Когда мы однажды остались вдвоем, полковник постарался дать мне понять, что

надо держаться осторожно с нашим третьим соседом. Этот сосед, как он сам хвастал, был до ареста секретарем или порученцем у какого-то видного работника НКВД. Падение этого деятеля повлекло за собой арест его сотрудников. Бывший порученец не очень унывал, его только обижало, что следователь требует от него признания в том, что он находился в противоестественной связи со своим начальником. Этот мой сосед хорошо знал тюремные порядки. Получение продуктов из лавочки он сравнивал с праздником на воле, когда он обычно сидел на кухне и щелкал орехи.

Не успел я освоиться с тюремным бытом, и собраться с мыслями, как меня примерно в девять утра, то есть часа через четыре после окончания первого ночного допроса, снова вызвали на допрос. На сей раз меня конвоировало три человека. Третьим сопровождающим к моему глубокому удивлению был человек, которого я знал в лицо и считал работником Верховного суда. На открытых показательных процессах он исполнял обязанности судебного чиновника, провозглашал «суд идет», наблюдал за размещением подсудимых и т. п. Человек, приставленный на суде к обреченным на смерть «государственным преступникам», теперь сопровождал меня на допрос . . . Позднее, по ходу тюремной жизни, мне стало известно, что этот работник НКВД, наблюдавший за порядком на публичных судебных заседаниях и за поведением подсудимых, был не кто иной как начальник внутренней тюрьмы Миронов.

Через площадку парадной лестницы, через приемную и обширный секретариат меня провели в кабинет кандидата в члены Политбюро, наркома внутренних дел Л. П. Берии. Пол в кабинете был устлан ковром, в чем мне вскоре пришлось непосредственно убедиться. На длинном столе для заседаний стояла ваза с апельсинами. Много позднее мне рассказывали истории о том, как Берия угощал апельсинами тех, кем он был доволен. Мне не довелось отведать эти апельсины.

В глубине комнаты находился письменный стол, за

которым уже сидел Берия и беседовал с расположившимся против него Кобуловым. Меня поместили на стул рядом с Кобуловым, а слева, рядом со мной, — чего я сначала в волнении не заметил — уселся какой-то лейтенант. Эту мизансцену я точно описал в моем заявлении в правительственные инстанции... после ареста Берии.

Кобулов и Берия при мне обменялись репликами, как я полагаю, на грузинском языке. Затем, хотя было очевидно, что Берия только что выслушал сообщение Кобулова, тот разыграл комедию: официальным тоном он доложил: «Товарищ народный комиссар, подследственный Гнедин на первом допросе вел себя дерзко, но он признал свои связи с врагами народа». Я прервал Кобулова, сказал, что я не признавал никаких связей с врагами народа, а лишь назвал фамилии арестованных друзей. Помнится я тут же добавил, что преступником себя не признаю.

Кобулов подготовился к тому, что я снова «поведу себя дерзко». Как только я подал свою реплику, Кобулов со всей силой ударил меня кулаком в скулу, я качнулся влево и получил от сидевшего рядом лейтенанта удар в левую скулу. Удары следовали быстро один за другим. Кобулов и его помощник довольно долго вдвоем обрабатывали мою голову как боксеры работают с подвешанной кожанной грушей. Берия сидел напротив и со спокойным любопытством наблюдал, ожидая, когда знакомый ему эксперимент даст должные результаты. Возможно, он расчитывал, что примененный «силовой прием» сразу приведет к моей капитуляции; во всяком случае, он был убежден, что я потеряю самообладание и перестану владеть своими мыслями и чувствами. Но очевидно он не знал, что человек может потерять ориентацию в пространстве и не потерять ориентации в собственном внутреннем мире. Правда, до поры до времени...

Не помню точно, что именно на этой стадии «допроса» говорил Берия и как я формулировал свои ответы, но

суть была все та же: меня обвиняли в государственной измене, а я решительно отрицал свою виновность в каких бы то ни было преступлениях.

Убедившись, что у меня «замедленная реакция» на примененные ко мне «возбудители», Берия поднялся с места и приказал мне лечь на пол. Уже плохо понимая, что со мной происходит, я опустился на пол. В этом выразилась двойственность в моем состоянии, о которой я уже упомянул: внутреннюю стойкость я сохранил, но в поведении появился автоматизм. Я лег на спину; «Не так!» сказал нетерпеливо кандидат в члены Политбюро Л. П. Берия. Я лег ногами к письменному столу наркома. «Не так» — повторил Берия. Я лег головой к столу. Моя непонятливость раздражала, а может быть и смутила Берию. Он приказал своим подручным меня перевернуть и вообще подготовить для следующего номера задуманной программы. Когда палачи (их уже было несколько) принялись за дело, Берия сказал: «Следов не оставляйте!» Если это был, действительно, приказ подручным, то можно высказать предположение, что у Берии были далеко идущие планы в отношении меня. (Впрочем, Берия не был оригинален. В утвержденной в конце 19 века германским кайзером Вильгельмом II «Инструкции о применении телесных наказаний к неграм Востойной Африки» имелся пункт: «Не оставлять следов!!!»

Они избивали меня дубинками по обнаженному телу. Мне почему-то казалось, что дубинки резиновые, во всяком случае когда меня били по пяткам, что было особенно болезненно, я повторял про себя, может быть, чтобы сохранить ясность мыслей: «Меня бьют резиновыми дубинками по пяткам». Я кричал и не только от боли, но наивно предполагая, что мои громкие вопли в кабинете наркома, близ приемной, могут побудить палачей сократить операцию. Но они остановились только, когда устали.

То ли сразу после того как меня оглушили с помощью боксерских приемов, то ли во время последующих изби-

ений Берия и Кобулов дали мне понять, чего именно они от меня хотят. Один из «намеков» звучал примерно так: «Учтите, что вы уже не находитесь в кабинете обер-шпиона, вашего бывшего начальника. Там вам уже не бывать!» Оба глядели на меня с максимальной выразительностью, повторяя аналогичные недвусмысленные фразы, но, кажется, в тот раз они еще не называли М. М. Литвинова по фамилии.

Не получив от меня не то что «показания», но вообще какой-либо положительный ответ, Берия приказал меня увести. Вероятно тотчас же на смену мне была приведена другая жертва. Берия торопился получить материал, порочащий М. М. Литвинова.

Тем временем ко мне применили новый прием, очевидно, в соответствии с разработанной методикой. Избитого, с пылающей головой и словно обожженным телом, меня, раздев догола, поместили в холодном карцере. Какое он производил впечатление можно судить по тому, что, когда через некоторое время в соседний карцер привели другого заключенного, я услышал, как он спросил (мне показалось, что я узнаю голос моего заместителя): «Это что? Уборная?» Мой карцер скорей походил на предбанник . . .

Не могу утверждать, что карцер специально охлаждали, но мне представлялось, что это так. Мне даже казалось, что я уловил, откуда поступает холодный воздух. Пол был каменный. Я забрался в угол и встал на скамью, правда тоже каменную. Размышлять в моем положении и состоянии было невозможно; да и задача, стоявшая передо мной, была ясна без размышлений: надлежало выдержать пытки, не оговорить ни себя ни других. Дабы успокоиться и восстановить душевное равновесие, я стал читать стихи. Читал Пушкина, много стихов Блока, большую поэму Гумилева «Открытие Америки» и его же «Шестое чувство». Вероятно я читал и собственные стихи. Особенно благотворное влияние на меня оказало чтение сонета Вячеслава Иванова, который я запомнил со студенческих лет. Я ниже приведу

его полностью.

Кто-то спросил тихо часового, наблюдавшего за мной в глазок: «Ну, что он?» Тот отвечал: «Да все чего-то про себя бормочет».

Через некоторое время меня снова доставили в кабинет наркома. И снова два человека обрабатывали меня дубинками под личным наблюдением Берии. Я запомнил одну реплику Берии во время второго сеанса; наклонившись надо мной, он сказал: «Волевой человек, вот такого бы перевербовать». Прекрасно зная, что я не шпион, не преступник, он подсказывал мне «удобную форму» самооговора: готовность «завербоваться» на работу в НКВД. Грязная выходка циничного субъекта! Тогда я не понимал, что Берия произнес стандартную фразу из набора штампов заурядного следователя того времени. Да и, вообще, все реплики Берии и до моего ареста и после него были удивительно мелкотравчатыми, примитивными.

В ответ на провокационное замечание Берии я изо всех сил, лежа на полу, выразил свое возмущение и отвращение. Берия отвернулся. Подручные продолжали свою «работу». Я снова принялся кричать.

Не могу сказать, сколько длилась вторая экзекуция в кабинете наркома. Во всяком случае, убедившись, что я по-прежнему отказываюсь признать себя преступником, не откликаюсь на требование оклеветать Литвинова, палачи меня опять поместили в карцер. Я снова раздетый стоял на каменной скамейке и читал наизусть стихи.

Надеюсь, далекий читатель понимает, что я неохотно описываю свои страдания и унижения и что я привожу различные неприятные детали, лишь будучи убежден, что рассказываю о приемах, примененных не ко мне одному. На основании ряда признаков, да и со слов одного из следователей, можно утверждать, что меня пытались подготовить для участия в открытом процессе, в качестве свидетеля обвинения или сидящего на скамье подсудимых помощника обвинителя. Следо-

вательно, примененные ко мне приемы и методы могут дать представление о том, как велась подготовка тех процессов, тайна которых до сих пор до конца не раскрыта, несмотря на то, что уже появилась обильная литература.

Приблизительно с момента второй отправки в холодную я потерял представление о времени. Ни непосредственно после окончания серии пыток, ни позднее, спокойно размышляя, я не мог определить, как долго длилась эта первая серия: трое, четверо, пятеро суток? Я помню, что впервые возвращенный ненадолго в камеру, я удивился, узнав, что миновали сутки. Кажется был «утренний туалет» заключенных. Бывший полковник, оглядев меня (а «программа» еще далеко не была завершена) сказал»: «Я бы и половины не выдержал!» Боюсь, что знакомство с моим опытом подорвало его стойкость. Но внешне он держался по-прежнему с большим достоинством; когда я рассказал ему о первой сцене у Берии, полковник заметил не без высокомерия: «Они, кажется, имеретинцы». В его устах это звучало так: «Обыкновенные разбойники...»

Второй мой сосед, в соответствии со своей ролью, советовал мне дать показания. Когда же я в полубеспамятстве лежал в неудобной позе на боку, бормоча про себя: «Ничего, ничего, ничего не понимаю...», я вдруг ощутил, что на меня смотрят; наши койки разделял стол; низко наклонив голову, порученец из-под стола смотрел на меня внимательно и слушал мой шепот.

Но в течение первых дней заключения я пробыл в камере только несколько часов. Меня водили, а потом тащили из кабинета в кабинет, где меня по очереди избивали и допрашивали разные следователи, обычно два-три человека, так как я стал оказывать сопротивление (примерно на второй день: в начале я растерялся, а под конец ослаб). Иногда случайно заходившие следователи принимались словом и делом помогать товарищам, которым попался «трудный объект». Как то к столу, перед которым я был посажен, подошел ма-

ленький человек в большом чине. «Где я вас видел, вы мне знакомы!» — воскликнул он. Когда же следователь пожаловался, что я не признаю себя виновным, мой знакомый ударил меня линейкой по рукам и визгливо крикнул: «Чтобы к моему возвращению показания лежали на столе!» Больше он не появлялся.

Пытался помочь следователям и упомянутый мною начальник тюрьмы. Препровождая меня по коридору, он шепнул: «Напрасно упорствуете!» Я ответил тоже шопотом: «Не понимаю, что здесь происходит». Он замолчал.

Самим жестоким и длительным избиениям я подвергался в кабинете Кобулова. В памяти запечатлелись только отдельные сцены, ночное освещение, несколько склонных надо мною лиц, шум голосов. Однажды в комнату вошел какой-то человек и, как мне показалось, хохоча крикнул: «А, это Гнедин! Да его надо трижды расстрелять за его преступления, завтра же!» Был и такой момент: мне в бреду померещилось, что Сталин на портрете, висевшем над столом Кобулова, зашевелился; я обратился к нему с пылкой речью. Сильным ударом меня оглушили. Другой раз, когда Кобулов, дабы я не мог оказывать сопротивление, особенно сильно прижал сапогом мой затылок, я потерял сознание.

Смутно помню, что, повидимому ночью, я отвечал на задаваемые вопросы, которые, как мне казалось, имели нейтральный характер, и вдруг заметил стенографистку. Меня удивило, что она сидит на возвышении; я уже не сознавал, что лежу на полу, а она сидит на стуле. Не могу сказать, присутствовала ли стенографистка постоянно во время избиений или только в тот раз, когда я ее заметил.

В одну из ночей, когда меня в очередной раз привели к Кобулову, он строго спросил меня: «Почему вы скрыли от следствия, что вы эпилептик?» Очевидно, у меня был нервный припадок, но я этого не помнил. Кто его знает, может быть, положительный ответ на этот вопрос избавил бы меня от дальнейших пыток; во

всяком случае теперь, записывая этот эпизод, я подумал об этом. Но в ту ночь я был одержим одной безумной мыслью: надо выдержать любые пытки и доказать свою невиновность. Поэтому я ответил Кабулову: «Я не эпилептик, можете продолжать!» Между тем, когда я столь самоуверенно отвечал Кабулову, продолжая в сознательном состоянии защищаться от ложных обвинений, я в полубреду, отвечая на вопросы, задававшиеся в присутствии стенографистки, уже снабдил следователей фактическими данными о том, где и когда я работал, с какими иностранцами имел дело. Сведения, сообщенные мною следователям, не имевшим понятия о моем прошлом, послужили материалом для составления фальшивки, о которой я далее расскажу.

Постепенно я терял не столько способность, сколько самую возможность замечать разницу между отдельными часами суток. В быту важнейшие вехи времени, это — сон, пробуждение, прием пищи. Я не спал, есть мне не давали; кажется, я вовсе не пил в течение двух-трех суток; во всяком случае я не запомнил ни одного случая, когда бы я за время «допроса с пристрастием» утолил жажду, да и вообще испытывал какие-либо физиологические потребности. Все происходящее со мной и вокруг меня стало одуряюще однообразным, приобрело какой-то призрачный характер, а мои поступки становились все менее мотивированными, хотя я и продолжал сохранять внутреннюю уверенность, а может быть и маниакальную убежденность в том, что я выдержу. Как то на рассвете, в маленькой комнате следователя Воронкова я смутил моего мучителя, когда во время паузы, опустился на пол. «Что вы делаете?» воскликнул следователь, вероятно, решив, что я сошел с ума. «А вы сказали, либо пишите, либо ложитесь, вот я и лег . . .»

Однажды ночью, находясь в той же комнате, я услышал крики женщины из соседнего кабинета. Следователь лениво приоткрыл дверь. Видимо, его интересовало, кто из его коллег имеет дело с арестованной

женщиной. Я же физически ощутил, как у меня зашевелились волосы на голове, «стали дыбом».

К концу третьих (или четвертых) суток следователь Воронков, основываясь на своем опыте, уже расчитывал, что в моем состоянии близится момент роковой слабости. Конечно, тупым палачам был чужд психологический анализ. Это были — как говорят на заводах — «мастера-практики». На основании моего опыта — опыта жертвы палачей (меня пытали снова через год), я убежден, что реакция человека на пытки поддается научному анализу и возможен точный прогноз. Я подумал об этом снова, когда познакомился с высказываниями известного физиолога Селье (да и с работами по психоанализу). Установлено, что при длительном воздействии одного и того же «стрессорного агента» организм вначале адаптируется (стадия резистенции), но затем, рано или поздно, достигнутая адаптация теряется (стадия истощения) и в итоге «наступает гибель». Переход от адаптации к истощению и гибели, это в конечном счете вопрос времени, даже в тех случаях, когда психический фактор, когда воля способствует значительному удлинению «стадии резистенции».

Помню, как на рассвете в той же комнате с окнами во двор мы со следователем сидели друг против друга, я в полуобмороке на кончике стула, он, полусонный на другом стуле, лениво покалачивая меня дубинкой по коленям. Когда я приоткрыл глаза, мне вдруг померещилось, что он хочет мне нанести особенно болезненный удар. И тут я испугался. Острый страх, испытанный мною в этот момент, был столь же неуместен и объективно не мотивирован, как и ранее проявленная готовность подвергнуться дальнейшим избиениям. И в том и в другом случае мое поведение отражало потерю самоконтроля. Итак, в предрассветный час я неожиданно для себя, а возможно и для следователя, попросил дать мне лист бумаги. На поспешно поданном мне листе я написал несколько слов о том, что я допускал ошибки в моей работе, приносившие вред, понимаю это и готов

об этом рассказать. Прочитав написанное мною, следователь тотчас же на моих глазах порвал бумагу. Затрудняюсь объяснить его поступок; возможно, что он не был полномочен принимать от меня такие собственноручные заявления, которые не подтверждали преподанную свыше версию обвинения и даже ее опровергали; возможно, что он ждал, что я все же сам напишу то, что требуется. В камере у меня вдруг возникло смутное опасение, что я написал несколько ясно звучащих фраз, но сколько я ни напрягал память, я не мог, держа ответ перед самим собой, ни подтвердить возникшее опасение, ни отвергнуть его.

К счастью, ответ на этот мучивший меня вопрос не имел никакого практического значения. Час, когда следователь порвал мое заявление о «совершенных ошибках» остался у меня в памяти как момент шока, который способствовал тому, что я преодолел мгновенную губительную слабость. Именно мысль о том, что я на рассвете в кабинете следователя «закачался», придала мне стойкость при третьем свидании с Берией, которым завершилась серия пыток. Очевидно, Берии доложили о том, что я наконец теряю самообладание и Берия возомнил, что он сумеет лично зафиксировать факт моей капитуляции и получить от меня продиктованные им же показания. Он просчитался.

Когда меня ввели, Берия, стоя, беседовал с Кобуловым. Меня поставили по другую сторону стола невдалеке от знакомой мне вазы с апельсинами.

Когда не столь давно Берия и я сидели за таким же длинным столом для заседаний в бывшем кабинете Литвинова, он держался злобно или демонстрировал свою злобу. Видимо, это была привычная поза авантюриста, строившего свои расчеты на том, чтобы его боялись. Его позиция, когда я еще был или чувствовал себя свободным человеком, была для меня опасной. Теперь же, когда по обе стороны стола находились палач и жертва, моральный перевес был на моей стороне. Выражаясь фигурально, мы «уже познакомились»

и как личности померились силой.

Авантюрист с поверхностной культурой не в состоянии до конца понять идейного человека, живущего интеллектуальной жизнью. Он чувствует это, и, стремясь приспособиться, придает своим манерам и речам обличье интеллигентности. Примерно так держался Берия на третьем допросе в его кабинете. Спокойно он справился у меня, понял ли я, наконец, что должен рассказать о своих преступлениях. Я дал ответ, который потом повторял в своих заявлениях, в первую очередь на имя самого Берии. Я сказал, что обязан ему говорить только правду, заявляю, что преступником не являюсь, никаких преступлений не совершал; я желал бы понять, чего от меня хотят, я не понимаю происходящего.

Выражая готовность «понять происходящее», я видимо надеялся ослабить реакцию палачей на мой новый отказ выполнить их требования. Ведь в этот момент двое человек меня поддерживали в стоячем положении на том самом месте, где меня впервые бросили наземь. Хорошо еще, что в моем омраченном сознании суматошные процессы мнимо спасительного торможения воли были слабее, нежели подлинно спасительный четкий и ясный сигнал: «лживых показаний не давать!»

Все же этот эпизод пример того, как я чуть-чуть не оступился. Проявление «готовности понять, чего от меня хотят» — иллюстрация того, как подследственные попадали в расставленные им капканы. Замученные люди легко делали роковой шаг от готовности «понять» к готовности «помочь». Но к моему счастью и, пожалуй, к моей чести мои слова о желании «понять, что здесь происходит» звучали для следователей неубедительно, Берия счел, что мое стремление «понять» ему ничего не дает. Он потерял ко мне интерес и собирался иным способом «оформить» мое дело и решить мою судьбу.

Последние слова, услышанные мною от Л. П. Берии были: «Такой философией (голос авантюриста, говорящего с интеллигентом) и провокациями (голос палача) вы только ухудшаете свое положение». Эта по сути

стандартная фраза была и верна и неверна. Не дав лживых показаний, я «улучшил» свое положение, так как меня не удалось включить в крупное дело о государственной измене. Вместе с тем угроза Берии «ухудшить» мое положение оправдалась в том отношении, что на протяжении всех лет моего пребывания в тюрьме, в лагерях и ссылке я ощущал, что в моем деле есть некая авторитетная и неблагоприятная для меня резолюция.

После «напутствия» Берии я был отправлен в камеру. По дороге меня отнесли в амбулаторию, где мое распухшее и кровоточащее тело смазали вазелином. Ни до того, ни после того я никакой медицинской помощи не получал.

В камере я никого не застал. Обоих соседей увели; одному моя участь должна была послужить уроком, другой — получил новое задание.

Через сутки или двое меня разбудили на рассвете: «На допрос». К тому времени спина, ноги, пятки представляли собой сплошную глянцевитую и очень болезненную опухоль. Ни сидеть, ни стоять я не мог. В таком состоянии я был доставлен в тот самый маленький кабинет с окном во двор, где я, тоже на рассвете, чуть-чуть не капитулировал.

Воронков сидел за письменным столом; его одутловатое серое лицо выражало озабоченность, пожалуй, даже неуверенность. Следователь положил передо мной на маленький столик канцелярскую папку, в которую был вложен длиннейший на многих страницах «Протокол допроса Гнедина-Гельфанда Е. А. сына Парвуса, от 15-16 мая 1939 г.» (дата была совершенно произвольной). На высококачественной глянцевитой (наркомовской!) бумаге без единой поправки или помарки, четким шрифтом были отпечатаны вопросы, которых мне не задавали, и ответы, которых я не давал. Ни один протокол допроса, каких мне позже пришлось видеть не мало, не имел такого аккуратного, законченного вида как эта фальшивка. Я понял, что предо мной доку-

мент, предназначенный для представления в «высшую инстанцию».

Стоя на одной ноге, либо на носках и опираясь рукой о столик, я читал фальшивку, столь же лживую, сколь и бездарную.

Когда Берия при третьем вызове в его кабинет, увидев, что моя воля не сломлена, сразу отослал меня, его аппарат уже сочинял за меня «показания». Однако работа была проделана плохо, материала явно не хватало. Когда я, брошенный на пол в кабинете начальника «Особой следственной части» Кобулова, отвечал в полубреду на вопросы о том, где я работал и с кем встречался, — я не потерял окончательно контроля над собой и называл иностранных дипломатов и журналистов, как будто я только с ними и был знаком. Возможно, что в те часы я уже был готов — хотя я в этом не уверен — очернить себя самого, но — в чем я уверен, и это отразилось даже на фальшивке — я оставался тверд в решении никого не оговаривать.

Я запомнил только в общих чертах содержание «протокола от 15-16 мая»; я его видел всего лишь два раза: впервые — в описанном только что состоянии и вторично при ознакомлении с делом, вернее, с предъявленной мне его частью; но когда я уже знал, что фальшивка потеряла всякое значение, и отведенное мне краткое время посвятил чтению документов, которые я видел впервые. В «протоколе» было три основных раздела. В одном мне якобы задавались вопросы о моих «связях» в «Известиях» с Карлом Радеком и С. А. Раевским (арестованными за два года до моего ареста) и приписывались ответы, ко мне вообще не относившиеся и явно списанные следователем из чьих-то старых дел. Они были не только лживые, но и абсурдные. Так, например, из каких-то старых «показаний» была заимствована выдумка, будто Радек устроил С. А. Раевского на работу в редакции «Известий», между тем как С. А. Раевский заведывал Иностранным отделом редакции до назначения Радека членом редколлегии. В «протоколе

от 15-16 мая» не только содержались утверждения, которых я не делал и не мог бы сделать, но и каких не могли бы сделать упомянутые в документе лица. Вообще, фальшивка, составленная по моему делу, была отражением других фальшивок, положенных в следственные дела ранее арестованных товарищей.

В особом разделе «протокола от 15-16 мая» содержались измышления о М. М. Литвинове, имя которого я безусловно не называл. Думаю, что его имя не фигурировало и в старых делах. Но теперь задача палачей заключалась именно в том, чтобы «собрать материал» против Литвинова и ради этого и была составлена фальшивка. В ответ на «тонко поставленные» вопросы я будто бы постепенно признавался в том, что «знал об антиправительственных настроениях Литвинова» (примерно так, пишу, естественно, по памяти), я будто бы «подтверждал», что Литвинов, «исходя из антисоветских намерений провоцировал войну» и т. п. Составители «протокола» не пытались сами изобрести «состав преступления», они просто-на-просто приписывали М. М. Литвинову те самые концепции и формулировки, которые участники больших открытых процессов приписывали себе или которые им были приписаны. Это мое, сразу сложившееся, впечатление позднее подтвердилось, в частности, когда один из следователей о «протоколе от 15-16 мая» отозвался (при мне!) пренебрежительно «это повторение пройденного», а другой высказался еще определеннее: «там ничего нет».

Из третьей части «протокола» вытекало, что я снабжал шпионскими материалами всех без исключения (буквально) иностранных дипломатов и журналистов. Приведу один пример, который помню, так как я его использовал в моих многочисленных заявлениях, опровергавших лживый «протокол». Для составления этой его части следователями были использованы те фамилии иностранцев, которые я называл во время истязаний. Так, согласно пресловутому «протоколу», я признался, что ко мне в посольство в Берлине явился некто

Эме (мелкий и подозрительный журналист) после чего следователь «проницательно угадывал»: «И в следующий раз уже не он вас, а вы его снабжали материалом», а я в своем ответе следователю охотно и безоговорочно подтвердил: «Да, конечно, я сразу стал его агентом».

(Я рассказываю об этих зловещих нелепостях не только для характеристики данной фальшивки, но чтобы на моем опыте проиллюстрировать то обстоятельство, что следственные дела периода террора не имели ничего общего с действительностью. Похоже, что при фабрикации подложных обвинений, в том числе и в показных процессах, палачи считали, что чем меньше подлинных фактов, тем лучше, тем больший простор для «большой лжи». Я говорю об этом, потому что даже теперь после 20 съезда все еще случается, что добросовестные люди ищут в *фактах* объяснение ареста невинных людей и думают, что хоть и ложное обвинение исходило из каких-то подлинных обстоятельств).

Следователь потребовал, чтобы я подписал «протокол». Я назвал предъявленный мне документ фальшивкой, но снова оказался на опасной грани, снова со мной «чуть-чуть» не случилось того, что случалось со многими людьми. Я стал подыскивать приемлемые страницы с фактическими данными; такой, кажется, оказалась первая страница; я поставил на ней и еще на некоторых страницах закорючки, подписывать я физически не был в состоянии. Потом я с ужасом отодвинул от себя чудовищный документ. Но, видимо, следователю нужно было только предъявить начальству хотя бы след того, что я прикасался к «протоколу». Он не стал настаивать на подписании всех страниц (как это полагалось) и отправил меня в камеру.

Преодолевая внутреннее сопротивление и чувство острой неловкости, я здесь постарался независимо от фактического исхода следствия, описать то состояние, в котором находились истязаемые люди, когда они теряли (и не могли не терять) ощущение реальности,

ощущение грани между допустимым и недопустимым, возможным и невозможным, когда людям изменяли силы и их охватывало отчаяние, когда, выражаясь языком физиологов, нарушалось динамическое равновесие между давлением среды и реакцией на нее.

Но как трудно описать нравственные страдания, если стремишься излагать самые факты и не обладаешь даром художника слова. Здесь я хочу сказать об отчаянии, охватившем меня при мысли, что моя твердость и принципиальность во время пыток оказались — как я думал — тщетными, безрезультатными. Ведь все мои заявления о невиновности, сделанные во время допросов, все мои связные аргументы и возмущенные вопли во время дневных и ночных избиений остались без последствий и без малейшего следа на бумаге. Наоборот, — думал я — сочиненная циничными и невежественными палачами фальшивка лежала в деле, не опровергнутая и, быть может, на ее основании уже решалась моя судьба... Я вспоминал, что на открытых процессах, когда подсудимые пытались возражать против некоторых обвинений, им предъявляли какие-то печатные тексты и их спрашивали только: «Это ваша подпись?» Очевидно, обвинение зачастую опиралось даже не на вынужденные собственноручные показания, а на фальшивку, составленную без участия подследственных.

Я не мог знать в те страшные часы, что в моем деле фальшивка вовсе не сработала.

Больше всего меня угнетало то, что, хотя бы и в подложном документе, фигурировало имя Литвинова. Я был в ужасе и потому, что речь шла о Максиме Максимовиче, и по той причине, что его фамилия была единственной упомянутой в «протоколе» фамилией советского человека, еще живого и, как я надеялся, находившегося на свободе.

19 мая меня вызвали на допрос днем. В том же темном кабинете с окном во двор Воронков восседал за письменным столом с деловым видом, а мне предложил сесть за маленький столик в углу. Видимо следователь соби-

рался повести со мной «нормальную работу», либо опираясь на фальсифицированный протокол, либо, наоборот, временно о нем не упоминая. Но у меня был свой план действий. Я решил во что бы то ни стало опровергнуть фальшивку.

Я попросил дать мне бумагу. Воронков дал. Вероятно, на основании своего опыта он считал, что когда следователь, участвовавший в избиениях, потом обращается корректно с подследственным, тот сам старается не вызывать конфликта. Все же он стал около меня, чтобы тотчас же забрать у меня бумагу, если я стану писать не то, что следует. Я прибег к хитрости. Так как я по хорошо известным следователю причинам не сидел на стуле, а стоял, согнувшись над столиком и медленно выводил буквы, то и следователю, если он хотел читать то, что я пишу, нужно было стоять около меня очень долго. Я расчитывал, что ему это надоест. Действительно, когда следователь увидел, что в начале моего заявления я обещаю «помочь следствию», «всемерно содействовать освещению интересующих его фактов» и вообще заверяю в своей искренности (я сознательно начал с длинной фразы), он отошел от меня и ублаготворенно уселся за свой стол. Тогда я продолжал примерно так: а потому считаю необходимым заявить, что мне ничего неизвестно о преступной деятельности Литвинова, и что если бы даже Литвинов был бы заговорщиком, чего я не думаю, то он, как старый конспиратор, никогда бы не стал мне об этом рассказывать, и следовательно то, что говорится в «протоколе от 15-16 мая» не соответствует действительности. Далее я указал, что протокол фальсифицирован, что в нем содержится много явных нелепостей, и в качестве примера отметил фактические ошибки относительно Радека и Раевского и бессмысленность «диалога» со следователем по поводу Эме. Я привел еще какие-то доводы, которых уже не помню. Во всяком случае, мне удалось сделать больше, чем я надеялся; моей программой-минимум было опровержение клеветы на Литвинова.

Когда следователь получил исписанные мною листки, он, не говоря ни слова, нажал кнопку звонка, вызвал охрану и отправил меня в камеру. Больше я его никогда в жизни не видел. Но в постановлении о моей реабилитации в 1955 году, то есть через 16 лет я обнаружил глухое упоминание о том, что согласно *показаниям* бывшего следователя Воронкова, он был «свидетелем» того, как меня избивали в кабинете Берии. О своей роли в моем деле он очевидно умолчал.

Мое заявление от 19 мая следователь не уничтожил. Я видел его в деле и неоднократно на него ссылался, разоблачая фальсификацию, доказывая и напоминая, что я с первых дней следствия неизменно устно и при первой возможности письменно отвергал и опровергал обвинения и клевету на меня и на других честных людей, прежде всего клевету на М. М. Литвинова.

Таким образом, хотя и был момент, когда я в невменяемом состоянии чуть-чуть не сдал принципиальных позиций, все же я лживых показаний не дал и никого не оговорил.

Для того, чтобы мой опыт мог служить материалом для правильных обобщений, я должен сказать, что по моему мнению ко мне не были применены, выражаясь старинным языком, «пытки третьей степени» в полном объеме, я был поставлен в условия тяжкие, мучительные, в условия, как позднее деликатно выразился один следователь, «строгого режима», но ко многим своим жертвам сталинские палачи применяли еще более беспощадные приемы и в течение еще более длительного времени. Ведь в конце концов мне не сломали ребра и не отбили почек, а таких случаев было не мало... Наконец, были люди, которые давали палачам более прямой, резкий и грубый ответ, чем я, оказывали яростное физическое сопротивление. Оно не спасало их не только от гибели, но, как правило, даже от формальной капитуляции в дальнейшем. Тем не менее, они уходили из жизни как герои.

ГЛАВА IV

ПЕРЕДЫШКА В ОДИНОЧНОЙ КАМЕРЕ

Физические страдания — вечная тема. Мне не нужно подробно останавливаться на этой стороне моих испытаний. Но должен сказать — пожалуй, я вправе высказать свое суждение по этому поводу — что физические мучения, хотя и могут сломить человека, но меньше дезорганизуют психику, нежели нравственные муки. Первые часы после окончания пыток, когда я лежал на тюремной койке, еще не будучи в состоянии собраться с мыслями и отдать себе полный отчет в том, что со мной произошло, — эти часы не были самыми страшными. На всю жизнь я запомнил неповторимое, вдохновенное состояние в один из первых дней в одиночке: тело было как бы сплошным источником боли, но именно поэтому показалось, что его вовсе нет: была боль, был огонь, но не было тела, я ощущал необыкновенную легкость и свободу, какой больше уже не ощущал никогда в жизни. В часы бреда наяву, рожденного болью, не было темноты и безысходности, были свет и необозримость.

Однако, слово не звучало. Я полусознательно искал его (для себя самого, к общению с людьми я не был готов), но я не находил слов. И только когда я стал думать о жене, о своей любви, о дочери, появились слова и сбивчивые речи. Они отражали и мои чувства и то физическое состояние, в котором я находился. Прозвучали воображаемые записи в лирическом дневнике, которые я хранил в памяти два с половиной года, пока не записал их в лагере. Я запомнил, как я говорил себе в полубреду:

Нет, никогда объяснить не смогу я
Муку жгучую немоты . . .
Нет, никогда описать не смогу я
Твой облик, твои черты . . .
Мир мой неописуем:
Что ни скажу — не ты!
Как объясню: ты во мне ли
Или вовне?
Я в твоем сгораю огне ли,
Ты в моем ли горишь огне? . .
Я слышу, глаза закрывая,
Твои речи, твой смех . . .
Ты женщина, дорогая,
Желаннейшая из всех.
Где же ты? Где же
Люди и где страна?
Неужели и ты одна?
Биение сердца все реже . . .

Прошу понять, что я не цитирую стихи, явно несовершенные, а привожу документальную запись потока мыслей в полубреду на десятый день заключения после истязаний. Неотступные, какие-то всеобъемлющие, физические страдания породили эту погруженность в огонь, но душа собирала силы, шла неистовая работа памяти, благодаря чему огонь страданий обращался во внезапное ощущение возможного, но недостижимого блаженства, а жажда прохлады воплощалась в любимые светлые образы. Такое состояние и отразилось в приведенных строках. Позднее я стал мысленно заносить в свой лирический дневник не сбивчивые речи, а сугубо рационалистические стихи, в которых я старался противопоставить ужасу и отчаянию — любовь и мысль.

Мне еще придется говорить о роли поэзии в одиноких раздумьях в тюрьме. Здесь я хочу сказать о том влиянии, которое на меня оказывало чтение вслух (вернее шепотом) любимых стихов больших поэтов. Я начал читать стихи наизусть в карцере. Я повторял стихи в

одиночке, снова они принесли мне облегчение. Так случалось неоднократно в трудные минуты моей жизни. Хотя я читал вслух главным образом стихотворения Пушкина и Блока, мне хочется здесь привести полностью малоизвестный сонет Вячеслава Иванова, потому что именно он не раз возвращал мне душевное равновесие в течение двух с половиной лет пребывания в следственных тюрьмах.

(Приходится пояснить далекому читателю: Вячеслав Иванов — интереснейший представитель русского символизма, мыслитель и поэт, мечтавший о «соборном искусстве» и театре мистерий. Однако, то обстоятельство, что я читал про себя вслух его стихи, столь же мало связано с его мировоззрением, с тем в частности, что он в конце жизни стал католиком, как и с тем что он до того побывал на посту замнаркома просвещения Азербайджанской республики).

Теперь я разыскал в сборнике стихов Вяч. Иванова мой любимый сонет и выяснил, что я допускал неточность лишь в одной строке и не помнил, что называется он «Италия». Стихи архаические, но я хочу их здесь привести.

В стране богов, где небеса лазурны,
И меж олив, где море светозарно,
Где Пиза спит и мутный плещет Арно,
И олеандр цветет у стен Либурна,
Я счастлив был. И вам, святые урны
Струй фэзуланских, сердце благодарно
За то, что бог настиг меня коварно,
Где вы шумели благостны и бурны.
Туда, туда, где умереть просторней,
Где сердца сны — и вздох струны — эфирней,
Несу я посох, луч ловя вечерний.
И суеверней странник и проворней
Проходит опустевшею кумирней,
Минувших роз ища меж новых терний.

Содержание этих стихов не имело ничего общего не только с тюремной действительностью, но и с тем миром, в котором я жил до тюрьмы и с моим мировоззрением того времени. Однако, когда я читал сам себе эти стихи, мне становилось легче на душе, как после молитвы. Я наслаждался ритмом, прекрасными образами, памятью о светлом мире. Только намного позднее я заметил, что вычурная последняя строка отражает в символической форме чувства, меня обуревавшие: как сохранить былое цветенье мыслей и веру в жизнь, когда в душу и тело вонзились шипы, как сохранить свое мировоззрение в мертвящем холоде тюрьмы? Но, повторяю, когда я бормотал про себя эти стихи, мне прежде всего приносил успокоение самый ритм, его переливы в замкнутых берегах сонета, ритм, отбиваемый сладостно звучащими окончаниями слов... (Листая теперь книгу Вяч. Иванова, я обнаружил такую строку: «Италия, тебе славянский стих звучит, стеснен в доспех твоих созвучий!»)

Я сказал только что: мне становилось легче как после молитвы. Но ведь я не молился! Ни разу, даже в самые тяжелые мгновения у меня не возникало мысли о Боге, я не верил и не верю в Бога, я верю в силу человеческого духа. Мне чужды и мистические настроения; они мне были чужды и в том состоянии, в котором я находился первые недели после пыток, хотя оно могло бы больше способствовать погружению в мистику, чем подъем сил в юности, когда я увлекался писаниями Андрея Белого и выучил наизусть сонет Вячеслава Иванова. Но тем не менее, мне кажется, что я знаю ключ к целебному действию молитвы. Возможно, верующий человек станет утверждать, что я, сам того не ведая, «приобщился благодати». Однако, я пришел к определенному представлению, что секрет благостного воздействия молитвы не вера, не смысл слов, и даже не смутное обещание, рожденное надеждой, а главным образом ритм, желанный, привычный ритм, в который облечены милые сердцу слова.

Прежде чем перейти к моим размышлениям в оди-

ночке, которые оказали определенное влияние на мое дальнейшее поведение во время следствия, — а о нем я веду рассказ — скажу еще пару слов о том, что относится к сфере «подсознательного», — о снах. Первые недели пребывания в тюрьме мне постоянно снились сны о потерях и тупиках. Мне приснилось, что в обычном московском подъезде я встретил хищных зверей. Мне снилось, что, идя по улице Чернышевского домой, я оказался на берегу неизвестной реки, другой раз я обнаружил во сне, что поперек переулка, ведущего к моему дому, стоят грузовики, а когда я через них перебрался, обнаружилась новая преграда. Снилось мне, что по пути к какой-то знакомой цели я вдруг замечаю исчезновение портфеля, который я нес в руке, а еще через несколько шагов я оказался и без одежды. Сны о потерях повторялись столь часто, что однажды я во сне, рыдая, вопрошал: «Почему мне раньше снилось, что я все имею, а теперь мне снится, что у меня ничего нет?» (Удивительно, как хорошо я помню сны, приснившиеся в тюрьме тридцать лет тому назад, но не сумел бы пересказать своих недавних снов).

Тогда я пробыл в одиночке недолго: сорок дней. Но ведь это было в первый раз, и тогда я еще не знал, что в сталинских тюрьмах люди сидели в одиночке по году, и больше, под следствием и даже в ожидании приведения в исполнение приговора о смертной казни. Оказавшись в одиночке, я вспоминал известные мне с детства рассказы о революционерах, о Максиме Горьком, о том, как ведут счет дням, и тоже стал считать дни, не понимая, что мне придется вести счет месяцам и годам, пока мне не будет объявлено, что я нахожусь в ссылке навечно.

Одиночная камера, в которую меня перевели после приостановки следствия, была своеобразным помещением. В нем не было параллельных плоскостей. Потолок представлял наклонную плоскость под углом к плоскости пола; ни одна стена не была параллельна другой; в камере имелось семь (если не девять) углов.

Эта обставшая меня остроконечность и скошенность вызывали головокружение, для которого и без того были причины. В камере хватало места только для одной койки и столика с табуретом. Когда ко мне на одну ночь привели какого-то, только что арестованного, крупного деятеля одной азиатской республики, он в своем превосходном костюме лежал на матраце, брошенном на пол у самых дверей. Мне осталось неизвестным, поместили его в моей камере потому, что тюрьма была переполнена, или для того, чтобы он в первую же ночь узнал, как обращаются с арестованными на следствии. Я ему ничего не стал говорить, но он сначала задал какой-то вопрос, а затем приглядевшись ко мне, замолчал. (К тому времени мои раны уже открылись; они зарубцевались лишь через полгода). Утром его увели.

Окно в камере было относительно большим, но пресловутый «козырек» давал возможность видеть только то, что находилось выше шестого этажа и в ограниченных пределах. Одно время я наблюдал как рабочий в люльке, спущенной с крыши, штукатурил стену, и это было необычайно увлекательным зрелищем. По вечерам я мог наблюдать за окнами большого зала, в котором собирались люди. Мне почему-то хотелось установить, происходят ли там собрания или какие-то регулярные занятия. Я с интересом следил за тем, как полный человек, стоя у самого окна, о чем-то спокойно и уверенно говорил, обращаясь к невидимой аудитории. Очевидно, мне хотелось убедиться в том, что за пределами тюрьмы люди живут нормально и плодотворно. Но ведь собрание, за внешними проявлениями которого я наблюдал, сидя в одиночке, происходило в огромном внушительном здании НКВД, служившем гранитной оградой тюрьме.

С первых дней тюремного заключения я оценил значение окна и свежего воздуха. Позднее это облегчало мое положение при распределении мест в камерах; многие стремились в углы потеплее, а я без труда и споров

устраивался под окошком, хотя бы из него и дуло. В моей первой одиночке было холодно, несмотря на то, что дело происходило в начале июня. Вероятно, камера была холодной, так как была вмонтирована в стыке старого и нового здания. Иногда я слышал, как непосредственно вдоль стены тюрьмы люди быстро сходили по лестнице. Форточку я не закрывал и сидел возможно ближе к ней, в плаще, подняв воротник и вложив руки в рукава. Наверное, у меня был довольно растерянный и жалкий вид, так что однажды какой-то сердобольный часовой («вертухай», как их называли заключенные) приоткрыв дверь, быстро проговорил: «Можете закрыть форточку, если холодно».

Меня водили на прогулку на крышу, примерно, на одиннадцатый этаж. Я упивался чудесным, как мне казалось, озонированным воздухом. Это была единственная привилегия одиночки; из других камер нас водили на прогулку в душные дворики, зажатые между высокими корпусами административного здания. Как-то меня разбудили на рассвете во время сильнейшего ливня и предложили итти на прогулку. Я сразу согласился, после чего вертухай с раздражением захлопнул форточку; он рассчитывал, что я откажусь от прогулки, и это освобождало его от обязанности водить меня на прогулку в этот день.

С прогулкой на крыше у меня связано воспоминание о первых слезах после ареста. Я в одиночестве делал круги по замкнутому пространству между высокими железными заборами, когда вдруг услышал музыку и пение. Звуки неслись с Красной площади, там происходил парад физкультурников. В те годы день физкультурников был настоящим прекрасным праздником. Вряд ли я именно в тот момент понял, что лишился доступа к радости и прелести жизни, я осознал это раньше в камере. Но в те минуты, когда я впервые после ареста и пыток услышал ликующий голос молодости, я испытал горечь и грусть и тоску и жалость к самому себе, и острое ощущение несправедливости

того, что я не с теми, кто радовался жизни, а нахожусь в застенке и, вероятно, накануне новых страшных испытаний. Насколько помню, за все годы в тюрьме и в лагерях я плакал четыре раза и трижды под влиянием случайной внешней причины, из-за которой мне на мгновение открывалось во всей полноте, какая меня постигла катастрофа, и охватывала особая лирическая слабость.

Часто мне удавалось подавить в себе ощущение ужаса и слабости, не только подавить, но вовсе изжить, словно не было страха и боли. Мне помогли книги, я получал их уже в одиночке. Кажется, я получил четыре книги, но запомнил две, совершенно различные и обе оказавшие на меня целебное воздействие: «Былое и думы» Герцена и «Тартарен» Альфонса Додэ. Конечно, они попали ко мне совершенно случайно, но я взял из них то, что мне было нужно для укрепления духа.

По воле провидения Герцен пришел ко мне в одиночку, чтобы в самый трагический и, возможно, решающий момент моей жизни напомнить мне о значении Мысли и Слова, сказать мне, что существуют высшие ценности, которым мыслящий человек хранит верность, и что именно под ударами судьбы человек должен суметь доказать эту свою верность высоким идейным и моральным ценностям. Мне к тому же посчастливилось прочесть у Герцена рассуждения о том, что в одиночке слабый человек становится слабее, а сильный — сильнее. А я хотел быть сильным . . .

Если книга Герцена, можно сказать, по самой своей природе, органически воздействовала на меня благотворно, то из книги Додэ я извлек пользу искусственно, но не без успеха. Я впервые прочел рассказ о пребывании Тартарена в Альпах. Прибыв туда, Тартарен узнал от земляка, что в Альпах нет настоящих пропастей и ледников, все организовано туристской компанией для того, чтобы у путешественников были острые ощущения. Убежденный в том, что ему не угрожают никакие подлинные серьезные опасности, Тартарен

взошел на самые высокие горы, не испугался пропасти, оказался смелее всех самых закаленных альпинистов, и даже мужественнее человека, искавшего смерти в горах. За прошедшие двадцать с лишним лет я не перечитывал «Тартарена» и не знаю, точно ли я передал содержание книги, но так я ее воспринял в одиночке и такою запомнил. Я счел, что из смешных похождений Тартарена следует сделать серьезные выводы: храбрость есть либо плод неосведомленности об опасности, либо умение ее игнорировать. Я вспоминал, как в 1919 году, когда понеслись кони, впряженные в тачанку, я держался спокойнее, чем крестьянские парни только потому, что не понимал, какая опасность нам грозит. Но спас нас тот боец, который не считаясь с опасностью, прошел по оглобле и схватив коней под узды, их остановил.

Итак, я создал для себя в тюрьме гипотезу, что самое страшное уже позади, что меня только будут запугивать расстрелом и возобновлением пыток, а на самом деле я уже вне опасности и, следовательно, могу держаться спокойно и твердо. Книга жизнелюбивого Додэ оказалась хорошим пособием по автопсихотерапии.

К области самовнушения, и притом использующего ассоциации культурного человека, относятся мои усилия преодолеть отчаяние, охватившее меня при мысли, что меня вырвали из жизни в сорокалетнем возрасте, то есть в расцвете сил. Я дерзко уподоблял себя Юлию Цезарю; застигнутый бурей в море, он утверждал, что корабль не потонет, потому что звезда Цезаря не может закатиться. Я говорил себе: именно потому, что я нахожусь в расцвете сил, мою звезду нельзя запереть в одиночке. Дерзкий, но спасительный самообман!

С молодости я был убежден, что человек — кузнец своего счастья, своей судьбы. Это убеждение не покидало меня и во время житейских треволнений, и тогда, когда обстоятельства складывались нелегко, когда возникали конфликты и в личной и в общественной жизни. В тюрьме мне открылось, что не только при-

рода, но и самое общество порождает непреодолимые и грозные силы, которым личность не в состоянии противостоять, а тем более, противодействовать. Но я не хотел выпускать из рук молот воли и мысли: так говорил я себе в одиночке.

Вероятно, просто самовнушение, основанное лишь на интеллектуальной игре или биологической привязанности к жизни, не могло бы спасти меня от отчаяния и, быть может, от гибели. Мне представляется — по крайней мере на собственном опыте, — что самая эффективная форма самовнушения, это та, к которой я прибег, конечно, ничуть этого не сознавая. Я внушил себе, — а мне казалось, я лишь напоминаю себе, — что могу и должен остаться верен тем идеям (или иллюзиям), которые мною владели до ареста. Я и в одиночке, после пыток, убеждал себя, что тюрьмы, застенки, клевета и беззаконие, расстрелы невинных людей не являются органическим элементом, решающей характеристикой того государства, в котором я жил, того строя, которому я служил верой и правдой. Я внушал себе, что эта мысль все еще остается неотъемлемой частью моего мировоззрения, и я проводил резкую грань между тем, что мне открылось во время «следствия с пристрастием» и моим общим представлением о советском обществе, о социализме и моем долге перед обществом. После происшедшей со мной катастрофы я внушил себе, что мой долг и мое спасение не только в том, чтобы остаться честным человеком и не просто в том, чтобы и находясь в руках палачей поступать, как подобает честному гражданину, но и в том, чтобы сохранить в неприкосновенности веру в идеалы, меня с молодости одушевлявшие, сохранить в неприкосновенности свой внутренний мир.

Неотъемлемой частью этого моего внутреннего мира, моего богатства, придававшего мне силы и волю к жизни, была любовь. Примерно за год до ареста, но вовсе не в предчувствии катастрофы, я писал в дневнике о моей любви: «Она со мною остается, любовь не

может умереть!» Теперь я повторял себе, что я должен жить ради любви. Из этого следовало — конечно, не логически, а эмоционально — что я должен оставаться неомраченным, а быть таким, каким меня хотели видеть мои близкие. Мысль о разлуке навеки не умещалась в моем сознании.

Я много думал о дочери. Я старался мысленно обращения к дочери-подростку облечь в слова светлые и простые и внушать ей бодрость и не только жизненный оптимизм, но гражданские чувства. В то время, как в течение всей моей жизни меня спасала убежденность в важности свободного, критического мышления, я, сидя в одиночке, слагал со всей искренностью и любовью обращенные к дочери призывы не поддаваться сомнениям, стихи, которые сейчас приводить незачем. То были заклинания, при помощи которых я как бы пытался на расстоянии рассеять ту тень, которая омрачила существование дочери из-за постигшей нашу семью беды.

К концу пребывания в одиночке я мою веру в несокрушимую силу любви, связывавшей меня с женой, и мою преданность советской стране выразил мысленно в стихотворении, которое назвал: «Клятва». Во время дальнейшего пребывания в следственной тюрьме я подумывал о том, чтобы прочесть свою клятву следователю или послать ее вместо заявления на клочке бумаги, который иногда удавалось получить от тюремщиков. Хорошо, что я этого не сделал: клятва подследственного арестанта не произвела бы никакого впечатления на циничных и грубых следователей; между тем я раскрыл бы свой душевный мир перед людьми недостойными. (Теперь к патриотическим и вдохновенным письмам и произведениям людей, борющихся за правду и справедливость и против беззакония относятся с таким же циничным безразличием, как палачи в прошлом, бюрократы всех званий, в том числе деятели Союза советских писателей. Их психология — к счастью еще не самые дела — мало отличается от психологии

работников следственного аппарата в описываемое мною время).

Получив от меня в письме из лагеря текст клятвы, моя жена прочла ее адвокату, к которому обращалась за консультацией. Об был изумлен и даже взволнован; это стихотворение — сказал он — следовало бы присовокупить к делу как важный документ. Но — тут же разъяснил моей жене адвокат — хлопоты по такому делу, как мое, вообще были невозможны.

Привожу текст клятвы, произнесенной мною перед самым собой, примерно через месяц после ареста:

КЛЯТВА

Нельзя разлучить ни с женой, ни с страной,
Любовь не убить в человеке,
Образ любимой всегда со мной,
Я с родиной связан навеки.
Не сломлены воля и вера моя,
Хоть жизнь мою буря сломила.
Приучен давно я к труду и боям,
Не страшит меня грубая сила.
Дыханье ослабнет в дыму и в огне,
Но вырвется мысль на свободу,
Ни пыткой, ни словом не выжечь во мне
Верность стране и народу!
Вдруг стал недоступен мне город родной,
И юность ушла невозвратно . . .
Никогда не расстанусь с моею страной:
Прогонит — вернусь к ней обратно!
Эту кровную связь, эту крепкую нить
Нельзя разорвать, пока буду жить!

В первоначальный текст клятвы, составленный мною в одиночке, я мысленно, а потом, записывая на бумаге в лагере, внес небольшие стилистические поправки и одно важное изменение. В том тексте, который я читал самому себе в камере, еще подумывая о том, чтобы прочесть клятву следователю, последние две строки

третьей строфы звучали так: «Ни *силой,* ни словом не выжечь во мне верность *вождю* и народу». Таким образом даже в стихотворении, которое я читал самому себе без надежды его записать, но, правда, собираясь его прочесть следователю, я не решался произнести зловещее слово «пытки», и даже после пыток клялся в верности зловещему «вождю».

Я пишу об этом сейчас почти с таким же чувством неловкости, с каким в предыдущей главе писал об унижениях, причиненных мне палачами. Но полагаю, что я должен и это свидетельство внести в записки для потомков, так как оно характеризует не только мою психологию тех лет, но психологию значительной прослойки советских граждан, целое поколение. (Сталкиваясь уже в шестидесятых годах с тупой и упрямой приверженностью к «культу личности Сталина», я порой сдерживаю свое негодование: если жертвы сталинского террора, в сталинских застенках и лагерях не освобождались окончательно от рабской преданности внушенной им официальной догме, то какова же должна быть сила инерции и скованности догмой в людях, остававшихся на свободе и праздновавших победу в войне при правлении диктатора? Я делаю эти замечания в записках о *прошлом,* но я отнюдь не считаю возможным в *настоящее время* относиться снисходительно даже к тем, кто по слабости не отдает себе отчета во всем происшедшем, а тем более к тем, кто лицемерно и со злыми намерениями стремится скрыть от современников и от будущих поколений подлинный характер режима кровавого произвола, власти диктатора и пагубных последствий порочной системы).

Естественно и бесспорно то, что идейный и невинный человек, патриот брошенный в тюрьму, дал клятву верности родине и народу. Но тлетворное влияние сталинского режима сказалось в том, что мыслящий человек, сам ставший жертвой произвола и знавший, что сталинскими подручными уничтожены тысячи невинных людей, все же мысленно давал заверения в поли-

тической лойяльности сталинскому режиму, несправедливому и губительному для народа. Стараясь быть до конца точным и самокритичным, я должен констатировать, что моя твердость в защите своей невиновности и мой решительный отказ дать какие-либо лживые показания, оклеветать кого-либо, это мое мужественное поведение во время «пристрастного» следствия, еще не исключает того, что оказавшись неожиданно на свободе, я все же добровольно, не по принуждению, оставался бы послушным слугой режима.

От психологии преданного чиновника и догматика я постепенно освобождался по мере того, как моя мысль становилась свободнее в раздумьях и строгих размышлениях, которые составляли содержание моей духовной жизни в тюрьмах и лагерях. В некотором смысле я просто возвращался к вольнолюбивым взглядам и к творческому критическому мировоззрению, присущему мне в молодости, да и вообще до того, как я «наступил на горло собственной песне». Поэтому я и назвал мое повествование об этом периоде своей жизни: «Катастрофа и второе рождение».

ГЛАВА V

ПО ЗМЕИНОЙ ТРОПЕ

1. Допросы; «документация»

Несмотря на то, что одиночка является самой концентрированной и ощутимой формой изоляции человека от общества и мира, пребывание в такой подлинной темнице превратилось для меня в передышку. Мне удалось не сосредоточивать свое внимание на непосредственных опасностях, подстерегавших меня за порогом камеры. Я продолжал жить в мире идей. «И во мраке мне думать просторно», говорилось в стихотворении, сложенном мною вслед за «Клятвой».

В тюремной камере я размышлял и не испытывал страха. Но как только меня снова вызвали на допрос, меня охватил животный страх. Конечно, у меня были все основания бояться новых допросов: я уже знал, как трудно выдержать истязания, и понимал, что моя сопротивляемость ослабела, особенно из-за того, что многочисленные рубцы еще не затянулись.

Страх перед пытками, а тем более перед возможностью повторения пыток — деморализующий фактор, не менее опасный чем самые избиения. (Я говорю не о слабых и трусливых, заранее готовых к капитуляции или пособничеству палачам, а об опасностях, угрожавших тем, кто намерен был сопротивляться). Пытки лишают человека физических сил и он в прямом смысле этого слова может потерять способность к сопротивлению и обессиленный падает в пропасть, уготованную палачами. Между тем страх перед пытками не лишал человека сил, но убивал его волю. Страх перед неизбежностью капитуляции в результате пыток толкал на

судорожные поиски мнимых путей к спасению и несчастный сам выбирал путь к гибели.

Известен опыт с дикими зайцами: помещенные в клетку, рядом с которой день и ночь лаяли и выли псы, зайцы умирали от «страха», хотя собаки им не причиняли вреда... Когда подследственный слышал как в соседней комнате вопят избиваемые, когда он слышал рассказы о более страшных тюрьмах, чем та, в которой он находился (а это были правдивые рассказы), когда следователь угрожал бросить в карцер (и это была реальная угроза), когда заключенный видел следы истязаний на своем соседе, — он порой терял самообладание не в меньшей степени, чем если бы его самого уже подвергли пыткам. А страх перед расстрелом без суда!..

Итак, после паузы меня в июне 1939 года вырвали на допрос, и я с ужасом ждал повторения истязаний. Первое впечатление как будто подтвердило мои опасения. Сидя в пустой комнате в ожидании следователя, я обнаружил, что потолок и стены обиты войлоком, звуконепроницаемым материалом. Значит, приняты меры к тому, чтобы происходящее в комнате не было слышно в коридоре. Я оцепенел. Съежившись на стуле в углу комнаты, я ждал появления следователей-палачей. Однако, мне пришла на помощь счастливая ассоциация. Разглядывая обивку стен, я вспомнил, как в двадцатых годах, возглавляя охрану труда... в Народном комиссариате иностранных дел, я добился, чтобы стены машинных бюро были обиты материалом, глушащим звуки; позднее это стало обычным делом. Тут я сообразил, что нахожусь в стандартном помещении машинного бюро. По каким-то причинам оно временно превращено в кабинет следователя. Эта мысль помогла мне овладеть паническим состоянием, возникшим по случайному поводу. Механизм самоконтроля был пущен в ход.

Наконец явился следователь и с озабоченным деловым видом уселся за письменный стол. Передо мною было совершенно новое лицо. Я конечно не мог за-

помнить лица всех участников предыдущих дневных и ночных бдений, но у меня не возникало сомнений, что с этим старшим лейтенантом я встретился в первый раз.

Следователь Романов производил впечатление квалифицированного, хотя и не очень культурного человека, хорошо знакомого, если не с юриспруденцией, то во всяком случае с формами и правилами делопроизводства; он походил на военного интенданта средней руки. Худощавое лицо в чуть заметных рябинах не было неприятным, но вследствие нервного тика ноздря удлиненного носа часто подергивалась, а время от времени подергивался и глаз. Дело происходило до войны, трудно было отбросить мысль, что следователь расстроил свою нервную систему участием в специфических операциях следственного аппарата... Но я старался не замечать нервный тик у моего следователя подобно тому, как он делал вид, что не замечает кровоподтеки на лице у подследственного. (Эти кровоподтеки на лице я впервые обнаружил только к концу второго месяца пребывания в тюрьме, когда конвоиры, избегая недозволенной встречи, втолкнули меня на минуту в следовательский туалет и я оказался перед зеркалом).

С первой минуты Романов повел себя так, как если бы он лишь начинал следствие по моему делу и до его встречи со мной никто моим делом не занимался. Я со своей стороны также не упоминал о том, что происходило до передачи дела Романову. Некоторое время между нами как бы существовала молчаливая договоренность. Я надеялся в спокойной обстановке выяснить намерения следователя и не давать повода для возобновления пыток. Следователю такая «договоренность» была удобна. Вероятно, ему было поручено в спокойных условиях предъявить мне клеветнические показания, получить ответы на ряд вопросов и, очевидно, выяснить, какова будет моя реакция, узнать, «что можно от меня получить». А может быть, эти допросы должны были просто-напросто заполнить паузу, пока «наверху» решалась судьба М. М. Литвинова и его ближайших со-

трудников. Во всяком случае в июне 1939 года еще продолжалась подготовка «дела Литвинова». Это видно из того, что следователь в июне еще объяснял мне, что если бы я дал показания, то мог бы сыграть важную роль в большом процессе, и тем самым, оказавшись в привилегированном положении, якобы спас бы свою жизнь. Фамилия Литвинова уже не называлась, но смысл намеков был абсолютно ясен.

Каковы бы ни были в этот период намерения тех, кто направлял дело и давал директивы следователю, я во всяком случае заблуждался, когда думал, что, воздерживаясь от упоминания о предыдущем этапе следствия и от протестов, предотвращаю возобновление пыток. Кобулов и другие палачи не нуждались в поводах: они применяли пытки, когда им это было нужно и когда это соответствовало принятым у них «правилам игры» (законов не было, но какие-то правила, видимо, существовали).

Насколько я помню, следователь начал серию допросов с формальных моментов, анкеты и т. п. В такой-то степени он повторил то, что уже проделал Кобулов при первой встрече. Затем он предъявил мне ордер на арест; он был подписан лично Берией и завизирован Вышинским. Эти подписи обязывали любого работника прокуратуры и следственной части к тому, чтобы рассматривать меня как изобличенного крупного преступника. Кажется, я тогда не понял рокового значения этого факта. Я говорю «кажется», потому что теперь мне самому представляется неправдоподобной моя наивность. Сидя в одиночке, я подсчитал, что скоро истекут два месяца, срок, который, как я смутно помнил, установлен для предварительного следствия. Поэтому, когда меня вызвали на допрос, и следователь заявился чисто формальной стороной дела, в душе у меня затеплилась надежда, что, убедившись в моей невиновности, и в том, что даже пытками от меня нельзя получить ложные показания, руководители следствия оформляют его окончание... На самом деле, как я позже понял,

формальности были связаны с тем, что предыдущий этап мог и не быть отражен в следственном деле; оно могло быть построено так, словно я до июня просидел без допросов, пока моим делом не занялся старший лейтенант Романов. Это предположение подтверждается тем, что, предъявив мне некоторые показания, следователь ровно через 10 дней после того как он меня вызвал впервые, предъявил мне и обвинение. Получалось, что уголовно-процессуальный кодекс был соблюден, если . . . если игнорировать все, что происходило в течение первых недель моего пребывания во внутренней тюрьме.

Эти детали имеют значение с той общей точки зрения, из которой я исхожу в моих записках: помочь разобраться в том, как «это происходило». Наступит время, когда историки все же примутся за исследование страшных дел, творившихся в застенках сталинского режима, будут изучать и канцелярские дела. Кажется, на них имеется надпись: «хранить вечно». Но хранятся ли «вечно» глубоко засекреченные подлинные дела людей, объявленных в годы репрессий государственными преступниками? Мне известно, что *тюремные* дела некоторых осужденных бывали подложными или во всяком случае зашифрованными, и когда несчастные умирали в изоляторах или в особых лагерях, там не знали, кто именно умер . . . В течение столетий воображение людей было занято тайной «Железной маски» в темнице Людовика XIV, но во времена Сталина в тюрьмах томились и погибали тысячи «железных масок».

Впрочем, здесь я веду речь о «бумажных масках», о фальсифицированных делах, о составлении параллельных дел. Я, например, никогда не видел моего подлинного дела, или, если угодно, моего сфальсифицированного дела, направленного в суд. Но об этом позже, ведь мой рассказ еще не вышел за пределы первого этапа следствия.

Соблюдая какие-то формальные правила, следователь

прежде всего зачел мне те полученные против меня показания, которые были включены в справку, послужившую основанием для выдачи ордера на арест. Он мне этого не говорил и документа в руки не давал, но у меня сложилось на этот счет определенное мнение, так как я имел возможность, когда Романов вышел из кабинета, прочесть значительную часть документа. Вероятно это входило в намерения следователя, вначале рассчитывавшего на основе своего опыта в других случаях, что я стану приспосабливать свои ответы к тому, что я прочел. На сей раз он просчитался.

Документ, лежавший на столе у следователя, был напечатан на такой же высококачественной бумаге, как и фальшивка под названием «протокол допроса от 15-16 мая», о которой я говорил в главе о пытках. Это был документ, предназначенный для «высшей инстанции». Он не был озаглавлен и несомненно был составлен по какой-то стандартной форме. Сверху крупно была обозначена моя фамилия, указана занимаемая должность и была лишь одна дополнительная пометка: «сын Парвуса». Далее, без всякого вступительного или объяснительного текста с красной строки следовало: «такой то (фамилия и кажется бывшая должность давшего показания) показал . . .» Затем с красной строки снова: «такой то . . . показал».

В документе, послужившем формальным обоснованием для выдачи ордера на мой арест, не было ни одного «показания», которое содержало бы какую-либо конкретизацию облыжного утверждения о моей мнимой причастности к антисоветской деятельности. Вместе с тем, как позднее я мог обнаружить, в этот документ были включены не все «показания», которые ко времени ареста были подготовлены фальсификаторами и палачами. Я не мог объяснить себе, почему некоторые показания были использованы при оформлении решения о моем аресте, а другие нет. Все эти частности не имели никакого значения для тех, кто принял решение об изъятии меня из жизни. (Очевидно, мою судьбу

решали Берия и Молотов, возможно, что санкцию дал Сталин. Возможно, что справка с «показаниями» была составлена уже после принятия решения об аресте. К тому же по существовавшим тогда правилам для ареста советского гражданина достаточно было двух клеветнических показаний любого содержания).

Лишь одно «показание», включенное в документ для «высшего руководства» было недавнего происхождения и относительно подробным. То было «показание» бывшего советника и поверенного в делах во Франции Е. В. Гиршфельда. Уволенный из НКИД, кажется, в конце 1938 года, он был арестован в ночь на 1 мая 1939 года, о чем мне тогда кто-то рассказал. Чудовищные показания Гиршфельда были датированы 1 мая. Меня арестовали в ночь на 11 мая. Гиршфельд, происходивший из семьи революционеров-большевиков, детство провел за границей, в эмигрантской среде, а после Октября, как я себе представляю, уже в силу родственных и приятельских связей, был своим человеком и доверенным лицом в среде старых революционеров, возглавивших государство. Я не был с ним близко знаком, но часто встречался с ним по работе и пару раз у общих знакомых. Это был милейший человек, умница, доброжелательный, всегда живо заинтересованный своей работой. Таков он был, когда еще юношей заведывал Иностранным отделом Наркомата почт и телеграфа (Наркомпочтель). С большим увлечением он работал во Франции. Помню остроумные рассказы Евгения Владимировича о том, как он спорил с лидером правых социалистов и французским премьером Блюмом, стараясь его убедить в необходимости оказать помощь республиканской Испании. Гиршфельд был подлинно идейным человеком, преданным делу антифашистской борьбы и интересам советского государства. Я никогда не замечал за ним черт карьеризма, и никогда не слышал, чтобы ему приписывали такие черты.

Совершенно не важно, давал ли бедняга Гиршфельд сам свои показания, не выдержав пыток, или их просто

сочинил следователь. Этот документ, в конечном счете, характеризовал только намерения Берии и его подручных. На полутора страницах рассказывалось, будто я остался после ареста Крестинского «главой всей антисоветской организации в НКИД» и в качестве такого «руководящего лица» давал инструкции Гиршфельду. Никаких подробностей не было, но была одна фактическая деталь, почерпнутая от самого Гиршфельда. Дело в том, что мы с Гиршфельдом за два года моего пребывания на должности заведующего Отделом печати виделись один раз; он уже не был работником НКИД, вероятно, нуждался в заработке и обратился ко мне с просьбой разрешить ему читать иностранные журналы в библиотеке НКИД, чтобы заниматься журналистикой. Хотя я знал, что он «в опале» я принял его и дал разрешение. Вот эта встреча и фигурировала в «показаниях» как «встреча заговорщиков». Почему мы раньше не встречались, почему встретились именно у меня в кабинете, ведь для этого я должен был выдать пропуск через секретаршу (не она ли зарегистрировала визит?). Почему позже не встречались? Почему не встретились за пределами НКИД, на частной квартире? Все эти естественные вопросы, конечно, оставались без ответа. Да они и не интересовали следователя. У палачей, пытавших Е. В. Гиршфельда, как и у тех, кто пытал меня, была одна и та же задача: любым способом опорочить еще находящихся на свободе или только что арестованных дипломатических работников и таким образом опорочить вместе с ними М. М. Литвинова. Последнее было, конечно, главной задачей или, выражаясь на языке режиссеров, «сверхзадачей».

Может быть у обер-палачей было подобие плана и они заранее решили связать имя М. М. Литвинова с делом Н. Н. Крестинского, несмотря на то, что Крестинский как раз был единственным обвиняемым, который на открытом процессе стойко защищал свою невиновность. Все же следователи могли подсказать своей жертве фантастический вымысел, будто именно я, близкий со-

трудник Литвинова, работая под началом М. М. Литвинова, был одновременно видным персонажем в антисоветской организации. Однако, скорей всего у палачей и не было заранее подготовленной концепции, а бредовая мысль о том, чтобы именно мне приписать важную роль в вымышленном кругу заговорщиков родилась в какие-то мрачные предрассветные часы у потерявшей голову несчастной жертвы или у исступленных палачей.

Как бы то ни было, 1 мая 1939 года, когда М. М. Литвинов, предполагая, что будет вскоре объявлено о его отставке, демонстрировал присутствовавшим на Красной площади, а тем самым всему миру, что он на свободе, а я, не зная о предстоящей отставке Максима Максимовича, стоял на дипломатической трибуне и наслаждался зрелищем парада, — в «большом доме» на площади Дзержинского уже накапливались клеветнические показания против М. М. Литвинова и его сотрудников. Шла лихорадочная подготовка «дела врагов народа в НКИД». Однако такое «дело», а тем более судебный процесс, сфабриковать не удалось, но погибло много невинных людей.

«Показания» Е. В. Гиршфельда не только вызвали мое крайнее возмущение, но и изумили меня. Не могу сказать, что̀ меня больше удивило: дикая и оскорбительная версия о моей мнимой преступной деятельности или то, что мне приписали столь «видную роль» и влияние в призрачном мире, созданном фантазией палачей и их жертв. Хотя я и привык, выполняя служебные обязанности, мыслить и действовать самостоятельно, все же я никогда не считал себя принадлежащим к руководящему ядру НКИД. Теперь в тюрьме у меня возникли совершенно неуместные тщеславные мысли: а может быть мое положение в аппарате НКИД было значительнее, чем я сам понимал, и это отразилось на характере клеветы по моему адресу? Казалось бы, об этой игре мелких чувств можно было бы и не упоминать. Нет, это существенный момент. В такой обстановке, где факты не имели никакого значения, порой

просто отсутствовали, а дурное воображение поощрялось, огромную роль играли мелкие и низменные чувства, тщеславие, зависть, ложное честолюбие, мстительность. Иногда люди приписывали себе крупную роль в придуманной ими же антисоветской организации, думая, что этим вызовут к себе уважение и это пойдет им на пользу. Именно такую мысль мне подсказывал следователь.

Я не попался в этот капкан. Я решительно опровергал «показания» Е. В. Гиршфельда, указывая на их нелепость, как в фактической части, относящейся к нашим с ним встречам, так и в части, содержавшей бредовые измышления на тему о моей антисоветской деятельности. Следователь записывал то, что я говорил. В тот период мне еще не давали возможности в протоколе в письменной форме зафиксировать свои отрицательные ответы. Тем не менее, на той стадии следствия было достаточно существенным и то, что следователю не удалось получить от меня в какой бы то ни было форме подтверждение показаний замученного и позднее трагически погибшего Е. В. Гиршфельда.

Подробного комментария заслуживает включенная в справку для оформления моего ареста краткая выписка из «сочинений» С. А. Бессонова. На открытом процессе Бухарина, Крестинского, Рыкова и других виднейших деятелей советского государства, организованном в марте 1938 года, С. А. Бессонов выступал в роли главного свидетеля обвинения. Нет сомнений, что находясь под следствием, он написал томы, тем более, что превосходно владел пером. Поэтому я и говорю о его «сочинениях».

Среди несчастных людей, дававших показания на открытых процессах, С. А. Бессонов, к сожалению, выделяется как по особой значительности сыгранной им роли, так и по особой обстоятельности и внешней «складности» своих показаний. Сказанное вовсе не означает, что ему и его следователям удалось составить документы удачно скомпанованные и лишенные явных внутренних противоречий, не говоря уже о полном

противоречии действительности. Я сам в качестве заведующего Отделом печати НКИД СССР, присутствуя на процессе вместе с подведомственными мне иностранными корреспондентами, заметил противоречия в легенде, которую излагал на суде С. А. Бессонов; иностранные журналисты в своих сообщениях смаковали обнаруженные ими несуразности. Я отметил это в сводке телеграмм, прошедших через цензуру, которая посылалась членам Политбюро. Встретив в секретариате суда Вышинского, я счел нужным ему лично сказать, что иностранные корреспонденты сообщили своим редакциям о противоречивости и недостоверности показаний Бессонова. Прокурор, с высокой трибуны клеймивший «врагов народа», ответил мне чисто деловым образом: «Хорошо, я переговорю с Сергеем Алексеевичем», — так уважительно прокурор отзывался о главном обвиняемом . . .

Теперь я в тюрьме получил возможность на собственном печальном опыте убедиться, что в показаниях Бессонова «были противоречия с действительностью». Но на сей раз я не имел возможности попросить прокурора СССР А. Я. Вышинского по этому поводу «переговорить с Сергеем Алексеевичем». Дело Бессонова было закрыто, а мое только открылось на основании ордера, подписанного тем же Вышинским . . .

В отличие от Е. В. Гиршфельда, который наверно давал свои показания в полубредовом состоянии, если вообще он их давал, С. А. Бессонов, как я себе представляю, владел собой и своим словом, когда составлял лживые показания, оговаривая себя и других. Но этим вовсе не исключается, что фактически Бессонов был вынужден играть порученную ему роль, лишь потому что не выдержал пыток.

Возможно, что будущий историк сосредоточит свое внимание на зловещей роли С. А. Бессонова на суде, но я не в состоянии рассматривать его просто как со-

участника палачей, я и в нем вижу жертву палачей[1].

Мое знакомство с С. А. Бессоновым относится к 1935-1937 гг., когда я был первым секретарем посольства СССР в Берлине, а он советником посольства. У нас были сложные отношения, корректные, почти дружеские, по временам более теплые, а по временам сухие, почти недоброжелательные. Он был недобрым человеком, но лишь в том смысле, что не делал добра и не считался с личными чувствами в своей государственной и политической работе. У меня есть некоторые основания предполагать, что он, находясь в Берлине, посылал через голову посла информацию В. М. Молотову. А между тем было немало примеров того, что люди, выполнявшие доверительные поручения Молотова, изымались из жизни, то ли при содействии Молотова, то ли ему самому «в поучение». В общем талантливый, умный и образованный человек, каким несомненно был С. А. Бессонов, вошел в слишком тесный контакт с государственной адской машиной, и она его испепелила.

В силу ли некоторой симпатии ко мне, потому ли, что в то время, когда готовился процесс, на котором Бессонов должен был выступить в качестве помощника обвинения, моя персона следователей не интересовала, но фактом является, что Бессонов меня пожалел. В отношении меня он ограничился лишь выполнением той обязанности, которую, вероятно, должен был выполнить в отношении большинства сослуживцев и знакомых: он назвал и меня соучастником вымышленных преступлений. Но тут же смягчил свои, правда, доста-

1) В ноябре 1963 года семья С. А. Бессонова возбудила ходатайство о его реабилитации и обратилась ко мне с просьбой дать о Бессонове положительный отзыв. Родные Бессонова помнили, что я в посольстве СССР в Берлине работал вместе с С. А. Бессоновым; вместе с тем они не подозревали, что он и на меня дал показания. Я вручил вдове Бессонова отзыв, в котором в частности говорилось: «Бессонов был высокообразованным марксистом, постоянно работал над углублением своих знаний и стремился их применить на пользу социалистической родине ... Тов. Бессонов действовал в гитлеровской Германии как настоящий советский дипломат, убежденный антифашист и патриот советской страны». С. А. Бессонов посмертно реабилитирован. (На процессе он был присужден к десяти годам лагеря, и там скончался).

точно определенные заявления. Когда я прибыл в Берлин на свой пост, — показал Бессонов, — ему будто было уже известно, что в редакции «Известий» я был «связан нелегально» с Бухариным и Радеком, и поэтому он, Бессонов, конечно (так и было сказано — «конечно»), сразу установил со мною такую же «преступную связь». Однако далее Бессонов добавил: «Но Гнедин был робок и ни в чем не участвовал». Возможно, что этой оговоркой Бессонов спас мне жизнь. Если бы он был категоричнее в своих измышлениях по моему адресу, и вообще если бы меня включили в группу лиц, арестованных по делу участников открытого процесса 1938 года, я, вероятно, был бы тогда же уничтожен вместе с ними.

Только оказавшись в тюрьме, в 1939 году, я мог оценить значение той чуть уловимой улыбки, которая мелькнула на лице С. А. Бессонова, когда в марте 1938 года он, сидя на скамье подсудимых, увидел меня среди журналистов, присутствовавших в Октябрьском зале Дома Союзов, где заседал суд. Ему было приятно, что его лживые показания не погубили меня. Встретив мой негодующий взгляд (роль Бессонова на процессе, естественно, вызвала возмущение), он отвернулся, наверно, подумав: «Ничего еще не знает, еще ничего не понял».

Узнав в тюрьме о показаниях С. А. Бессонова и испытав на себе методы следствия, я сумел также себе объяснить, почему с такой явной злобой, хищно смотрел на меня в кулуарах суда худой человек с ястребиным лицом и воспаленными глазами, о котором мне стало известно со слов моего заместителя, что он — следователь по делу Бессонова. Впрочем, когда я и мой заместитель попали в лапы палачей во времена Берия, этот следователь, выполнявший доверенные поручения при Ежове, вероятно, сам тоже сидел в одной из камер Внутренней тюрьмы.

В прочитанной мне следователем справке было еще несколько выписок из протоколов показаний разных работников НКИД, давно арестованных, но они были совсем туманными и обрывочными. Все они были го-

дичной и даже большей давности. Снова возникал вопрос: почему эти старые показания не послужили раньше поводом для моего ареста?

После того, как я решительно опроверг все наветы, в том числе и показания, послужившие формальным обоснованием для моего ареста, снова забрезжила надежда, что мое дело примет, хотя бы относительно, более благоприятный оборот. Размышляя в камере, я даже вспомнил свою первоначальную утешительную гипотезу: меня проверяют и убедятся в моей невиновности, руководители следствия поймут, что я им не нужен.

Как же тяжко было мне, когда следователь ознакомил меня с формулой обвинения! Через несколько дней после бесплодного допроса по поводу показаний, включенных в «документ для высшей инстанции», следователь предъявил мне грозный документ: мне было объявлено, что я привлечен к уголовной ответственности по статье 58-1а Уголовного кодекса, то есть, обвинен в государственной измене; осужденные по этой статье, как правило подлежали расстрелу.

Это был страшный час моей жизни и не столько потому, что я оценил угрожавшую мне опасность, а потому, что я понял: мое государство окончательно отвернулось от меня, своего ни в чем неповинного и верного слуги.

Уже не помню точно, что именно я сказал следователю после того, как поставил свою подпись на бланке, содержавшем формулу страшного обвинения. Я растерялся, но внешне владел собой. Во всяком случае, в первой реакции преобладало чувство удивления и даже обиды. Кажется, в этот момент я не стал опять доказывать свою невиновность, и не почувствовал испуга, я просто выразил свое крайнее негодование. Следователь, в свою очередь, не комментировал обвинение и не сопровождал его угрозами. Он вступил со мной в беседу. С нескрываемым любопытством он спросил: «А чего вы ожидали?» Я ответил, что считал неизбежным обвине-

ние в халатности или в упущениях по службе, раз уж меня посадили в тюрьму. Помнится, я просто сказал то, что думал в эту минуту. Но мой ответ отражал позицию, которую я занимал на том этапе следствия: я решительно отвергал предъявляемые обвинения как нечто абсурдное, явно нереальное, но готов был согласиться, что невольно совершил какие-то проступки, из-за чего и лишился доверия правительства. Казалось бы, следователь, предъявивший от имени высшей власти столь тяжкое обвинение, должен был возмутиться по поводу того, что государственный преступник называет свои действия упущением по службе. Но Романов продолжал мирную беседу; он пожал плечами и высказался в том смысле, что при сложившихся обстоятельствах нельзя было ожидать иной формулировки обвинения.

После этого следователь со своим обычным невозмутимым и деловым видом раскрыл папку и приступил к работе: прочел мне очередное клеветническое показание.

Здесь я должен напомнить читателю: необходимо различать то время, о котором я рассказываю, от того времени, когда я пишу. Так, например, в 1939 году я считал, что Бессонов, ссылаясь на мою «робость», спас меня от немедленного ареста. Теперь я знаю, что в те годы случай и произвол играли огромную роль. В 1937 или 1938 году клеветнические показания не привели к моему аресту, а в 1939 году ими воспользовались для мотивировки приказа об аресте, когда подготовлялся поворот во внешней политике.

Точно так же теперь я понимаю, что обвинение на основании статьи 58-1а было обычным актом беззакония и даже чисто бюрократической акцией подручных Сталина и Берии. Но в то время, о котором я пишу, я воспринял обвинение в государственной измене как несправедливый и тяжелый удар, нанесенный мне от имени моего государства.

ГЛАВА VI

ПО ЗМЕИНОЙ ТРОПЕ

2. Допросы и подлоги. Победа

Я стал лучше разбираться в том, что со мной произошло и происходит, и чего мне следует ожидать в дальнейшем, когда я узнал о трагическом опыте других жертв репрессий, находившихся под следствием. Правда, эти встречи могли повергнуть в смятение.

Меня перевели в общую камеру в середине 1939 года. Впечатления, полученные в тюремной камере, я обрисую лишь в тех рамках, в каких это необходимо для выполнения моей главной задачи: рассказ о самом следственном процессе.

Переход в новую камеру произошел при несколько драматических обстоятельствах. По крайней мере я так их воспринял. Ночью в мою камеру ворвалось три человека и потребовали, чтобы я немедленно собрал вещи и покинул камеру. Они действовали с лихорадочной поспешностью. Я схватил в охапку свою одежду (меня подняли с постели), вложил в узел и книги из тюремной библиотеки, чего не должен был делать, и вышел в коридор. Тут конвойные меня подхватили и быстро поволокли в лифт и на одном из нижних этажей ввели меня в коридор, где на повороте втолкнули меня в узкую каморку с вделанной в пол скамеечкой у задней стены. Это был обычный тюремный «бокс», временное помещение для заключенных. Но я тогда не знал и решил, что меня перевели в карцер и начинается новый этап пыток. В ту ночь над Москвой бушевала сильная гроза, я сидел в полудреме на скамейке и прислушивался к далеким раскатам грома. Во сне или наяву, в

бредовом состоянии, мне мерещилось, что гроза вызвала тревогу во всем здании, а с нею связаны и перемены в моей судьбе.

Когда мне утром принесли еду, я спросил тюремщика, где я нахожусь, и буду ли здесь находиться постоянно. Он ничего не ответил, да ему и незачем было отвечать. Сплошь да рядом заключенные находились в боксах, в ожидании дальнейшего направления, словно железнодорожные вагоны, загнанные в тупики. Позднее я понял, что незачем искать объяснение внутритюремным переброскам. Так, например, мой перевод в общую камеру мог и не быть связан с ходом моего дела, а с необходимостью немедленно выполнить приказ начальства поместить другого заключенного в одиночку.

К концу первых суток пребывания в боксе я был переведен в общую камеру на том же этаже. Там находилось два человека. Один из них, Михаил Борисович Кузениц, с которым мне пришлось пробыть вместе больше полугода в этой и следующей камере, позднее рассказывал мне, что его удивили при моем появлении два обстоятельства: то, что я вошел, улыбаясь, и то, что в узле, который я принес с собой, лежали не только мои вещи, но и книги. Я, действительно, сильно обрадовался, когда меня втолкнули в сравнительно светлое помещение, где находились люди. Я понял, что мое положение не ухудшилось, а улучшилось. К тому же, камера, в которую я попал, как и все обычные камеры на первых четырех этажах внутренней тюрьмы «всесоюзного значения» была много лучше, чем камера на пятом этаже, который, как я уже говорил, представлял собой надстройку.

Вероятно в литературе, опубликованной за пределами СССР, дано описание Внутренней тюрьмы СССР. Все же на всякий случай я скажу о ней несколько слов.

Внутренняя тюрьма ЧК-ОГПУ-НКВД СССР была расположена во внутреннем дворе огромного здания на площади Дзержинского (бывшая Лубянская площадь). В дореволюционные времена четырехэтажный дом во

дворе служил гостиницей для приезжавших в Москву по служебным делам агентов страхового общества «Россия», которому принадлежало все здание на Лубянке. К тому времени, когда я оказался в этой «гостинице», там сохранились в неприкосновенности превосходные паркетные полы (которые мы должны были регулярно натирать) и высокие окна (с двойными решетками и железными «козырьками», наружными ширмами, мешавшими видеть что-либо кроме клочка неба и верхних этажей здания, обрамляющего тюрьму). Воздуху было бы достаточно, если бы камеры не были обычно переполнены. Все койки были расположены изголовьями к окну и лампа, вделанная в стену над дверью, над «глазком», освещала ночью лица лежащих арестантов.

Во Внутренней тюрьме НКВД СССР в обычных камерах разрешалось днем не только лежать, но даже спать. Этим она выгодно отличалась от многих других тюрем. Но зато во Внутренней тюрьме (по крайней мере в мои времена) действовало одно правило, которого, кажется, не было ни в одной другой тюрьме. И днем и ночью было запрещено держать руки под одеялом или пальто, если им прикрывались. Как мне рассказывали, это правило было введено только в 1937 или 1938 году после того, как одному заключенному (бывшему сотруднику НКВД) удалось, спрятав руки под одеялом, перетереть вены кисти о железный край койки, вероятно каким-то образом предварительно отточенный. Редкий способ покушения на самоубийство!

Казалось бы запрет прятать руки под одеяло — маловажное ограничение. Между тем из-за этого запрета условия пребывания во Внутренней тюрьме становились гораздо тяжелее. Как только заключенный засыпал, он охладившиеся руки механически клал под одеяло, и тюремщик приоткрывал форточку двери с окриком: «Руки!» Между тем надзиратель открывал форточку и тогда, когда кого-либо вызывали на допрос. Всякое движение надзирателя у двери камеры, могущее предшествовать вызову на допрос, бросало в

дрожь заключенных. Поэтому, когда ночью кто-либо из нас нарушал «правило о руках», надзиратель часто ограничивался тем, что гремел ключем в замке. Этого было вполне достаточно, чтобы разбудить спящих. Таким образом каждую ночь, кроме частых вызовов на допрос, нас много раз будоражил тревожный звон ключей или звук отворяемой форточки. С бьющимся сердцем каждый приподымался на койке и беспокойно прислушивался: что дальше? Многие, конечно, уже не спали до самого подъема.

Но, разумеется, особо тягостным был не самый режим во Внутренней тюрьме, а то обстоятельство, что это была следственная тюрьма и при том подведомственная Следственной части НКВД СССР. Никто не знал, что его ждет, но все знали, что их ждут тяжкие испытания, и каждый понимал, что в любой час может решиться его судьба. Нельзя было предугадать, кто на очереди, но не было сомнений в том, что для каждого наступит час, когда загремит запор и будет названа его фамилия. Люди уходили из камеры в «никуда», на новые муки, а может быть и в небытие. Я уже говорил о роли страха перед пытками, страха перед допросами, страха при мысли, что повторится уже пережитый ужас или случится то, что было с другими. Высокая камера с паркетным полом во Внутренней тюрьме была рассадником такого деморализующего страха.

В той камере, в которую я попал из бокса, кроме меня было два человека. Вскоре я был переведен в камеру, где у меня бывало шестеро соседей, а то и больше; их состав постоянно менялся. Большинство сокамерников имело уже значительный стаж пребывания под следствием. Они рассказывали о встреченных ими людях и передавали их повествования. Таким образом, за несколько недель я усвоил опыт нескольких поколений подследственных и репрессированных граждан СССР. Недаром я как-то пошутил в камере, что мое пребывание в тюрьме, это — самая интересная командировка в моей жизни, только слишком затянувшаяся. Увы,

она длилась свыше шестнадцати лет, чего я не предвидел.

Не все услышанное мною в камере Внутренней тюрьмы было для меня новостью. Множество других трагических судеб и историй мне стало известно позднее. Но то, что я узнал в течение первых месяцев пребывания в тюрьме, навсегда запечатлелось у меня в памяти. Во всяком случае эти впечатления неотделимы от многих воспоминаний о самом следствии летом 1939 года.

Рассказы о расстрелах перемежались с повествованием о пытках, сырых подвалах, следственном конвейере. Передо мной раскрылась картина массового террора, вернее техника массовых репрессий и казней. Тогда я услышал рассказы о — теперь уже описанных в ряде мемуаров — переполненных камерах в Бутырской тюрьме, особенно в ежовские времена, когда новопоступивший заключенный в ожидании места на нарах ютился около параши, когда лежащие на нарах переворачивались с боку на бок по команде одновременно, так как каждый в отдельности не мог повернуться. Мне рассказали о жизни в камере, где старостой был бывший секретарь Московского Комитета партии Каминский. Еще яснее и страшнее становилась картина террора, когда я слушал жуткие повествования о переполненных камерах смертников, где осужденные ждали порой по много месяцев расстрела или замены расстрела пожизненным заключением. Для этих людей поворот ключа в замке, о котором я говорил, был вестником предстоящей казни. К технике массового террора относилась и система оформления дел без суда, смертные приговоры по спискам, выносившиеся «тройками», которые орудовали не только в масштабе государства, но в пределах союзной республики и области. Известно, что в состав этих троек входили — каждый раз на соответствующем уровне — представители карательных органов, прокуратуры и партийных организаций. (Кажется после 20-го съезда

в закрытом порядке произведена работа по изучению и подытоживанию чудовищной деятельности этих орудий беззакония, историки используют эти материалы, я же здесь говорю обо всем этом главным образом для того, чтобы воссоздать ту атмосферу, в которой находились жертвы массового террора, в частности в 1939 году).

Меня тогда поразили рассказы о бесстыдстве, с каким фабриковались лживые показания для расправы с людьми. Эти рассказы часто имели юмористический оттенок. Воистину, это был юмор висельников! Мне рассказали, как в кабинет следователя вошел один из заместителей Ежова, Заковский, и, заслушав рапорт следователя и отрицательный ответ на вопрос: «Показания дает?» ударил допрашиваемого по лицу. А это был вызванный в качестве свидетеля секретарь партийной организации завода... Ему уже не пришлось выйти из здания, куда его пригласили повесткой. Мне рассказывали о следователе ежовских времен, который сочинял показания по порученному ему делу, когда арестованный еще был на пути в тюрьму. Его весьма уважали начальник и сослуживцы. В одной из соседних камер сидел бывший близкий сотрудник Берии в Тбилиси. Его сосед, переведенный к нам, рассказывал, что попавший в немилость палач целыми днями шагал по камере, повязав голову полотенцем, и причитал по поводу причиненной ему обиды, жалобно и пространно рассказывал своим случайным соседям по камере, как он вместе с Кабуловым фабриковал дела по поручению Берии, так что совершенно непонятно, почему Кабулов — начальник следственной части, а он в заключении...

Моим предшественником по койке был, по словам соседей, бывший работник ежовского аппарата (лейтенант Зарифов), который рассказывал сокамерникам, что все сотрудники штаба Ежова, выбившие столько лживых показаний из своих жертв, сами дружно и беспрекословно составляли показания о своем мнимом заговоре и подготовке «центрального террористического

акта» (против Сталина). Они сочиняли о себе такие же чудовищные истории, какие занимали так много места в инсценированных ими же открытых процессах в 1937-1938 гг.

В одной из камер, где побывал мой сосед, сидел механик парохода, который, по его собственным словам, «записал весь пароход», то есть показал, что все члены экипажа были участниками антисоветской организации. В другой камере юноша, обвинявшийся в подготовке диверсий и террора, и вынужденный подтвердить это обвинение, приходил в слезах с допроса и советовался с соседями по камере, как ему удовлетворить требование следователя и назвать место «хранения динамита». Сокамерники коллективно обсуждали вопрос, какое место назвать, чтобы это было правдоподобно и вместе с тем, чтобы нельзя было удостовериться, что там . . . нет и не было динамита. Бывший секретарь горкома крупного промышленного города показал, что он саботировал строительство моста через железнодорожные пути, чтобы вызвать недовольство рабочих; между тем мост был построен, но тщетно позднее несчастный просил послать на место комиссию и удостовериться, что мост существует.

Один из основателей комсомола в период гражданской войны, а позже номенклатурный работник партийного аппарата (мне назвали его фамилию) был сломлен пытками и дал показания, порочившие не только его самого, но и деятелей областного масштаба. Придя в себя, он очень страдал, думал о содеянном, и ждал подходящей возможности для того, чтобы взять обратно свои показания. Такой случай представился, когда его вызвали на допрос в присутствии человека отрекомендировавшегося представителем ЦК. Он поспешно опроверг всю ту ложь, которая содержалась в его показаниях. Через несколько дней несчастного опять подвергли пыткам и он опять «подписал», как тогда было принято говорить. Дело происходило в областном центре. В дальнейшем этого человека перевезли в

Москву. Здесь с ним снова беседовало лицо, давшее понять, что делом интересуется ЦК. Сообразив, что в области была устроена инсценировка, чтобы запугать его и отбить охоту брать обратно показания в Москве, куда уже затребовали дело, несчастный все-таки собрался с духом и снова опроверг ложь и клевету. Каково же было его отчаянье, когда и в Москве его жестоко избили за то, что он осмелился говорить правду. Когда же позднее в третий раз с ним в присутствии следователя беседовал человек, также заявивший, что ЦК интересуется данным делом, бедняга подтвердил свои ложные показания. Вернувшись с допроса, он с ужасом пришел к выводу, что на этот раз человек, задававший ему вопросы и расположившийся в кресле в темном углу кабинета, был действительно один из секретарей ЦК (Андреев).

Рассказчик, поведавший мне этот страшный эпизод, сам горько плакал, возвращаясь с очередного допроса, плакал, потому что уже не был в состоянии сопротивляться, страдал, потому что сохранил и ясность мысли и чистоту сердца, но два года беспощадного следствия и тюремного заключения истощили его физические и нервные силы. Это был первый раздавленный человек, встреченный мною в застенке. Его лицо и тело казались почти прозрачными, он казался двухмерным силуэтом человека, хотя живость мысли, юмор и теплоту сердца М. Б. Кузениц сохранил.

В нашей камере находился еще один человек, сломленный пытками, но не вызывавший симпатии. Бывший секретарь Менжинского и бывший нарком внутренних дел Казахстана, еле передвигался, скрючившись и не отнимая рук от поясницы. Насколько я мог понять, он вел со следователем последнюю отчаянную борьбу (или торг), пытаясь избегнуть смертного приговора.

Таким образом, покинув одиночку, я вышел из замкнутого круга собственных испытаний. С каждым рассказом, с каждой новой встречей новые страшные

факты пополняли мой опыт. Весь этот тяжкий груз я нес с собой, идя на допрос.

Допросы в эти летние месяцы происходили, как я уже сказал, без физических страданий и оскорблений. Следователь даже делал вид, что относится ко мне человечно; однажды, когда он оставил меня одного, я подошел к окну и увидел расстилавшуюся внизу площадь Дзержинского. На мгновенье мелькнула мысль: не разбить ли стекло и выброситься из окна? Но это не входило в мои намерения, да к тому же я был зачарован зрелищем свободной жизни: какие-то люди здоровались и расходились в разные стороны, пробегали девушки и дети, я упивался игрой света и яркостью красок, волшебной картиной, какая может лишь присниться узнику. Вдруг раздался тихий голос старшего лейтенанта Романова: «Что, Гнедин, тяжело?» — «Тяжело живому человеку взаперти», несколько сбивчиво ответил я, увидев совсем близко подергивающееся от тика лицо следователя, обычно сидевшего в отдалении.

Была ли реплика следователя проявлением человеческих чувств? Ведь таким же мягким голосом, каким он спросил: «Тяжело?» и, может быть, в тот же день, следователь спросил меня: «Вы деньги получали?» на что я простодушно ответствовал: «Нет еще, но надеюсь получить». Лицо следователя изобразило удивление и даже смущение: я думал, что он спрашивает, получил ли я перевод денег на тюремную лавочку, а он, оказывается, поддерживая версию обвинения, вопрошал, получал ли я деньги «за антисоветскую работу». Мой ответ лишил его охоты повторять подобные вопросы, к тому же он, вероятно, задавая наглый и нелепый вопрос, лишь формально выполнял данное ему поручение.

Достоин внимания еще один прием, употребленный старшим лейтенантом Романовым. Однажды, выйдя из комнаты и догадываясь, что я в его отсутствие загляну (со всеми предосторожностями) в бумаги, лежащие на его столе, он там оставил донос, полученный после мое-

го ареста. Это было заявление какого-то сотрудника иностранного отдела редакции «Известий»; доносчик, как я успел прочесть, сообщал в связи с моим арестом, что я был в дружбе с тогдашним замредактора «Известий» Я. Г. Селихом. Я не разобрал подписи (ведь я читал поспешно, склонившись над столом), но заметил номер служебного телефона, указанного вслед за подписью.

Это был один из номеров иностранного отдела, но не из тех, которые мне были известны, то-есть не кабинета заведующего отделом и не комнаты дежурных по номеру или переводчиков. У меня возникли предположения (и остались в силе) относительно того, кто мог быть автором доноса, но я не называю фамилии, так как не располагаю точными доказательствами.

Разумеется, после того, как я прочитал этот донос, я стал внимательно следить за тем, чтобы даже случайно, отвечая на вопросы, не упомянуть Я. Г. Селиха.

Наедине с самим собой я попробовал представить себе, какую легенду можно было бы сочинить, откликаясь на явственную подсказку следователя. Эта мрачная игра воображения способна служить «моделью» для понимания того, как в иных случаях зарождалась столь частая тогда цепная реакция оговоров. Селих был очень близок к Ворошилову, я был близким сотрудником Литвинова. Лежа на койке в камере, я забавлялся, воображая, какую бы сенсацию я вызвал, если бы изложил следователю фантастическую версию, будто я и Селих были связаными «в совместных антиправительственных замыслах» Ворошилова и Литвинова». Конечно, Берия и его штаб непременно завели бы новое, многообещающее дело, я стал бы привилегированным заключенным, пока бы меня тайно не расстреляли, либо как «соучастника крупного заговора», либо как опасного «свидетеля», сыгравшего свою роль.

Повторяю, сочинив в камере наедине эту историю и рассказав здесь о своей выдумке наедине, я сконструировал модель, помогающую понять как в иных случаях

обрастали чудовищными подробностями (и сопровождались чудовищными репрессиями) следственные дела и процессы. Эта сконструированная в моем воображении модель может облегчить ответ на вопрос, который и теперь задают, когда идет речь о методах и загадках периода сталинского террора: если произвол ни в чем не был ограничен и если сплошь да рядом фабриковались фальшивки, зачем же вымогали собственноручные показания и зачем нужны были пытки для их получения? Безусловно, отвечая на этот вопрос надо было бы рассмотреть всю систему сталинской внутренней политики, историю его борьбы с противниками и т. п. Но в рамках моего рассказа я ограничиваюсь тем, что на примере придуманной «модели» демонстрирую, что следователи и палачи нуждались в показаниях арестованных как в информационном материале и нуждались в соучастии своих жертв, хотя бы уже потому, что жертвы были осведомленнее и сообразительнее нежели палачи. Страшное дело — союз жертвы с палачом!

А сейчас обращусь к светлым мгновениям, выпавшим на мою долю в тот период, о котором я здесь повествую.

Важнейшим событием лета 1939 года было то, что следователь, хоть и не прямо, а косвенно, сообщил мне успокоительные сведения о моей семье. Я узнал от него, что жена затребовала и получила изъятые при обыске рукописи, принадлежавшие редакции журнала «Интернациональная литература», где она работала. Следователь Романов совершил подлинно гуманный поступок, показав мне заявление жены, из которого, правда, я понял, что опечатаны две комнаты в нашей квартире. На мои взволнованные вопросы следователь отвечал: «*Мы* у вас комнат не занимали». Ударение делалось на слове «мы», и он говорил правду. Как я узнал через много лет, мою семью уплотнили не представители НКВД, а негодяи из окружения Молотова, хотя НКИД не имел никаких прав на эту квартиру.

В этот страшный период нашей жизни, в условиях

самой мучительной и безотрадной разлуки, нас с женой связывала не только «сердечная нить» (как называли мы в юности это подаренное нам судьбой родство душ), но и свойственный нам обоим идеализм (не знаю, каким эпитетом сопроводить это слово: спасительный, опасный, наивный, упрямый, мужественный?). Во всяком случае благодаря непреклонному идеализму и мужеству моей жены летом 1939 года совершилось чудо. Это произошло во время тягостных для меня допросов. Я сидел, как всегда, на стуле в дальнем углу кабинета следователя; зазвонил телефон; подняв трубку, лейтенант Романов привычно назвал свою фамилию; когда же ему задали по телефону какой-то вопрос, на его лице отразилось крайнее удивление, он быстро взглянул на меня и после краткого колебания сказал: «Он сейчас у меня»; потом пробормотал какие-то не вполне определенные, но успокоительные слова. Закончив разговор, следователь несколько минут рассеянно перекладывал бумаги, он явно не мог сразу возобновить допрос в прежних тонах. Я не сводил с него глаз. Наконец, он решился намекнуть на содержание происходившего разговора; насколько помню, он сказал с деланной усмешкой: «Семья о вас беспокоится», или как-то иначе выразился. Это было уже несущественно; у меня не было никаких сомнений: я получил весть от моей жены, она на свободе и заботится обо мне.

Действительно, в этот момент моя жена была — можно сказать — у другого конца провода. Через шесть лет при свидании в лагере я узнал от нее, что в те дни ее обуяло особенно сильное чувство тревоги за меня, она каждый день простаивала во дворе у справочного бюро НКВД в очереди жен и матерей, добиваясь справки (а их не давали), пытаясь передать мне деньги (тогда еще денег для меня не принимали).

В один из таких дней моя жена, не в силах преодолеть мучительное беспокойство обо мне, пришла в расположенную в том же здании на Кузнецком мосту приемную наркома, как она тогда называлась; там на

втором этаже находились кабинеты «дежурных секретарей». Она уже заходила туда не раз и приметила одного такого «дежурного». Молодой, вихрастый, конопатый, он, по ее словам, отличался от прочих чиновников «с оловянными глазами». Вероятно, и он ее приметил. Так или иначе, он выслушал ее взволнованную речь. Очевидно, в этой речи было что-то для него необычное при всей обычности жалобы: два месяца нет вестей о муже, не принимают передач. Моя жена требовала доказательств, что я жив.

«Конопатый» усмехнулся: «Жив, конечно, а если не принимают передачу, значит не заслужил».

Жена в ужасе и ярости от такой формулировки: «не заслужил», произнесла не совсем неожиданную для себя тираду. Повелительное ощущение, что она должна сию же минуту помочь своему мужу, продиктовало ей нелепые с точки зрения чиновника НКВД слова. Она говорила, что дело мужа окружено тайной, что ничего не может понять, и вправе думать, что ее шантажируют: ей звонят по телефону какие-то люди, называясь следователями, — «а вдруг это какие-то авантюристы?» — ведь накануне была убита жена арестованного В. Мейерхольда, Зинаида Райх. Мало ли что грозит и ей, жене Гнедина, она не знает, как себя вести.

Чиновник слушал с изумлением и, как показалось моей жене, его позабавил этот маневр отчаянной женщины. Он спросил: «Чего вы от меня хотите?» «Позвоните в следственную часть». «Мы не имеем права!» «Скажите, что я требую, иначе буду думать, что его нет в живых».

«Конопатый» помолчал, потом резко сказал: «А ну выйдите!»

Ей было неясно, выгнал он ее или следует подождать. Жена осталась ждать за дверью кабинета.

И вот наступила первая стадия чуда. Через минут десять чиновник приоткрыл дверь и тем же тоном сказал: «А ну, войдите!»

Когда жена вошла, она увидела, что «конопатый» стоит за своим столом, ероша волосы и смеясь.

«Чему вы смеетесь?» — со страхом спросила она.

«А я ведь туда позвонил».

«И что же?»

«А *он* как раз там у следователя».

«И вы сказали, что я здесь у вас?»

«Да».

Так наступила вторая стадия чуда: я был в кабинете у следователя в тот самый час, точнее в 3 часа дня 9 июля 1939 года, когда, уступив настояниям моей жены, — незримым током любви — дежурный выполнил необычное требование и навел справки обо мне.

Сквозь тюремные стены, сквозь канцелярии НКВД, какой была «приемная наркома», при невольном посредничестве двух пособников палачей — благодаря силе чувства и силе воли моей жены была восстановлена связь между нами, мы оба узнали, что мы оба живы.

Незачем объяснять, какое благотворное влияние оказывает на психику человека, брошенного в застенок, весть от любимого существа, стремящегося протянуть руку помощи. Какое счастье в годы произвола убедиться, что твоя семья на свободе! Как важно было в безнадежной атмосфере тюремной камеры, в зловещем кабинете следователя получить напоминание о том, что существует светлый мир, который ты любишь и близкие люди, любящие тебя и верящие тебе! Я воспрянул духом и в перерывах между допросами твердил слова утешения: «Тяжко мне у бессонницы в лапах, но останусь самим собой . . . Необъятно пустыми ночами задыхаюсь у черной стены, но сквозь стены тоски и печали мне напевы дневные слышны . . . Протяните, товарищи, руки, я остался самим собой!»

Так говорил я себе в перерывах между допросами. Но как на допросе оставаться самим собой? Мою жену не обманула интуиция: хотя в те дни я не подвергался новым физическим мучениям, моральные испытания в этот период были, пожалуй, самыми тяжелыми за все

время следствия. Я чуть не попал в ловушку, оказавшуюся губительной для других невинных людей. И мне нелегко было вырваться из капкана. Приманкой в этой ловушке была возможность не только избегнуть пыток, но даже предаваться иллюзиям, будто возможны «нормальные отношения» со следователями.

Здесь снова идет речь о такой ситуации, которая объясняет поведение множества людей под следствием. Поэтому я ее и описываю.

Предпосылки для мнимого «взаимопонимания» и даже некоторой договоренности между следователем и подследственным были заложены в такой, можно сказать, небывалой ситуации, когда представитель власти, предъявлявший обвинение в политических преступлениях, и подследственный, их отвергавший, заявляли о своей принадлежности к одной и той же партии, о своей преданности одной и той же политике, одному и тому же правительству, и даже одному и тому же человеку — вождю партии. Вслед за пытками, вслед за ставкой на страх перед пытками, готовность арестованного советского гражданина найти общий язык со следователем была сильнейшим орудием в руках палачей и фальсификаторов.

Конечно, бывало немало и таких случаев, когда грубый циничный расчет побуждал подследственных заключить сделку со следователем. Но часто заключенные не могли отрешиться от мысли, что следователь в конечном счете работник государственного аппарата, а они сами недавно были работниками советского аппарата, и им казалось, что морок рассеется, если удасться объясниться со следователем, найти с ним «общий язык». Я не был вовсе лишен таких иллюзий. Наконец, огромное число заключенных старалось не озлоблять следователя, чтобы не повредить своей семье или чтобы установить с нею связь. Мог ли я, после того как получил через следователя сведения о семье, не задумываясь, вступать с ним в конфликт? Однако, это становилось все труднее. Невозможно было защищать свою

невиновность, приспособляясь к требованиям следствия, избегая конфликта со следователем и последствий такого конфликта.

Закончив предъявление (верней, «зачитывание») клеветнических показаний (позднее выяснилось, что то была лишь часть подготовленного материала), следователь стал задавать мне вопросы, касающиеся моей работы, моих подчиненных и, вообще, обстановки в НКИД. Повторялись, с большим вниманием к подробностям, но в корректной форме, вопросы заданные раньше Кабуловым и Воронковым. Однако ранее такой допрос сопровождался избиениями, болезненные последствия которых я все еще остро ощущал. Как я теперь понимаю, — но тогда я не мог это понимать — во время новых допросов в моем сознании образовалось подобие условного рефлекса: повторение вопросов, прежде задававшихся с применением пыток, воскрешало память о причиненных тогда мне страданиях, а это воскрешало и страх, я терялся. Пока речь шла о клеветнических показаниях, я уверенно и не задумываясь, давал отрицательный ответ. Но как отвечать на вопрос, от которого нельзя отделаться простым отрицанием? В камере и по дороге на допрос меня терзали сомнения: как же мне сегодня отвечать на вопросы следователя, касающиеся реальных фактов и событий, отвечать, не причиняя вреда другим людям и не причиняя себе неисправимого вреда, не дав повода для пыток, сохраняя по форме мирные отношения со следователем?

Морок кончился через несколько дней. Мне кажется, я и сейчас узнал бы то место, где прозвучал внутренний голос, принесший мне облегчение. Меня вели на допрос по коленчатому коридору в следственном корпусе «большого дома»; здесь два конвоира всегда особенно крепко держали меня за сведенные на спине руки, поддерживая, каждый со своей стороны за локти; мой мозг сверлила все та же неотступная забота: как быть, как отвечать? И тут меня осенило: не надо каждый раз

мучительно думать, какой дать ответ, не надо мудрить. Я буду говорить правду, обыкновенную, простую правду, говорить то, что я знаю и думаю. Ведь я не совершал никаких дурных поступков, мне ничего неизвестно о чьих-либо преступлениях, стало быть, я никому не могу повредить точно отвечая на конкретные вопросы и вместе с тем сохраню корректные отношения со следователем.

В детстве я не раз слышал от матери: «Лучшая ложь это — правда!» Как легко найти выход из самого сложного положения, если руководствоваться простыми правилами нравственности! Долгое время я так и понимал решение, принятое мною в коридоре следственного корпуса по пути на допрос. Это была действительно переломная минута, вернувшая мне самообладание и пресекшая соблазн искать спасение во лжи, хотя бы и невинной. И все же это не было свободным решением человека, правильно понявшего суть происходящего, и сделавшего продуманные выводы.

Я уже упоминал, что с самого начала между мной и следователем Романовым сложилось нечто вроде молчаливого «сговора»: и я и он делали вид, будто не было предыдущего этапа следствия, пыток и фальсифицированного протокола. Моя готовность к подобного рода «договоренности» была тогда естественной: я мог предполагать, что предыдущий этап как бы аннулируется, поскольку палачи пытками ничего не добились. Но затем наступила другая стадия молчаливого «сговора»: следователь, предъявляя порочащие меня показания, делал вид, будто верит им, а я притворялся, будто верю в искренность его заблуждения и, опровергая клевету, прикидывался, что надеюсь его переубедить. Впрочем, это не всегда было с моей стороны притворством, я в самом деле не потерял надежды, что мне удастся разорвать сети клеветы и оговора.

Потом наступила следующая, самая опасная, стадия молчаливого «сговора»: следователь, требуя от меня конкретного ответа на прямые вопросы о действительно

происходивших событиях, о фактических обстоятельствах и о людях и их поступках, собирал материал для возможных *ложных* обвинений и фальсификаций, но делал вид, что старается изобличить меня и других людей в совершении подлинных преступлений; я же делал вид, будто и на сей раз считаю, что он просто заблуждается или введен в заблуждение, и мне надо, давая точные правдивые ответы, доказать, что я не участвовал ни в каких преступлениях, и что моя деятельность и деятельность моих сослуживцев была направлена на пользу государства. Но ведь следователь это прекрасно знал! Таким образом молчаливая «договоренность» между мной и следователем была построена на обоюдном притворстве. Как же я надеялся, отвечая правдиво на отдельные вопросы, развязать узел лжи и фальсификации?

Доброжелательный читатель может сказать, что я увлекаюсь самокритикой и самоанализом: победителей не должны судить и они сами, ведь избранная мною тактика увенчалась успехом. Я защитил свою невиновность. Правильней было бы сказать, что мне удалось и после того, как я прибегал к маневрам, пресечь возможные опасные и вредные их последствия. Это, действительно, удавалось немногим. Но ведь я сейчас рассказываю еще не о том, как я вышел невредным из странствия по змеиной тропе пыток и провокаций, я веду рассказ о середине пути, о том опасном повороте, на котором правда превращалась в ложь. Правда могла превратиться в свою противоположность именно в такой обстановке, в которой фальсификация и произвол ничем не ограничены.

Следователь спросил меня, верно ли, что М. М. Литвинов иногда высказывал мнения, отличавшиеся от позиции, сформулированной в «Правде» или в официальных документах. Хотя я под пытками решительно отвергал обвинение Литвинова в каких-либо антиправительственных поступках и намерениях, на вопрос, сформулированный в только что приведенном виде, я,

не отступая от истины, ответил, что у М. М. Литвинова были свои собственные взгляды на многие внешнеполитические проблемы. Я имел в виду, главным образом, вопросы, связанные с пресечением агрессии фашистской Германии и с созданием коллективного отпора ее попыткам нарушить мир; в частности, я имел в виду освещение этих проблем в печати. М. М. Литвинов и я, под его общим руководством, расширяли круг информации, публикуемой в газетах, по сравнению с содержанием открытых бюллетеней ТАССа. Статьи в «Журналь де Моску», органе НКИД, издававшемся на французском языке под моим наблюдением (а передовые я сам часто писал), — порой отличались по тону и анализу событий от официозных статей в других наших газетах. Всего этого я не объяснял следователю. Я лишь ограничился замечанием, что во всем был согласен с наркомом, который проводил в жизнь партийную линию.

Впрочем, следователя и его начальников абсолютно не интересовало существо проблем; им не было поручено и не было разрешено проявлять интерес к политическим вопросам, у них была простая задача: получить стандартные «показания» о примитивной «преступной деятельности». Но именно поэтому мой правдивый ответ, данный в общей форме, они могли бы попытаться произвольно обратить в ложь, изложенную ими в такой-же общей форме. К счастью, до этого дело не дошло.

Отвечая на вопрос, кто из дипломатических работников был близок к М. М. Литвинову, я называл общеизвестные фамилии, и, в частности, партнеров Литвинова по игре в бридж. Хотя я таким образом ограничился упоминанием мелких фактов, касавшихся внеслужебных отношений М. М. Литвинова, и добавил — в соответствии с действительностью — что я никогда не был у него на квартире, все же и эти мои правдивые ответы могли бы послужить материалом для чудовищных фальсификаций. Как я выше рассказал, следо-

ватель использовал против меня невинное сообщение Е. В. Гиршфельда о его единственном визите ко мне.

Снова слышу голос доброжелателя: в чем, собственно, вы вините задним числом себя и других людей, попавших в застенки сталинского режима? Не считаете же вы, что все вы должны были лгать для того, чтобы опровергнуть ложь, или что нужно было молчать на допросах? Я не виню и не осуждаю, я стараюсь обрисовать обстановку, благодаря которой палачи и их подручные имели возможность, используя честность, доверчивость, неосторожность подследственных, создать сотни тысяч фальсифицированных дел.

Большую тревогу по многим причинам испытал я, когда мне задавали вопросы относительно моего заместителя по Отделу печати НКИД СССР Г. Н. Шмидта. Я уловил, что он уже дал какие-то показания и боялся причинить ему вред, в силу совершенно своеобразных обстоятельств. Сложность положения заключалась в том, что Г. Н. Шмидт под чьим-то влиянием уже давно проявлял предвзятое и просто отрицательное отношение к линии поведения наркома. Было заметно, что Шмидт (совершенно искренно) принимает всерьез кое-какие выступления против М. М. Литвинова на партийных собраниях, когда организаторы «проработок» выражали недовольство, что они не получают поддержки от наркома. Он даже со свойственным ему педантизмом дисциплинированного и формально мыслящего партийца говорил мне, что надо бы сообщить в ЦК о некоторых мнимых отклонениях внешнеполитических высказываний М. М. Литвинова от директивной линии. Я решительно возражал Г. Н. Шмидту. Я не считал, что М. М. Литвинов нарушает партийные директивы; ведь партийная директива, как мы ее понимали, требовала, чтобы советская дипломатия сочетала убежденный последовательный антифашизм с защитой интересов советского государства, а высший интерес заключался в предотвращении войны. Все это были ничуть не абстрактные, а реальные, практические позиции. Если же

бы я заметил (или замечал), что личные взгляды и оценки положения Литвинова отличаются от отразившихся в каких-либо официальных документах, то я видел бы в этом неизбежные и нормальные разногласия по отдельным вопросам внешней политики; сообщение о таких наблюдениях «начальству» я считал недостойным доносительством. Г. Н. Шмидт, особенно, если дело шло о внутренних делах, смотрел на вещи несколько иначе, чем я, и я мог предполагать, что он помимо меня в письменной или устной форме кому-либо изложил свои искренние сомнения относительно тех или иных взглядов М. М. Литвинова. Сделал ли он это или не сделал, он неизбежно еще до ареста испытывал тяжелые минуты, потому что хотел выполнить свой долг преданного работника государственного аппарата, но не хотел причинить вред людям, в честности которых не сомневался.

Когда меня допрашивали, я знал, что Литвинов снят с поста; при этих обстоятельствах сообщение о том, что мой заместитель в отличие от меня относился критически к Литвинову могло послужить ему на пользу, быть доказательством того, что Г. Н. Шмидт во всяком случае не мог быть причастен к проступкам инкриминируемым Литвинову и его сотрудникам. Поэтому я правдиво рассказал о критических замечаниях моего заместителя по адресу Литвинова. К сожалению, и эта правда могла быть обращена в ложь; фальсификаторы могли с помощью своих обычных приемов истолковать сказанное мною как свидетельство об участии Г. Н. Шмидта в известных ему «вредных действиях» наркома. Чтобы парировать возможность такой фальсификации, я к «спасительной правде» присовокупил «спасительную ложь»: поскольку нас пытались обвинять в том, что Отдел печати будто бы проводил по указаниям Литвинова некую неправильную линию в своей работе, я взял на себя всю полноту ответственности за деятельность Отдела и заявил, что мой заместитель не мог знать, в каких случаях я допускал или мог до-

пускать отклонения от установленного курса. Таких случаев не было, да это и не интересовало руководителей следствия, им нужны были признания в несуществовавшем заговоре и, конечно, в шпионаже.

Как бы то ни было, я незаметно для самого себя дал противоречивые ответы: однажды я сказал, что мой заместитель критиковал линию наркома, а в другой раз, что он не знал о каких-либо отступлениях от общей линии. Когда в августе новый следователь спросил меня, чем объясняются противоречия в моих ответах касательно моего заместителя, я ответил, что не знаю, о чем он говорит. Только в октябре, знакомясь с делом, я установил, что следователь правильно отметил противоречия в моих ответах на вопросы о моем заместителе.

Все эти расхождения и тонкости не имели никакого практического значения. И как ни странно, добавлю: к сожалению. В моем деле лежали две заверенные копии «показаний» Г. Н. Шмидта, датированные последними днями мая 1939 года. В них говорилось не о критическом отношении Шмидта к Литвинову, а, наоборот, утверждалось будто Г. Н. Шмидт, зная об «антисоветской деятельности» наркома, выполнял его чуть ли не шпионские (теперь уже не помню точно) директивы, которые он якобы получал через меня. В качестве иллюстрации приводились какие-то (теперь забытые мною) нелепые выдумки и подлинные вовсе не порочные поступки, которые по сути и не служили подтверждением сформулированных «признаний». Кроме того, в другой выписке из «показаний» Г. Н. Шмидта подробно излагалась лживая версия о его «шпионской деятельности» в бытность его в Лондоне еще до работы в Отделе печати НКИД. Упоминалась фамилия англичанки, с которой Г. Н. Шмидт был близок, о чем следователи, вероятно, узнали от него самого при таких же мрачных обстоятельствах, при которых я отвечал на вопросы о моих служебных знакомствах с иностранцами. Высокого роста, атлетически сложенный, Шмидт

был тем не менее больным человеком. Его друзья и сослуживцы знали, что Шмидт страдал «болезнью Меньера»; у него бывали головокружения, из-за которых он иногда впадал в беспамятство. Нетрудно себе представить, в каком состоянии он был во время следствия... В конце концов я не знаю, давал ли он, вообще, те показания, выписки из которых я читал, или это были выписки из фальшивки, сочиненной следователями, не знаю, взял ли он обратно ложные показания и при каких обстоятельствах окончилась его жизнь.

Пока судьба не свела нас в Отделе печати, где мы проработали вместе около двух лет, мы с Г. Н. Шмидтом не были знакомы. Он был в прошлом секретарем Сокольникова в Лондоне, и Б. С. Стомонякова в Москве, потом работал в Отделе Востока. Насколько мне известно, все его сослуживцы по прежним местам работы тоже пали жертвой репрессий. К журналистике он не имел отношения, я только стал приучать его к этому занятию.

Следственное дело Шмидта в целом направлялось по другому руслу, нежели мое, и на его исход вряд ли могло повлиять то, что я не признал себя виновным. Но в летние месяцы 1939 года существовал известный параллелизм в следствии по моему делу и по делу моего заместителя. Это обнаружилось при своеобразных, а вернее, отвратительных обстоятельствах. В июле, во время допроса, в кабинет Романова явился человек в штатском, на вид довольно интеллигентный, но с неприятным каким-то «взъерошенным лицом». Злобно взглянув на меня, он отрекомендовался представителем прокуратуры. «Жалоб не имеете?», — добавил он безапелляционным тоном, и тотчас же принялся вместе со следователем составлять протокол проверки следствия. У меня не возникло никаких надежд или иллюзий, что прокурор поможет выяснить истину. Но все же я был поражен, когда он огласил фразу из протокола, который он писал: «изобличен в том, что является шпионом

Германии, Франции и Англии». Даже следователь счел такой нелепый набор лживых обвинений чрезмерным и тут же при мне предложил выбросить одну из стран. Прокурор дал согласие, причем ему было явно безразлично, какую страну вычеркнуть. То, что следователь внес поправку, и то, что я из своего угла подавал критические реплики, видимо, удивило представителя прокуратуры; он спросил вполголоса, но не очень заботясь о том, чтобы я не слышал: «Это кто? Шмидт или Гнедин?» Итак, прокурор, оформляя протокол, даже не потрудился выяснить, чье дело он проверяет; для всех дел у него существовала одна и та же форма. А я понял, что он шел из кабинета в кабинет и «проверял» одновременно и мое дело и дело моего бывшего заместителя.

Визит прокурора укрепил меня в моем намерении попытаться противопоставить фальшивкам как можно больше истинных фактов, свидетельствующих о том, что ни я, ни другие дипломатические работники никакой антиправительственной деятельностью не занимались. Поэтому меня не смутило, что однажды я застал в кабинете следователя стенографистку. Я помнил, что был застенографирован мой бред во время ночных истязаний (правда, никакой стенограммы я не видел, мне показали только фальсифицированный протокол, составленный задним числом). Мне казалось желательным, чтобы в деле была новая стенограмма, уже надиктованная мною. И это было заблуждением; следователь не допускал, чтобы стенографистка записывала мои высказывания по существу обвинения и в опровержение клеветы. Следователь следил за тем, чтобы были застенографированы лишь мои ответы на вопросы, касавшиеся обстановки в НКИД, в партийной организации, отношений между отдельными людьми.

Я попытался сказать о преданности делу и о честности тех, арестованных до меня, моих друзей и сослуживцев, фамилии которых были упомянуты в фальшивке; но следователь пресек эти мои попытки, и произнес роковую фразу, врезавшуюся мне в память: «Что вы все

говорите о людях, которых уже нет...» Моя реакция была столь выразительна, что следователь неуклюже поправился: «Я говорю, что их уже нет здесь в Москве». Но я-то понял, что получил от следователя НКВД СССР известие о трагической гибели товарищей и друзей. Старший лейтенант Романов не случайно был осведомлен о судьбе бывших работников НКИД. Очевидно, он получил от начальства перечень моих арестованных друзей и знакомых, имена которых я заносчиво и неосторожно перечислил при первой встрече с Кобуловым; он затребовал их дела, в поисках материала против меня, и установил, что «этих людей уже нет». Горе, скорбь и ужас охватили меня в тот час. Вероятно, я был первым человеком, не принадлежавшим к кругу приближенных диктатора и палачей, который узнал, что дипломатические работники, арестованные в 1937-1938 годах, были уничтожены до наступления лета 1939 года. Известно, что даже справки, выданные родственникам после посмертной реабилитации этих товарищей, зачастую содержат неточные и недостоверные сведения об их кончине.

Возвращаюсь к эпизоду со стенограммой. Мне пришлось подчиниться требованиям следователя, ведь он не навязывал мне в процессе диктовки те или иные формулировки или характеристики, а лишь наложил запрет на определенные темы. Я предупредил следователя и, помнится, указал в тексте, что все рассказанное мною можно найти в служебной переписке, протоколах партийных собраний, записях выступлений на заседаниях и т. д. Но следователю по каким-то чисто служебным соображениям хотелось предъявить начальству продиктованную мною стенограмму. Кажется, он на этой затее потерпел большой урон, хотя кое-что и приобрел. Сначала скажу об этом «кое-чем».

Рассказывая о выступлениях на партийных собраниях, я упомянул, что секретаря партийной организации Рожкова упрекали за то, что он покровительствует своему земляку и другу Пивеню. Это были

склочные выступления, к которым я никакого касательства не имел; но раз уж я взялся излагать содержание прений на партийных собраниях, мне трудно было миновать и подобные темы. Это была все та же злополучная «правда», правда в кавычках, хотя упомянутые мною выступления действительно имели место, а Рожков и Пивень действительно были в дружбе и постоянном контакте. А их за это упрекали их враги.

Еще до того, как стенограмма в целом была перепечатана, следователь на очередном допросе пожелал уточнить сведения о Пивене. Отвечая на вопросы, я снова повторил то, что говорилось на собраниях. Мои ответы были запротоколированы. Вернувшись в камеру, я с ужасом отдал себе отчет в том, что с моей помощью был «создан документ» о Пивене. К тому времени я уже освоил технику подачи заявлений через начальника тюрьмы. Я тотчас же потребовал у надзирателя бумагу и написал на имя начальника Следственной части заявление, где указал, что мне ничего не известно о каких-либо преступных связях Рожкова и Пивеня. Через несколько месяцев, при обстоятельствах, о которых расскажу, мне удалось в особом протоколе вновь зафиксировать, что мне не известно никаких порочащих сведений о Пивене. Он был мне совершенно чужим человеком, но долгое время меня мучила мысль, что я причинил ему вред. Я несколько успокоился, когда моим соседом по камере оказался человек, ранее побывавший в одной камере с Пивенем. Пивень рассказывал ему о своем деле, и тот запомнил, что по словам Пивеня в его деле, в частности, лежала выписка из «дела Гнедина», которая «ничего не содержала».

Стенограмма, продиктованная мною в кабинете старшего лейтенанта Романова, могла бы сыграть роль сети, которую я сам соткал для себя; вернее, ее попытался превратить в такую сеть следователь.

Стенограмма содержала подлинные, малозначительные фактические данные, можно сказать, из истории центрального аппарата НКИД СССР. Но, когда мне ее

предъявили в перепечатанном виде, оказалось, что в нее вставлены слова, которых я не произносил, большей частью эпитеты такого рода: «антисоветские (знакомства, намерения)», либо «в антисоветских целях» (встречались, поддержал точку зрения) и т. п. Заполучив перепечатанную стенограмму в руки, я на последней странице написал точно и ясно, что указанные слова и эпитеты вставлены следователем, что мне ничего не известно об антисоветских намерениях или поступках названных мною сотрудников НКИД, и такая их характеристика принадлежит следователю.

До этого дня я на допросах у старшего лейтенанта Романова не имел возможности собственноручно опровергнуть тезис обвинения. Когда же я изловчился, наконец, это сделать, то последствия были такие же, как и тогда, когда я в кабинете Воронкова в письменной форме опроверг фальшивку. Следователь меня отослал в камеру и больше я его не видел. Не знаю, сами ли они отказывались от «безнадежного клиента» или их устранение носило характер служебного взыскания... Так или иначе снова произошла смена следователя.

Если вернуться к сравнению с ловушкой, которое я использовал для характеристики «нормальных отношений» подследственного со следователем, то можно сказать, что я «приманку съел» — нормальные отношения со следователем сохранял, но «с крючка сорвался» — ложных показаний не дал, клевету опровергал.

Больше недели я днем и ночью со страхом ждал вызова на допрос, так как мог предполагать, что мою подпись на стенограмме сочтут поступком, который требует наказания. На этот раз случилось иначе. В августе, то есть, на четвертый месяц следствия, меня вызвал новый, четвертый, а если учесть допросы у Кабулова и Берии, то минимум шестой — следователь. Это был совсем приятный, подтянутый и корректный лейтенант лет тридцати. Он по форме отрекомендовался (очень жалею, что не запомнил его фамилию) и сообщил, что будет вести мое дело. Однако, по причинам

мне неизвестным он не стал моим постоянным следователем и у нас с ним состоялось только несколько встреч. Прежде всего расскажу о драматическом эпизоде: об очной ставке не с кем иным как с Михаилом Ефимовичем Кольцовым.

В течение лета я постоянно, на допросах и в заявлениях, подаваемых из камеры, настойчиво требовал дать мне очную ставку со всеми, кто давал против меня показания. Требование очных ставок в любое время и в любой форме и ссылка на то, что очных ставок не было, в дальнейшем фигурировали во всех моих жалобах и заявлениях. Но очной ставки с Михаилом Кольцовым я в августе 1939 года не мог требовать, так как мне еще не было известно, что он дал против меня показания. На одном из допросов Романов спрашивал меня о моих отношениях с М. Е. Кольцовым и встречался ли с ним. Я припоминал наши встречи (мы не были в близких отношениях). Когда же следователь спросил меня, виделся ли я с Кольцовым во время моего пребывания за границей, я припомнил две встречи и с излишней аккуратностью рассказал о них. Эти допросы происходили в те дни, когда я с чувством внутреннего удовлетворения давал на вопросы следователя точные и правдивые ответы, не могущие, по моему мнению, никому повредить. Это было наивно. Уточняя время одной из наших встреч, я указал, что М. Е. Кольцов проезжал из Москвы через Берлин на Запад как раз накануне процесса маршалов весной 1937 г.: он мне рассказал об их разоблачении; в полном соответствии с официальной версией процесса маршалов, да и с подлинным содержанием нашей беседы с Кольцовым, я добавил, что дело маршалов нас очень огорчило (смысл моих слов был именно тот, что мы были огорчены сведениями об их «измене»).

(Уже теперь в 60-х годах я обнаружил в романе Арагона «Казнь»* что Михаил Ефимович и Арагон

*) L. Aragon, La mise à mort. Roman. Gallimard 1965, p. 45.

той же поздней весной 1937 года — у Арагона сказано в начале лета — беседовали о деле маршалов буквально в таком же духе, как я с Кольцовым, и в каком я изложил нашу беседу следователю).

И вот, однажды, когда я в относительно спокойном настроении сидел в кабинете нового следователя, туда вошел его начальник — черноволосый и черноглазый капитан Пинзур, с которым у меня позднее в октябре 1939 г. состоялась «мирная» беседа, а в июне 1940 года — страшная и мучительная для меня встреча в новом застенке.

Капитан весело сказал мне: «Вы просили очной ставки с Кольцовым?» Я отвечал ему в тон: «Я не просил, но считайте, что сейчас попросил». После чего мы прошли в другой кабинет, очевидно, принадлежавший следователю, ведшему дело М. Е. Кольцова.

Один из следователей сел за широкий стол, двое стало по бокам, кажется, в комнате был еще один военный. Меня посадили на стул с той стороны, с какой мы вошли; недалеко от противоположной двери пустовал стул, приготовленный для М. Е. Кольцова. Я с волнением ждал его появления. Он был арестован примерно за полгода до моего ареста, и я на основании тюремного опыта считал возможным, что были верны распространившиеся сразу после исчезновения Михаила Кольцова слухи о его расстреле. Поэтому я радовался, что он по крайней мере жив. Мне приходилось видеть М. Е. Кольцова грустным и озабоченным, но его лицо всегда было оживлено игрой ума, а в глазах искрилась ирония. Когда конвоиры ввели Михаила Ефимовича, он кинул испуганный взгляд в сторону следовательского стола, потом повернулся лицом ко мне и на мгновение мне почудилось, что я вижу прежнего Михаила Кольцова, только бесконечно усталого. В самом деле он, казалось, не потерял чувство юмора, ибо с грустной улыбкой сказал, глядя на меня: «Однако, Гнедин, вы выглядите . . . (пауза и усмешка) ну, совсем как я выгляжу». Этим было сказано очень много и в переносном и в

прямом смысле, ибо, приглядевшись, я обнаружил, что у Михаила Ефимовича — вид тяжело больного человека. Я отозвался какими-то приветливыми словами, он хотел откликнуться, но тут следователи, увлекшиеся наблюдением за столь любопытным зрелищем как наша встреча, опомнились и приказали нам замолчать; как бы щелкнул бич и нас, фигурально говоря, затолкали обратно в наши клетки. Вот тогда я понял, что М. Е. Кольцов изменился сильнее, чем даже можно было судить по наружному виду. Известно, что это был мужественный и необыкновенно инициативный человек. Теперь передо мной был сломленный человек, готовый к безотказному подчинению. Он всегда носил роговые очки и, вероятно, и на допросе был в очках, но в воспоминаниях о нашем последнем свидании его лицо мне представлялось таким, словно он был без очков и плохо видел, что происходит вокруг него. Я никак не мог избавиться от такого впечатления, хотя понимаю, что оно ложное, ведь вначале он хорошо разглядел меня и даже пошутил по этому поводу. Впрочем, он больше не смотрел на меня и добросовестно придерживался правил очной ставки, к которой был подготовлен, но только частично.

Сначала были заданы формальные вопросы, знаем ли мы друг друга, не находимся ли во вражде. На первый вопрос, заданный Кольцову: «Признаете ли себя виновным?», он сразу, можно сказать, привычно, ответил утвердительно, даже пространно. Затем этот же вопрос задали мне. Я молчал. То ли внезапный страх, то ли смутный защитный рефлекс мешали мне в присутствии новых следователей и М. Е. Кольцова, признававшего себя виновным, — продолжать свой спор со следователем. Я молчал. Пауза длилась долго, капитан не столько угрожающе, сколько подбадривающе (как заставляют ребенка признать свою вину) повторил несколько раз: «Ну, давайте, говорите!» Наконец, следователь М. Кольцова махнул рукой и задал новый вопрос Кольцову, примерно в такой формулировке:

«Расскажите о ваших преступных связях с Гнединым». М. Е. Кольцов изложил ту вымышленную версию, которую я позднее прочел в выписке из его показаний. Он говорил не очень длинно, но обстоятельно, и, как мне кажется, точно в тех же выражениях, в каких эта выдумка была записана в протокол следователем, то есть Кольцов как бы повторял ее наизусть. Он заявил, будто еще в тридцатых годах на квартире тогдашнего заведующего Отделом печати НКИД СССР К. А. Уманского группа журналистов и дипломатов затеяла «антиправительственный заговор» и что среди присутствующих, «кажется», был и Гнедин. Тут я обрел дар слова. Правда, мне не хотелось грубо в лицо обвинить измученного Михаила Ефимовича в клевете, поэтому, повторяя его обороты, я сказал, что ему «кажется, изменила память» и затем подробно опроверг «показания» Кольцова, в частности указал и на то, что я в те годы, вообще, не бывал на квартире К. А. Уманского. Кольцов, молча, скрывая волнение, меня слушал. (Напомню читателю, что известный советский дипломат К. А. Уманский, на квартире которого якобы состоялся антисоветский сговор, не был арестован, он в день нашей очной ставки с М. Е. Кольцовым был советником или уже послом в США, а после его трагической гибели в Мексике, состоялись торжественные похороны в Москве).

Затем мне предложили рассказать о встрече с М. Е. Кольцовым в Берлине. Когда я кратко ответил, от меня потребовали, чтобы я изложил подробнее содержание беседы. М. Е. Кольцов не оспаривал мой рассказ, ничего порочащего не содержавший, но взволновался, когда его следователь подчеркнул, что мы говорили о деле маршалов. С тревогой, пожалуй с мольбой, как бы прося подтвердить его слова, он сказал следователю: «Но ведь к заговору военных я отношения не имел». Видимо Михаил Ефимович боролся против попыток связать его с военными, хотя вообще давал требуемые показания. Не могу поручиться за точность, но среди историй, передававшихся из камеры в камеру,

был и рассказ, будто М. Кольцов «подписал» и дружески советует соседям по камере не ставить себя под удар, создать скромную «концепцию» и без промедления изложить ее следователю, чтобы спасти свою жизнь. Кольцов не провоцировал — я решительно отвергаю такое предположение; Михаил Ефимович сделал — если угодно — разумные выводы из того, что знал (а знал он очень много) о методах сталинского аппарата и трагической судьбе тех, кто сопротивлялся. Из выписки, вложенной в мое дело, можно было усмотреть, что версия, которую М. Е. Кольцов не оспаривал, касалась мнимой его заговорщической деятельности совместно с когда-то близким к Сталину бывшим заведующим отделом ЦК Стецким.

Наша очная ставка закончилась в довольно беспорядочной обстановке: я настойчиво объяснял, что мы при встрече были огорчены делом маршалов лишь потому, что были возмущены их изменой, он подтверждал это, и снова говорил о том, что к делу военных непричастен. Тут вызвали конвоиров и нас быстро вывели из кабинета через противоположные двери, так что мы не успели проститься.

Протокол очной ставки был составлен с развязностью, присущей фальсификаторам. Мое молчание, когда от меня требовали признания виновности, было, по пословице, истолковано как «знак согласия»: в протокол вставили короткое слово — «признаю» . . . Моя вежливая по отношению к Михаилу Кольцову фраза была повторена в извращенном виде: «Кажется Кольцов ошибается», но вся моя аргументация и опровержение фактов не были приведены. О нашей встрече в Берлине и содержании разговора при встрече было сказано коротко и не очень злостно. Я подписал этот протокол. Помню ход моих мыслей: в моем деле зафиксировано отрицание вины, поэтому положительный ответ, вставленный в протокол очной ставки, не имеет решительного значения, зато останется след моего отрицательного ответа по поводу порочащих меня показаний. Хотя

в этих рассуждениях была известная логика, все же очевидно, что эти аргументы мне подсказал страх. Вся история нашей очной ставки типична для условий, при которых фабриковались «дела», она бросает свет и на обстановку, в которой подготовлялись материалы для открытых процессов.

Когда я, подписывая протокол очной ставки с М. Е. Кольцовым, старался — в последний раз за все время следствия — не озлоблять следователей, то помимо страха некоторую роль сыграла надежда, что благожелательное, даже уважительное отношение ко мне тогдашнего молодого следователя скажется благоприятно на моем деле. Это он в корректной форме обратил мое внимание на противоречия в моих ответах относительно моего заместителя. Допросы в кабинете этого следователя имели характер свободной беседы, да это и не были допросы, в комнату заходил приятель следователя, разговор шел о предметах, не имевших отношения к делу, если не считать «относящимися к делу» их расспросы о том, как я сохранил свою моложавость и чем в жизни интересовался. Тогда то — уже после очной ставки — следователь и произнес неосторожные слова: «Но ведь в вашем деле ничего нет». На это я ответил: «Если вы это поняли, то как настоящий советский следователь должны доложить об этом начальству».

Во время нашей — как оказалось — последней встречи с ним, следователь внезапно сказал мне: «Я видел вашу жену, она здорова»; он даже добавил несколько слов о том, как она хороша. Я был счастлив и впервые на допросе не сумел сдержать слез.

Прошли годы, и я узнал от жены, что следователь вызвал ее по телефону в отдел пропусков НКВД СССР, но когда она туда явилась, он, выйдя с ней на улицу, сказал, что надобность в разговоре с ней миновала. Огорченная она спросила: «Значит вы мне о нем ничего не скажете?» Он ответил: «Ну что же, мужик он хороший». Своеобразное признание в устах следователя

по делу о государственной измене, присутствовавшего при описанной мною очной ставке!

По сегодняшний день я не знаю, было ли доброжелательное поведение этого моего следователя в августе 1939 года проявлением его личной порядочности или отражало временное улучшение в ходе моего дела. Вероятно, и то и другое верно. Правда, трудно себе представить, чтобы именно накануне, чуть ли не в дни подписания договора с Риббентропом руководители следствия по делу сотрудников снятого М. М. Литвинова были готовы облегчить их участь, в частности мою. В октябре, как я расскажу, действительно наметились перемены в характере следствия по моему делу. Да и то на короткий срок. Впрочем, на протяжении многих лет порой создавалось такое впечатление, что попытки или намерения облегчить мою участь пресекались кем-то всесильным; это мог быть Берия, мог быть и Молотов.

В сентябре 1939 г., после перерыва в допросах, мое дело стал вести новый следователь, даже формально, уже пятый за пять месяцев. Это был безобидный исполнитель, малообразованный младший лейтенант Гарбузов. В то время ему было поручено подготовить мое дело для оформления по статье 206-й УПК, то есть подготовить окончание либо видимость окончания следствия; вероятно, его и не собирались прекращать.

16 октября 1939 года следователь вызвал меня днем и дал мне для ознакомления мое «дело». Это не было подлинное следственное дело, а папка с частью документов к нему относящихся; там не было таких формальных документов, какие все же и тогда обычно имелись во всех делах, например, обращений следственной части к прокуратуре о необходимости продлить следствие после истечения двухмесячного срока и многих других. Не было ни одного из моих многочисленных заявлений, поданных из камеры через начальника тюрьмы. Но мое собственноручное заявление, написанное после пыток и опровергавшее фальшивый прото-

кол, я, к своему удовлетворению, обнаружил в предъявленной мне папке. Зато стенограмма, составленная на допросе у Романова, была вложена в копии, но без моей собственноручной записи, опровергавшей вставки следователя. Поэтому я прежде всего сделал новую запись на копии стенограммы, гласившую: «На оригинале стенограммы мною сделана была следующая запись...» Далее следовало повторение той приписки, о которой я говорил.

В деле находились выписки из показаний, о которых я рассказывал. Другие выписки содержали краткое, подчас случайное, упоминание моего имени. Положили в мое дело выписку из протокола допроса бывшего генерального секретаря НКИД Э. Е. Гершельмана, но по ошибке: в протоколе был упомянут мой однофамилец Марк Гельфанд (он так и не был арестован).

Я обнаружил в папке и два документа, составленные когда я еще был на свободе, людьми тоже бывшими на свободе.

Один из них — грубое, похожее на пародию заявление (кажется, в ЦК) бывшего помощника военного атташе в Берлине Клименко. Заявление пестрило руганью по адресу дипломатических работников посольства, а обо мне было сказано кратко и выразительно: «Если (такие-то и такие-то) сволочи, то Гнедин — трижды сволочь!» Такой документ тоже лежал в деле в качестве улики...

Более обстоятельным, но, пожалуй, не менее отвратительным, было направленное в ЦК задолго до отставки М. М. Литвинова коллективное заявление референтов моего отдела. Мои сотрудники в ту пору, когда они ежедневно со мной встречались, решили «сигнализировать» Центральному Комитету, что заведующий Отделом печати несомненно «был связан с врагами народа»; на полутора или двух страницах (очевидно, отпечатанных машинисткой моего отдела) повторялись все те стандартные обвинения, которые тогда выдвигались против лиц, арест которых ожидался или состоялся. Я

знал, что во время моей двухлетней работы в качестве заведующего Отделом печати разные бездельники и мелкие карьеристы писали на меня доносы. Но я был несколько удивлен тем, что коллективное клеветническое заявление подписал в частности Я. А. Малик. Этот тогда молодой сотрудник работал усердно, пользовался моими советами, даже покровительством в своей журналистсткой работе; с ним, в отличие от некоторых других новых работников, у меня были ровные, деловые отношения, я продвигал его по службе. А он за моей спиной участвовал в недостойной возне и фабрикации клеветы.

Неприятно было мне также увидать под лживым заявлением подпись В. С. Т., давно работавшей в НКИД, давно со мной знакомой и, конечно, хорошо знавшей, что я честный человек. Правда, Т. участвовала на партийных собраниях в «проработках» людей обвинявшихся в «связях с врагами народа» (то есть с арестованными родственниками и сослуживцами), но я не предполагал, что она способна «авансом» чернить порядочных людей.

Конечно, в ту пору только принципиальные и мужественные люди не терялись, когда в разговоре с ними или на собрании провокаторы высказывали подозрения по чьему-либо адресу. В тогдашних условиях трудно было запуганным людям отклонить предложение подписать коллективное заявление, излагавшее подозрения и пересказ клеветы. Но ведь не все сотрудники Отдела печати подписали упомянутое клеветническое заявление, по сути призывавшее со мной расправиться.

С любопытством ознакомился я с выпиской из показаний бывшего заведующего одним из западных отделов НКИД Ф. С. Вейнберга. Он был арестован после меня. Его не уберегло то, что он по духу и по поступкам принадлежал к той среде, которая занималась «разоблачением врагов народа». Но Вейнберг был близок к заместителю наркома иностранных дел В. П. Потем-

кину. А из этого как будто следовало, что приписать Вейнбергу связь с М. М. Литвиновым было труднее, чем в отношении других работников центрального аппарата. Но ведь с фактической стороной, с подлинными отношениями между людьми организаторы репрессий не считались.

Ф. С. Вейнберг после реабилитации стал видным работником Госполитиздата. Кажется он пользовался поддержкой Поспелова.

У меня создалось впечатление, что Вейнберг действительно говорил то, что записано в протоколе, и что он не выдумал то, что говорил. А излагал он нападки В. П. Потемкина на М. М. Литвинова. Тот, вероятно, чернил Литвинова и в беседе со своими сотрудниками и в беседе с руководством. Теперь я узнал, что Потемкин еще до моего ареста сочетал клевету на Литвинова с клеветой на меня. Согласно показаниям Вейнберга, — как они были записаны в протоколе, вложенном в мое дело, — Потемкин утверждал, будто «Гнедин немецкий шпион» и — что особенно интересно — что «Литвинов напрасно за Гнедина поручился перед Политбюро». Потемкин был известен как интриган и клеветник, поэтому можно поверить, что Вейнберг привел подлинные слова Потемкина. Другое дело, верно ли было самое утверждение, что Максим Максимович за меня поручился перед правительством, когда меня начали травить. Максим Максимович в беседах со мной никогда не намекнул на что-либо подобное. Но при его сдержанности и выдержке он мог и не считать нужным ставить меня в известность как о том, что мне угрожала опасность, так и о том, что он с необыкновенным благородством ее устранил или отсрочил. Возможно, что какие-то шаги в мою защиту Максим Максимович, действительно, предпринимал; я допускаю эту мысль по следующим соображениям: во-первых — Потемкин вряд ли рискнул бы распространять такую выдумку о Литвинове (объявлять меня «шпионом» было безопаснее, чем приписывать наркому поступки, которых он

не совершал), во-вторых, предположение, что М. М. Литвинов выступал в мою защиту, косвенно подтверждается упомянутым выше рассказом Б. Е. Штейна об острой реакции Максима Максимовича на известие о моем аресте.

Каковы же были мои чувства, когда предо мной в одной и той же папке лежал документ, в котором говорилось, что М. М. Литвинов в свое время за меня поручился, отпечатанный на машинке фальшивый протокол с клеветой по адресу М. М. Литвинова и мое собственноручное опровержение этой клеветы!

Ознакомившись с документами, собранными в папке под названием «Дело Гнедина-Гельфанда Е. А.», я тотчас же заявил, что желаю внести в протокол об окончании следствия ряд заявлений. Следователь, этого ожидавший, отослал меня в камеру.

Вечером меня вызвал упомянутый мною капитан Пинзур, возглавлявший группу следователей или секцию в Следственной части НКВД СССР. Выслушав мое требование внести в протокол об окончании следствия мои опровержения клеветы и заявления о невиновности, капитан затеял со мной мелочный спор. Я держался твердо и даже запальчиво. Так, заметив, что он готов в крайнем случае допустить, чтобы я опроверг некоторые из пунктов обвинения, я привел анекдот о паштете «пополам из рябчика и лошади» и заявил, что не согласен, чтобы в моем деле правда потонула во лжи. Он не остался в долгу и напомнил мне анекдот о человеке, который, желая съэкономить деньги на свою телеграмму, постепенно вычеркивал все слова из приготовленного текста. Я подтвердил, что это именно я хочу сделать с предъявленными мне ложными обвинениями. Странным был этот ночной спор между избитым подследственным и капитаном Следственной части, этот обмен анекдотами в застенке, где людей пытали и где над ними так издевались... Поистине — гротескная сцена!

Весьма важными были слова, сказанные капитаном,

когда я настаивал на фиксации в протокол моего заявления, опровергавшего клевету на М. М. Литвинова. Несомненно, имея на то разрешение, капитан Пинзур сказал многозначительно: «Да кто же в этом доме стал бы в чем-либо обвинять Литвинова!» Как будто не в этом доме меня, и не одного меня, совсем недавно пытали, требуя показаний против Литвинова...

Итак, «дело Литвинова», усиленно подготовлявшееся в мае и в июне 1939 года, было прекращено в октябре 1939 года. Здесь не место для комментариев по этому поводу; думаю, что мое свидетельство является достоверным и исторически интересным.

Чем дольше длилась наша полемика с капитаном, тем более крепла моя уверенность, что на данном этапе я могу выиграть спор. И, действительно, поздно ночью в протокол от 16 октября (о мнимом окончании следствия) я вписал собственноручно мое заявление, в котором я указал, что никаких «вредительских» или «шпионских директив» от М. М. Литвинова не получал, никаких сведений об его «антиправительственной деятельности» не имел и не мог иметь, с Радеком и другими лицами, поименованными в показаниях «в преступной связи не состоял», никаких преступлений не совершал.

То, что я в письменной форме опроверг обвинение в целом и по разделам было в те времена редкостью и казалось многообещающим событием. Поэтому я здесь и не ограничился простым упоминанием о том, что я себя не признал виновным, а привожу всю формулу отказа, которую я не раз воспроизводил в своих бесплодных обращениях в различные инстанции.

Я, прошел по змеиной тропе, где на каждом шагу мог погубить от ядовитого укуса или задохнуться в черном кольце, вышел невредимым, готовым продолжать странствие. Предстоял долгий, тяжкий путь. Долгий — не только потому, что лишь через 16 лет я вернулся к семье и друзьям «на большую землю». Долгим оказался путь к новой душевной ясности.

Одержав победу на самой мучительной и опасной стадии следствия, я обрел чувство независимости по отношению к палачам и тюремщикам. Оно меня поддерживало и даже спасало в тюрьмах и лагерях. Однако, еще надо было разорвать сеть зависимости от системы догматического мышления, от ложной идеологии, которая придает силу злодеям и лицемерам, но сковывает честных людей. Преодолевая тоску в одиночной камере, испытав бремя подневольного труда в лагерях и познав в ссылке навыки и тяготы многолетней работы на вредном фабричном производстве, я постепенно постигал, что такое подлинная внутренняя свобода человека, открытого всем ветрам жизни.

(Август 1963 г., июнь 1967 г., сентябрь 1971 г.)

ГЛАВА VII

ОПЫТ «ПСИХИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ»

К концу первого полугодия пребывания в следственной тюрьме надежды на то, что мое дело будет прекращено, казались вполне обоснованными. Я рассказал своему соседу по камере, М. Б. Кузеницу, что мне удалось внести в протокол об окончании следствия подробное заявление о моей невиновности. Мой друг провозгласил: «Евгений! Ничего подобного еще не бывало. Твое дело должно быть прекращено!» Михаил Борисович провел два с половиной года под следствием, сидел в различных тюрьмах, охотно общался с людьми и, будучи человеком наблюдательным, хорошо усвоил опыт жертв репрессий. Поэтому Кузениц был далек от наивного оптимизма. Тем убедительнее была для меня его оптимистическая оценка хода моего дела.

Этот сломленный человек сохранил отзывчивость к страданиям товарищей и способность логически мыслить. Сидя плечом к плечу на его койке, мы шептались, стараясь трезво и всесторонне оценить положение. С нетерпением ждали мы нового предвестия благополучной развязки. Вскоре наши расчеты подтвердились.

Накануне октябрьских праздников пришли конвоиры и отвели меня в канцелярию, где было несколько письменных столов, около которых стояли и сидели чиновники в форме НКВД; там было так тесно, что для меня нашлось свободное место лишь на кожаном диване, где я и уселся в понятном волнении (обычно подследственный либо стоял, либо сидел на кончике стула в углу).

К маленькому столику подле дивана подсел незнакомый лейтенант с бесцветным лицом канцеляриста, за-

груженного делами. Он скороговоркой задавал вопросы и тут же читал мне вслух мои ответы. Ответ на первый вопрос гласил: «Виновным себя не признаю». Второй вопрос, а тем более заготовленный ответ, были для меня неожиданными: меня спрашивали, не оказывал ли следователь на меня давление; лейтенант тут же записал утвердительный ответ. Более того, таким же деловым тоном он предложил мне формулировку, в которой прямо говорилось о «применении физического воздействия». Я сказал, что можно снять слово «физическое», достаточно указать, что на меня пытались оказать давление, добиваясь признания в несовершенных преступлениях.

Казалось бы, странное, даже недостойное поведение: мне дают возможность обжаловать применение пыток, а я сам выбираю туманный оборот речи! Конечно, я был терроризован, но все же я исходил из трезвых соображений: меня могли провоцировать (а это бывало); жалуясь на «физическое воздействие», я мог навлечь на себя более жестокие пытки, если не самое худшее. Ведь я понимал, что в аппарате никто не станет раскрывать секреты следственных методов. Да к тому же «физическое воздействие» ко мне применяли нарком — Берия и начальник Особой следственной части НКВД СССР Кабулов. Впрочем, и независимо от высокого ранга палачей, чиновник, составлявший протокол, вовсе не собирался выяснять, как случилось, что были применены «незаконные методы» следствия — пытки. Наоборот, он должен был записать в протоколе, что ко мне применялись усиленные методы воздействия, узаконенные Сталиным. Таким образом как бы фиксировалось, что руководители следствия по моему делу ничего не упустили, постарались на славу.

Вообще обстановка, в которой происходила эта «проверка» хода моего дела, напоминала сцену допроса в романе Кафки «Процесс»; в комнате было полно людей и было так шумно, что мы с моим собеседником плохо друг друга слышали. Чиновник, ничего не знавший о

моем деле, положил бланк на край столика и наскоро составлял по поручению начальства протокол в такой форме, в какой он мог бы понадобиться, если бы дали команду закрыть мое дело. Это и было для меня самое важное.

Но этот протокол не понадобился. Была дана совсем другая команда . . .

На праздники меня не освободили, и после праздников — тоже. Я старался представить себе, сколько дней должно пройти после праздников, пока следственный аппарат снова заработает; я принимал в расчет и то, что дела могут лежать без движения, пока высокое начальство не наложит резолюции. Во всяком случае я понимал, что мое дело подготовлено «для доклада, а между тем в деле находились два итоговых документа, в которых зафиксировано, что я не признал себя виновным и опровергал ложные обвинения.

Мои расчеты относительно темпа прохождения дел были близки к действительности. Дней через десять после праздников я убедился, что мое дело, наконец, доложено начальству и аппарат получил надлежащие указания. 19 (или 17) ноября 1939 года меня вызвали на допрос.

Прежде чем приступить к рассказу об этом, по новым причинам, мучительном допросе, я хочу — в дополнение к тому, что я уже говорил в предыдущих главах, сказать еще несколько слов о психологии жертв пристрастного следствия.

Объясняя, почему я уклонился от того, чтобы в протоколе прямо записать, что меня избивали, я сказал, что исходил из трезвых соображений. Но ведь вопросы застали меня врасплох, протокол составлялся наскоро, какие же тут могли быть «трезвые мысли»? Я должен был реагировать быстро и, стало быть, я по интуиции, выбрал такую осторожную тактику, к какой, возможно, прибег бы и по зрелому размышлению. Не странно ли: мгновенно, интуитивно и вместе с тем трезво, предусмотрительно? Вопрос банальный, но я ведь не теорети-

зирую, а пытаюсь обрисовать реальные обстоятельства, в которых людям приходилось защищаться от ложных обвинений.

В обстановке беззакония, когда угроза, порой смертельная, возникала неожиданно, немотивированно, каждый раз в новом обличьи, когда нельзя было опираться на какие-то стабильные правила, на логику, — защитная реакция становилась, как мне кажется, сходной с той, какая была у первобытного человека. Чутьем подследственный угадывал, как ему держаться перед лицом опасности или, наоборот, потеряв ориентацию, попадал в лапы человекоподобного чудовища.

Но ведь мы-то сохраняли человеческий образ (иногда пытки его извращали). Во всяком случае мы продолжали мыслить. Интеллект бывал сильнее тела. Не все теряли представление о добре и зле. Состояние примитивного ужаса и настороженности сочеталось с навыками, усвоенными в предыдущей жизни. Даже когда у ошеломленных людей вырабатывалась (или пробуждалась?) реакция первобытного предка, чутьем находившего ориентировку в враждебном, непонятном окружении, и тогда панический страх не вытеснял вовсе привычку логически мыслить и анализировать происходящее. В условиях, словно созданных беспощадным экспериментатором, формировался неповторимый, еще неизученный «гибрид» дикаря и культурного человека. (Нечто сходное можно было наблюдать в сталинских лагерях).

Итак, человек вынужден выйти из пещеры — из тюремной камеры. Он не знает, что его ждет, но надеется, что сможет вдохнуть свежего воздуха, даже не оказавшись в полной безопасности. Однако, на него набросился лютый хищник, с незнакомыми еще ухватками. Как же противостоял этой новой опасности узник — «гибрид дикаря и современного человека»?

Когда через месяц после окончания следствия меня снова вели по коленчатому коридору большого здания НКВД, я не был настроен чрезмерно радужно, но все же

надеялся на некий перелом к лучшему. Мне сразу же стало ясно, что я заблуждался, когда меня ввели в типичный следовательский кабинет, в сумрачную, узкую комнату с одним окном в глубине. Спиной к нему восседал за столом новый следователь, человек с восточным, кавказским обликом. Меня посадили в середине комнаты; позади меня сидел за столиком молодой чиновник, может быть стажер. А рядом со мной вплотную уселся лейтенант с грубым, угрюмым лицом. К счастью (иначе бы я растерялся) я не сразу распознал в нем того подручного Кабулова, который точно так же сидел вплотную рядом со мной, в кабинете Берии, и именно он, вслед за Кабуловым, нанес мне удар после моего первого «дерзкого ответа».

Новый следователь, вероятно, считался специалистом по «психическому воздействию». Совершенно пренебрегая тем, что следствие уже велось и даже было оформлено его окончание, он повел допрос в угрожающем тоне, как если бы к нему привели только что арестованного преступника и надо его сразу разоблачить. Он требовал, чтобы я рассказал о своих преступлениях, назвал имена «сообщников», дал «конкретные показания»; он с многозначительным видом задавал неожиданные вопросы; злорадно усмехаясь, он предупреждал: «Мы все о вас знаем». На эту стандартную фразу я отозвался так же как на допросе в июле у следователя Романова; когда тот, вытащив пухлую папку фотокопий моих личных писем, в частности, письма Астахову в Берлин, сказал: «Видите, нам все о вас известно», я ответил: «Ну что ж, если вы все обо мне знаете, то знаете и то, что я честный человек». Романов тогда, вероятно, иного ответа и не ожидал, но новый следователь, испытывавший на мне свой метод «психической атаки», был несколько сбит с толку моим спокойным ответом.

Однако, мне стало жутко и было крайне трудно скрывать свое волнение, когда следователь пустил в ход самый страшный прием психического воздействия: он

угрожал арестовать мою жену, и даже пытался меня уверить, что она уже в тюрьме, и ее могут тут же привести на очную ставку, если я не стану давать требуемые показания. Непонятно, как я выдержал это испытание. Чутье мне подсказывало, что следователь лжет. Но и способность трезво мыслить пришла мне на помощь. Я не поверил, что Надю арестовали. Отвечая на угрозы следователя, я твердил одно и то же: не верю, что мою жену арестуют, не верю прежде всего потому, что я доказал свою невиновность.

Тогда подал голос сидевший позади меня стажер: «Ишь христосик нашелся», сказал он, используя штампованный оборот речи тогдашних следователей. Потом зашевелился сидевший вплотную рядом со мной уже узнанный мною подручный палача Кабулова. На сей раз специалист по «физическому воздействию» должен был способствовать «психическому воздействию». Он плохо владел речью и неуклюже проговорил, очевидно, заранее предписанную ему фразу: «Воронков слыхал, что не признаетесь и сказал: дайте мне его на одну ночь и он даст показания». Хорошо помню, что я пренебрежительно взглянул на питекантропа, кажется, даже улыбнулся. Ведь Воронкову не удалось меня сломить, к тому же я догадался, что человека-дубинку поместили рядом со мной не для исполнения им его обычных функций, а только для того, чтобы он подал реплику, которая, особенно в его устах, должна была меня устрашить.

Старший лейтенант, ведший допрос и, вероятно, придумавший эту мизансцену, смекнул, что психическая атака не возымела действия. Он перешел от прямых угроз к зловещим намекам и даже пытался меня смутить совсем неожиданной аргументацией со скверным политическим смыслом, этой темы я коснусь в дальнейшем. Следователь задал мне также ряд вопросов, на которые я уже летом давал ответы, опровергавшие клевету. Я сказал ему об этом, добавив, что он ставит знакомые мне вопросы «в своей собственной манере».

Он не уловил иронии и, кажется, был польщен. А я, очевидно, хотел дать понять, что запугивание воспринял не как реальную угрозу, а как разгаданную мною «манеру» вести допрос.

Допрос продолжался часа четыре. И этого следователя я больше никогда не встречал.

Когда я вернулся в камеру, то там впервые за все месяцы следствия со мной случился нервный припадок. Кажется я не рыдал, но истерически вопил, охваченный возмущением и отчаянием. Я бегал по камере между койками, а соседи поглядывали на меня с удивлением (я обычно не выражал своих чувств), но пытались делать вид, что ничего не замечают. Никто меня не утешал. В конце концов я улегся на койке лицом к стене («Необъятно пустыми ночами задыхаюсь у черной стены»).

Нервный припадок был вызван прежде всего угрозой арестовать жену. Но это было и шоком от крушения последних надежд на то, что, благодаря моей твердости, дело примет благоприятный оборот. Мои нервы сдали и просто потому, что мне стоило огромных усилий сохранить спокойствие в кабинете следователя. А то, что я оставался внешне невозмутим на этом страшном допросе, мне позднее подтвердил не кто иной как капитан Пинзур, возглавлявший следствие. Уже в Особой следственной тюрьме в Суханове, он сказал мне: «Мы знаем, что вы спокойно держитесь на допросе, но потом устраиваете в камере истерику». Капитан безусловно намекал на тот единственный случай в ноябре 1939 года.

Как было не потерять душевное равновесие, вспоминая в камере угрозы следователя. Я спрашивал себя: «А что, если Надю, действительно, арестовали? Собираются арестовать? А может быть, Надя где-то здесь рядом в тюрьме?» Все же приемы самовнушения мне снова помогли. Ведь после того, как в июле я получил через следователя весть от моей жены — рассуждал я — дальнейший ход моего дела был относительно благоприятным и новых осложнений не было. Я не допускал

мысли, я не позволял себе думать, что именно из-за того, что меня не удалось сломить, палачи прибегли к новому злодейскому приему — арестовали жену, чтобы таким способом заставить меня дать показания о вымышленных преступлениях.

Я вовсе изгнал из сознания опасную, гибельную мысль о том, что, защищая свою невиновность, я могу причинить страдания моей семье. Наоборот, я сохранил уверенность, что, опровергая лживые обвинения, я спасаю семью от преследований. Угроза арестовать жену — говорил я себе — была лишь элементом «психического воздействия», которое оказалось безрезультатным как и «физическое воздействие». Ведь мне в дальнейшем больше не угрожали ни арестом жены, ни, тем более, очной ставкой с нею. Утешительным признаком было и то, что я получил возможность время от времени выписывать продукты из тюремной лавочки. Хотя при аресте у меня забрали какую-то сумму денег, но мне хотелось думать, что от жены приняли денежную передачу.

Я помнил о чуде, совершившемся летом 1939 года, о том дне, когда я в разгар следствия получил весть от жены.

Но добавлю: подобно тому как искренне верующие люди не нуждаются в чудесах для укрепления в вере, так и мы с женой твердо верили, что связующая нас сердечная нить не ослабла. Я верил, что она на воле и думает обо мне. Телепатия? Не могу сказать. Но я слышал ее голос, и она — мой. Я знал это, когда в зловещей тишине тюремной ночи повторял про себя стихи, обращенные к ней:

Сквозь стены зданий,
Сквозь ночь, сквозь плотный мрак квартир,
Над площадьми, над проводами,
Кометой сквозь холодный мир,
Сквозь тучу горя и сомненья,
Над перекрестками дорог

Несется песня избавленья
От тягов страха и тревог.
Когда мир понят — он прозрачен,
Чертеж изученный так прост:
На нем пунктиром обозначен
В мозгу сооруженный мост.
Над черной пропастью разлуки
Я перебросил песнь мою . . .
Мне солнце протянуло руки . . .
Ты слышишь? Я пою! . .

ГЛАВА VIII

ОТГОЛОСОК В ТЮРЬМЕ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОГО ПАКТА

На допросе в ноябре 1939 года следователь не только угрожал арестовать мою жену, но и прибег к грязному политическому шантажу. «Изобличая» меня как «германского шпиона», старший лейтенант НКВД СССР заявил, что доказательства получены от... Гестапо. Следователь поведал мне, что СССР в дружбе с гитлеровской Германией и добавил с таинственным видом, как бы раскрывая служебный секрет: «Так что мы обмениваемся с Гестапо материалами». Из чего и вытекало: «Мы все о вас знаем». Это было сказано многозначительным и зловещим тоном. Я привожу точно его аргументацию; хорошо помню слова о том, что НКВД обменивается материалами с Гестапо!

Я уже услышал в камере, что между СССР и фашистской Германией заключен какой-то договор. Но я счел глупой выдумкой заявление следователя, что НКВД поддерживает связь с Гестапо. В таком смысле я и отвечал следователю. Я мог бы, кроме того, ему сказать (возможно, и сказал, не помню), что, если бы удалось получить доступ к архивам Гестапо, то были бы найдены доказательства того, что гитлеровцы видели во мне врага и что гитлеровская контр-разведка старалась воспрепятствовать моей антифашистской деятельности. Когда в 1935-1937 гг. я работал в посольстве СССР в Берлине, за мной была установлена слежка. Геббельс приказал редакторам берлинских газет не поддерживать со мной отношений. В частности, он предложил бойкотировать прием, устроенный мною в качестве первого секретаря посольства, ведавшего связью с пе-

чатью. Два берлинских журналиста нашли способ выразить мне сожаление по поводу того, что им не разрешено посетить прием. Зато один из заместителей Геббельса, некто Берндт, пришел, для того ли, чтобы проконтролировать своих подопечных, для того ли, чтобы приглядеться к советским дипломатам.

В блестящем зале посольства, к которому примыкал зимний сад, собралось довольно большое общество: немало немецких ученых, и много иностранных журналистов и дипломатов, и один (только один!) известный кино-актер. Словно призрак чумы среди оживленной толпы появился в зале облаченный в мундир штурмовика рослый детина с грубым лицом и наружностью борца тяжеловеса. Я предложил заместителю Геббельса вместе с другими гостями посмотреть отрывки из советских фильмов. Во вступительном слове я сделал несколько выпадов против фашизма; кадры съемок физкультурного парада на Красной площади я сопроводил замечанием, что парад юности в Москве происходил как раз 30 июня 1934 года, когда в другой стране разыгрались весьма зловещие события. (Я не предвидел, что в июне 1939 года я услышу песни физкультурников, находясь в заточении.) Заместитель Геббельса был раздражен моими намеками на расправу Гитлера с его сподвижниками, происшедшую именно 30 июня 1934 года. Как бы в отместку Берндт, уходя, высказался критически о фильме «Подруги», посвященном борьбе рабочих в царское время; в фильме — заметил Берндт — неправдоподобно показаны действия полиции: «Она слишком медлила, это неправильно». Берндт был знатоком своего дела, он сочетал обязанности руководителя пропагандой с функциями палача и убийцы. (Я обнаружил такую его характеристику в западногерманской работе по истории гитлеризма).

Не только при непосредственном знакомстве с заместителем Геббельса я имел возможность приглядеться к облику законченного фашиста. Я наблюдал вблизи

повадки рядовых гитлеровских чиновников и будущих крупных военных преступников.

В качестве первого секретаря посольства, ведавшего печатью, я бывал на приемах для дипломатов и журналистов у Альфреда Розенберга. Потому ли, что я знал его биографию или в силу какой-то неосознанной ассоциации, я, приглядываясь к бесцветному, прыщеватому лицу мракобеса с претензиями на образованность, вспоминал встречавшихся мне в дореволюционные годы никчемных студентов-белоподкладочников, к которым я, как и другие революционно настроенные юноши, относился враждебно и пренебрежительно.

Посещая приемы Розенберга в отеле Адлон, я не здоровался с хозяином приема отчасти из брезгливости, но главным образом по соображениям политической тактики. Иностранные журналисты внимательно следили за советско-германскими отношениями и сделали бы неуместные и нежелательные выводы из того, что хорошо им знакомый представитель посольства СССР публично обменялся рукопожатиями с Розенбергом. Я и сотрудникам Розенберга однажды разъяснял, что принимаю приглашения и слушаю доклады фашистских лекторов только, чтобы получить информацию из непосредственного источника.

Мне приходилось видеть и слышать Геринга и Гитлера. Я не мог отделаться от впечатления, что передо мной — дегенеративные субъекты. Но важнее, конечно, то, что это были лютые враги моей страны. Однажды, находясь в качестве представителя советского посольства на заседании рейхстага, я демонстративно вышел из дипломатической ложи во время речи Гитлера. Я счел, что советский дипломат не должен присутствовать при том, как глава государства позволяет себе выступать с резкими выпадами против СССР. Гитлер, отвратительно визжа и кривляясь на трибуне, еще выкрикивал свои лозунги, когда я шагал по безлюдному коридору, и ко мне подбежал офицер-эсесовец: «Кто вы такой?» — «Советский дипломат!» Вот уже внизу

в холле голос Гитлера доносится издалека, но громко звучит команда дежурного офицера: «Машину советского посольства!» Пока по пустынным улицам, между черными шеренгами выстроившихся эсэсовцев мчалась моя машина, я продумывал свой поступок: действовал политически правильно, но несомненно и поддавшись эмоциональному отвращению к распоясавшемуся фашистскому диктатору и демагогу.

После пребывания в гитлеровской Германии мое обусловленное политическими взглядами и мировоззрением враждебное отношение к фашизму стало более эмоциональным, личным. Я проникся презрением и ненавистью к тем циникам и насильникам, которые претворяли в жизнь фашистскую идеологию и воплощали все худшее, что таится в человеке.

В 1939 году, в тюрьме, хоть я уже «непосредственно познакомился» с обликом Берии, Кабулова, их подручных, я все же не мог даже вообразить, что они стали сотрудничать с берндтами, розенбергами и прочими фашистскими злодеями. Берндты были в моих глазах воплощением гитлеровского режима, а кабуловы — не только выродками, но и уродливыми исключениями в том обществе, к которому принадлежал и я сам. Так думал не только я один. Так рассуждают и сейчас многие.

Итак, в ноябре 1939 года я не поверил следователю. Однако я уловил, что слова о контакте НКВД с Гестапо отражают какую-то новую атмосферу в государственном аппарате. До осени 1939 года ни начальство следователя, ни он сам никак не решились бы, хотя бы для того, чтобы запугать и запутать подследственного, обыгрывать такую тему, как сотрудничество НКВД с Гестапо. Прибегнуть к таким приемам можно было только если самая идея контакта советского аппарата с фашистским уже не представлялась чем-то фантастическим и архипреступным.

Теперь-то я знаю, что тогда это было реальностью; Сталин через работников НКВД получил от Гестапо

фальсифицированные материалы для фальсифицированного суда над маршалами; после августа 1939 года органы НКВД вступили в контакт с гитлеровским аппаратом, в частности, когда передавали ему немецких антифашистов, арестованных в СССР.

Ни о чем таком я в 1939 году и помыслить не мог. Я воспринял как чудовищную нелепость все происходящее: следователь, обвинявший меня, антифашиста, в том, что я будто бы германский шпион, хвастал тем, что НКВД поддерживает дружественные контакты с Гестапо! Какой же тогда политический смысл имело предъявленное мне обвинение? Следователь лгал — говорил я себе — но как он смеет внушать подследственному, находящемуся в изоляции от внешнего мира, подобные вымыслы о политике советского правительства? А вдруг в его словах есть хотя бы ничтожная доля правды? В чьих же руках я в таком случае нахожусь? Я оказался в каком-то призрачном, сумасшедшем мире . . .

В ноябре 1939 года я не знал, что разразились роковые международные события. Я имел лишь туманное представление о том, что произошли некие важные перемены в советской внешней политике. Узнал я об этом случайно, когда в конце августа к нам в камеру привели только что арестованного работника «органов». Переступив порог камеры, он сразу объявил: «Мы помирились с Германией. Заключен важный договор». Никто не решался расспрашивать. Я в волнении опустился на койку.

Было над чем задуматься человеку, активно участвовавшему в проведении антигитлеровской политики. Было над чем задуматься человеку, которого в обстановке борьбы против агрессии Германии облыжно обвиняли в том, что он ее пособник.

Забрезжили надежды: если атмосфера в советско-германских отношениях разрядилась, руководители следствия могут потерять интерес к делам, начатым до поворота во внешней политике. Мое дело могли бы

прекратить и потому, что я сумел защититься и так как дело лишилось того злободневного характера, какой ему хотели придать в обстановке непосредственной угрозы войны.

Надежду сменил страх; возможна и другая зловещая альтернатива: стремясь обосновать целесообразность крутого поворота во внешней политике, оправдать договоренность с гитлеровской Германией, могут затеять пропагандистскую кампанию, даже фальсифицированное судебное дело, чтобы оклеветать, опорочить активных участников антигитлеровской политики, политики окружения фашистского агрессора. Скажут: вот, мол, враждебные элементы толкали нас на опасную авантюру, на войну с Германией, они теперь разоблачены, а угроза германского нападения устранена.

Признаком такого возможного поворота в деле бывших работников советской дипломатии и явился тяжкий допрос, которому меня подвергли в ноябре 1939 года. Позднее эти планы отпали; до инсценировки процесса дело таки не дошло.

Но, как мне рассказывали — это отражено и в некоторых исследованиях, — в пропагандистской кампании, развернутой после заключения пакта с Гитлером, немалое место занимали попытки очернить тех дипломатов и журналистов, которые старались противодействовать гитлеровской агрессии; известно, что в этом смысле высказывались и новые работники дипломатического ведомства. В поклепах на антифашистов были единодушны и палачи в застенках и авторы официозных статей и молодые карьеристы в государственном аппарате.

Мы же, в то время томившиеся в тюрьме, вовсе не были склонны сразу дать одностороннее злостное истолкование тому, что заключен договор с Германией. Я воспринял самый факт заключения договора без чрезмерного удивления или возмущения. Участники борьбы за создание барьеров на пути гитлеровской экспансии не были психологически подготовлены к

тому, чтобы сама антигитлеровская коалиция (будь она создана) развязала войну. Центральная идея заключалась в том, что нужно и можно объединенными усилиями государств, которым угрожала Германия, предотвратить войну, сохранить мир. В силу своей приверженности к мысли, что надо избегнуть бедствий войны, мы, оставаясь идейными антифашистами, не исключали в принципе возможности какого-либо маневра советской дипломатии ради сохранения мира. Эту мысль я на конкретном примере, относящемся к 1938 году, проиллюстрировал в своих воспоминаниях, опубликованных в «Новом мире» (1967 г., № 7).

Какую ненависть я ни испытывал к германскому фашизму, все же в качестве исполнительного работника дипломатического ведомства, я способствовал урегулированию отношений с Германией. Однако, мысль об отказе от антифашистской политики, об отказе от союза с антифашистскими силами на мировой арене, такая мысль была абсолютно чужда и мне и моим товарищам.

Знаменательно, что в год, предшествовавший советско-германскому пакту, к Литвинову и его сотрудникам относились одинаково недоверчиво и враждебно и сталинский политический штаб и гитлеровские дипломаты в Москве. Сталин, Молотов и Берия, подготовляя почву для далеко идущего соглашения с фашистской Германией, посадили в тюрьму кадровых работников НКИД. А до того как это случилось, гитлеровское посольство в Москве, рассчитывая с осени 1938 года, после Мюнхена, на поворот сталинской политики в сторону Германии, с нетерпением ожидало, когда же Сталин снимет М. М. Литвинова с поста наркома и арестует наиболее серьезных его сотрудников. О таких чаяниях гитлеровских дипломатов свидетельствуют и документы из архивов германского дипломатического ведомства, которые были после поражения Германии опубликованы на Западе, а в СССР пока утаиваются. Листая теперь англо-американские издания трофейных документов, я с острым любопытством прочел секретные донесения

советников германского посольства в Москве, и в частности, то письмо знакомого мне советника посольства фон Таппельскирха, в котором он осенью 1938 года высказал предположение, что Литвинов будет снят, а Гнедин уже арестован. Примерно, через полгода после того, как гитлеровские дипломаты сообщили в Берлин о таких своих надеждах, Литвинов был действительно удален со своего поста, а я в числе других его сотрудников был арестован.

Уже находясь в тюрьме, я оценивал политические события, исходя не из опыта невинно пострадавшего работника государственного аппарата, а с тех позиций, с каких этот работник аппарата анализировал бы события, будучи на воле. (Мне еще придется подробней говорить об этих усилиях преданных слуг государства и в тюрьме и в лагере, а также и после реабилитации сохранить свои давнишние представления и заблуждения).

Итак, узнав в тюрьме о договоре с Германией, я счел, что советское правительство совершило чисто внешнеполитический маневр. Ведь вплоть до моего ареста я с полной убежденностью и с достаточно вескими основаниями, можно сказать, с знанием дела, разоблачал в прессе капитулянтский и антисоветский характер мюнхенской политики и всей внешнеполитической деятельности западноевропейских правительств, в первую очередь Англии и Франции (не говоря уже о фашистской Италии). Поэтому, узнав о соглашении с Германией, я полагал, что правительство СССР, учитывая последствия антисоветской политики западноевропейских правительств и Польши, оказалось перед необходимостью, отнюдь не отступая от своих принципиальных позиций, нейтрализовать возможность нападения Германии на изолированный Советский Союз.

Я пришел бы в крайнее смятение, если бы мне в тюрьме стали известны факты. Ведь я не знал, что Англия дала гарантии Польше, не знал, что она действительно вступила в войну с Германией после нападения

Германии на Польшу в сентябре 1939 года, и что началась война между Германией, с одной стороны, и Польшей, Англией и Францией — с другой. Я не подозревал, что именно накануне начала европейской войны Советское правительство прервало переговоры с Англией и Францией, и именно в этот момент заключило пакт с Гитлером. О разделе Польши между Германией и СССР я понятия не имел; если бы кто-нибудь высказал такое предположение, я бы не поверил. Мог ли я думать, что Сталин заключил с Гитлером не только договор о ненападении, но и договор о взаимопомощи, что Сталин материальными средствами поддержал агрессию Германии? Мне и в голову не приходило, что Сталин и Молотов открыто заявили о своем отказе от антифашизма. Мне стало известно через много лет.

В лагерь я попал сразу после начала войны. Успехи гитлеровских полчищ, самое пребывание фашистских войск на советской земле, то, что эсэсовцы шагают по улицам наших городов, — все эти факты я воспринимал как мучительный кошмар. Тем не менее, когда я мыслил спокойно, то сохранял твердое убеждение (не успокаивал себя, а был убежден), что в конечном счете германский фашизм потерпит крушение. Хорошо помню, как в октябре 1941 года, когда мы шли на работу в лес, нагруженные топорами и пилами, (что было еще непривычно) я, откликаясь на панические разговоры по поводу успехов германской армии, удивил моего попутчика (некто Адаскин) своим категорическим предсказанием, что Гитлер потерпит поражение; я был убежден, что он обречен на поражение именно потому, что, не сумев довести до конца войну с западными державами, напал на СССР и сам вовлек в антигитлеровскую коалицию Советский Союз. Иными словами я и после начала войны не был поколеблен в уверенности, что коалиция европейских государств и США в состоянии одолеть Германию; после 25 месяцев тюремного заключения я сохранил тот общий взгляд на перспективы исторического развития, с которым пришел в тюрьму.

ГЛАВА IX

ТЮРЬМА И СТРАНА (1)

К раздумьям о периоде, предшествовавшем войне, к воспоминаниям о впечатлениях, полученных осенью 1939 года на допросах и в тюремной камере, меня вернул в лагере Сталин своим нелепым тезисом «о внезапности нападения» гитлеровской Германии на СССР в июне 1941 года. (Просто поразительно, как это в стране не поняли, что, если правительство, оправдывая катастрофические неудачи в начале войны, ссылается на внезапность нападения, то оно тем самым признается в своем политическом банкротстве).

На всех этапах истории советского государства, вплоть до сороковых годов, не только сторонники политики Коммунистической партии, но и ее противники, сочли бы признаком неосведомленности, политического невежества, предложение, что окажется возможным внезапное, непредвиденное нападение на СССР, (не пограничный конфликт или иное сходное событие, а неожиданное развязывание войны, да еще во всеобъемлющем масштабе). Дипломат, журналист, агитатор, я был приучен, и других приучал к тому, что надо постоянно считаться с враждебностью к стране социализма капиталистических правительств и их военных штабов, всегда принимать в расчет возможность нападения на СССР. А уж после прихода к власти германского фашизма такая постоянная готовность к тому, что Гитлер пустится в военную авантюру представлялась непререкаемым правилом. Из уверенности в том, что нас не застанут врасплох, вытекал и популярный лозунг: если разразится война, мы будем ее вести на территории врага.

Когда же враг захватил огромную часть территории

нашей страны, когда обнаружилась неподготовленность армии и страны к отпору Германии (в результате массовых репрессий, а также из-за грубых просчетов Сталина), тогда жалкие оправдания Сталина и ссылки на «внезапность нападения» побудили меня вспомнить разглагольствования следователя в ноябре 1939 года и намеки других следователей в 1939 и в 1940 году на дружбу СССР с Германией. Я стал отдавать себе отчет в том, что пакт с Гитлером, заключенный в 1939 году, не был просто тактическим шагом, он не был спасительным политическим маневром, а губительным отказом от принципиальной внешней политики, сговором с агрессивной фашистской державой. Вернувшись в Москву после почти семнадцатилетнего отсутствия, я окончательно удостоверился, что Сталин ориентировался на постоянное сотрудничество с германским фашизмом, он рассчитывал, что они с Гитлером поделят мир.

Я высказал такие предположения (в несколько неопределенной форме) в своем выступлении на дискуссии в Институте марксизма-ленинизма при обсуждении книги А. М. Некрича «1941 22 июня», происходившей 16 февраля 1966 года, накануне 23 съезда КПСС. Тогда я говорил также о связи, зависимости между роковыми ошибками, допущенными во внешней политике, и порочной внутренней политикой. Я упомянул об уничтожении кадров и особо подчеркнул вред, причиняемый отсутствием в стране и в государственном аппарате свободы информации, я прибавил, что «вопрос о точности и правдивости информации злободневен и сегодня» (у меня сохранилась копия стенограммы).

Свобода и правдивость информации — вот узловая проблема!

О современных проводниках официальной политики часто зло шутят: «они говорят не то, что думают, и делают не то, что говорят». В мое время государственные служащие, хозяйственники и журналисты, в своем

большинстве думали то, что говорили и писали; мы старались не писать того, чего не думали.

Люди, с которыми я был связан дружбой или совместной работой, не закрывали глаза на просчеты и ошибки, но охотно соглашались с доводами их оправдывавшими, или старались отрицательным явлениям противопоставить положительные. Мы не были слепо убеждены в том, что можно построить подлинный полный социалистический строй в одной отдельной стране, да еще и отсталой. Но мы твердо верили, что происходит динамический процесс строительства социалистической экономики и нового общественного строя, более совершенного, чем капиталистический. Мы укрепились в этом убеждении, когда в тридцатых годах разразился мировой экономический кризис.

Если развитие дел внутри страны внушало беспокойство, а порой страх, мы, международники, (как и люди других профессий) отстраняясь от ответственности за внутреннюю политику, уходили с головой в нашу профессиональную деятельность, в пользе которой мы были убеждены. Это давалось легко журналистам и дипломатам, когда они, находясь на работе за-границей, непосредственно сталкивались и даже боролись с реакцией и фашизмом.

Обсуждая в своей среде свободно и откровенно международное положение или шаги Советского правительства, мы вплоть до 1939 года неизменно исходили из убежденности в том, что СССР главная международная сила, противостоящая фашизму и империалистическим организаторам войн, сила, могущая предотвратить катастрофу. Такая уверенность побуждала оставлять без ответа волнующие вопросы, связанные с положением внутри страны. Вдобавок, если только бедствия еще не обрушились на человека, с увлечением отдавшего свои силы и мысли проведению внешней политики, которую он одобрял, то такой человек действительно не располагал ни временем, ни душевны-

ми силами для того, чтобы рассеять морок, порожденный безудержной демагогией и массовым психозом.

Одна из пагубных черт преданных слуг советского государства, и обывательской массы, — это неспособность или нежелание свести воедино, в общую картину опыт общества и собственный опыт, сопоставить события и политические мероприятия, относящиеся к различным областям государственной жизни. И в эти годы, когда я восстанавливаю в памяти прошлое, мало кто отдает себе отчет в том, какая тесная взаимозависимость существует в СССР между внешней и внутренней политикой. Порочные и даже преступные внешнеполитические акции в 1967 и в 1968 гг. имели вредные последствия во внутренней политике, затормозили развитие страны. В семидесятых годах внутриполитическая стагнация и даже регресс, форменный разгул различных реакционных клик осложняют, а то и срывают осуществление разумных и насущно необходимых мероприятий в области внешней политики.

Пагубные черты преданных слуг государства — о которых я только что говорил — были и мне присущи в прошлом. Поэтому, вспоминая о моей попытке в 1966 году публично указать на подлинную взаимозависимость между внутренней и внешней политикой режима сталинской диктатуры, я как бы обозначил веху в эволюции моей психологии. Возвращаясь от этой вехи назад к тому времени, которому посвящен мой рассказ, я мысленно прокручиваю в обратном направлении фильм, запечатлевший пережитую мною драму идей. И я обнаруживаю, что проблемы, на которые я теперь пытаюсь дать ответ и которые я затронул в качестве вольного участника дискуссии в 1966 году, тревожили меня, но оставались без ответа, в 1939 году, когда я был узником во Внутренней тюрьме НКВД СССР.

Постепенно я в тюрьме пришел к мысли, что, находясь в заключении, стал понимать методы управления страной лучше, чем раньше, когда я исполнял свои служебные обязанности. В камере центральной след-

ственной тюрьмы накапливались сведения о положении в стране не менее ценные, нежели те, которыми располагал дипломатический чиновник, сидя в своем служебном кабинете на Кузнецком мосту.

К концу тридцатых годов был чрезвычайно сужен объем информации, к которой допускались работники государственного аппарата. Правда, я представлял некоторое исключение, так как в качестве заведующего отделом печати имел в своем распоряжении разнообразную информацию. В НКИД сложилось нелепое положение: заведующие отделами, лишенные информации, выходящей за рамки их служебных дел, заходили ко мне в кабинет «частным образом», чтобы полистать бюллетени ТАСС, не предназначенные для печати, или чтобы осторожно расспросить, что пишут иностранные корреспонденты. Зарубежное радио тогда еще не было распространенным источником информации. Я же с санкции наркома выписал из Ленинграда большой шкаф-приемник; мы с моим заместителем записывали радиопередачи иностранных станций и телеграфных агентств и составляли в переводе на русский язык краткие сводки для сведения руководства НКИД, а иногда и для других инстанций. Это было новинкой, за то вызвало подозрительность. Когда Молотов стал наркомом, какой-то полковник из его окружения специально зашел ко мне, посмотрел на шкаф, изготовленный на заводе им. Козицкого, и пробормотал: «Вот оно что».

О том, что происходит в мире, я был хорошо осведомлен. Я знал больше других и о таких событиях в стране, о которых умалчивали наши газеты, но сообщали в своих телеграммах иностранные корреспонденты. Они получали газеты со всех концов Советского Союза, а там в те времена публиковались сообщения об арестах и процессах, о которых в центральных газетах не сообщалось. Но тем не менее, механизм управления страной мне оставался неясным, и он стал по-

нятнее, когда я провел много месяцев во Внутренней тюрьме НКВД СССР.

Сколь ни мрачна была атмосфера в тюремной камере, все же люди оставались людьми. Возникала потребность в общении. Раскрывались характеры, профессиональные интересы; можно было сопоставить ход жизни и события в различных слоях общества: работа и личные отношения были в те годы окрашены в мрачные тона из-за разгула террора, преследований и доносительства.

Конечно, паузы между допросами заполнялись не только рассказами об ужасах следствия. Иногда удавалось отвлечься или отвлечь соседей от тяжелых размышлений. Однажды я вздумал прочесть вслух отрывок из статьи Белинского о Лермонтове (по книге, полученной из тюремной библиотеки). Я теперь нашел это место, посвященное поэме «Мцыри». В огромном периоде говорится о чувствах, обуревавших поэта: «Несокрушимая сила и мощь духа, смирение жалоб, елейное благоухание молитвы, пламенное бурное одушевление, тихая грусть, кроткая задумчивость, вопли гордого страдания, стоны отчаяния . . .» Незачем приводить этот отрывок полностью. Теперь он мне не по душе, а в тюрьме понравился. Очевидно, мне казалось, что пылкая речь, напоминающая о богатстве душевного мира человека, внушит бодрость узникам. Меня слушали внимательно, но никто не сказал ни слова. Восхваление «несокрушимой силы духа» и «гордого страдания» не могло найти отзвука у жертв репрессий и пыток; каждый слышал лишь стоны отчаяния в своей душе.

Недавно, перечитывая «Повесть о двух городах» Диккенса, я сопоставлял со своим опытом рассказ о том, как внушали друг другу бодрость жертвы террора, обреченные на смерть, как люди, связанные общностью социального происхождения и взаимным уважением, старались скрасить мучительное ожидание суда и казни. Кажется, нечто подобное наблюдалось порой в 1937 и 1938 гг. в переполненных камерах Бутырской тюрьмы.

Но по моим наблюдениям только отношения между отдельными узниками напоминали картину, нарисованную Диккенсом, картину, правда, идеализированную.

С этими моими размышлениями связана другая, совсем неожиданная ассоциация, которая возникла в эти дни при чтении трагедии Гете «Торквато Тассо». В трагедии два центральных образа, противостоящих один другому: проницательный, но скептический сановник и вдохновенный поэт. Легко ранимый и требовательный к людям, поэт гневно обличает придворных за то, что они недоверчивы и коварны, их разделяет взаимное непонимание и недоброжелательство. Между тем, рабы на галерах, скованные единой цепью, люди, которым нечего терять и не на что надеяться, они знают истинную цену каждого, хорошо понимают друг друга.

Поэт, полагавший, что в заключении люди способны к взаимопониманию, испытал бы во Внутренней тюрьме еще одно горькое разочарование. Бывшие сановники, оказавшись в заключении, чувствовали, что они скованы общей цепью, и что им одинаково не на что надеяться, но все же они оставались в своем большинстве столь же недоверчивыми и несклонными к подлинной товарищеской откровенности, какими они обычно были, когда делали карьеру под властью диктатора. Отчужденность, бездумная исполнительность, страх перед начальством, автоматизм бюрократа перерастали в тюрьмах и лагерях в рабский автоматизм, в покорность невольников. Конечно, таков крайний предел, к которому вела или могла привести эволюция личности в обстановке террора. Одни приближались к этому предельному состоянию, в лагере ожесточались и попросту дичали, а другие, наоборот, закаляясь в страданиях, становились отзывчивее, человечнее.

Советский бюрократ на сталинских галерах — неприглядное зрелище. Говорю об этом, потому что восстанавливаю в памяти обстановку в Центральной следственной тюрьме при НКВД СССР, куда заточили недавних «ответственных работников», чтобы предъявить

им самые тяжкие обвинения. Предо мною предстают трагические и даже зловеще гротескные фигуры. Но я помню прекрасно, что в тюрьмах и лагерях томились огромные массы людей, террор распространялся не только на государственных служащих, но на все слои населения.

Я должен сказать, что отвергаю обобщенную отрицательную и безысходно мрачную характеристику душевного состояния и поведения людей в тюрьмах и лагерях. От таких рассказов, даже если они вполне правдивы в страшных деталях, веет человеконенавистничеством, которое к добру не ведет.

Никогда я не забуду моих товарищей в беде, меня поддержавших в лагере, моих собеседников и друзей. Никогда мы с женой не забудем, как в лагере знакомые и незнакомые заключенные помогли нам встретиться, когда она тотчас же по окончании войны приехала в Устьвымьлаг, в Княжпогост, не получив в Москве разрешения на свидание. Доброжелатели, заключенные, оказавшие помощь жене узника в ее хлопотах о свидании, передавали ее друг другу как эстафету; у Нади тогда сложилось впечатление, что она встречала среди заключенных только хороших людей.

Да разве я сам был чиновником или рабом по своей психологии? Вовсе нет.

Я запишу здесь один эпизод из лагерной жизни, который имеет отношение к теме этих моих рассуждений. В том же Устьвымьлаге, я однажды, будучи простым рабочим, пытался воспротивиться тому, чтобы нашу бригаду повернули в конце тяжелого зимнего рабочего дня обратно на погрузку вагонов.

Это заметил давно относившийся ко мне враждебно начальник лесобиржи, заключенный, бывший крупный аферист. Расталкивая столпившихся работяг, человек с узким и острым как бритва лицом подошел ко мне вплотную и спросил: «Вы что, Гнедин, хотите в лагере сохранить свое достоинство?» Я крикнул: «Да!» Пожав плечами, он приказал направить нашу бригаду на

ночные сверхурочные работы. В дальнейшем этот уголовник, поощряемый лагерным начальством, систематически меня преследовал, десятники знали, что меня надо ставить на самые тяжелые работы и — главное — не давать мне передышки. Дело шло уже не о том, чтобы сломить мое человеческое достоинство, но вовсе меня сломить. Я спасся, когда мне удалось уйти из-под власти моего супостата, перейти на другую тяжелую работу — на лесозаводе.

Описанный эпизод — лишь один из этапов борьбы за человеческое достоинство — да и за жизнь, — длившейся семнадцать лет. Испытания, связанные со следствием, — начальный этап в этой борьбе. На этой начальной стадии я еще только овладевал уменьем оставаться самим собой вопреки насилию над человеческой личностью. В специфических условиях центральной следственной тюрьмы я и наблюдал смятение жертв террора, и разделял их смятение. Попав в общую камеру, я держался настороженно. Некоторые друзья, послушав мои рассказы, нашли, что в моем поведении было кое-что напоминающее Швейка.

Однако, я в тюрьме мысленно дал своей линии поведения иное символическое обозначение: «Юность Генриха IV». По версии Генриха Манна, юный принц-гугенот, потеряв после кровавой Варфоломеевской ночи друзей и единоверцев, скрывал от придворных свои чувства, свое горе и свои намерения. Придерживаясь тактики «юность Генриха IV», я никому не говорил, как понимаю суть своего дела и смысл применяемых к нам репрессий. Я никому (кроме Кузеница) не сказал, кем я был до ареста. Мои соседи предполагали, что я журналист. Они не знали, что меня обвиняют в государственной измене и думали, что мое дело относится к наиболее безобидной категории — «агитация».

Я не рассказывал в камере, чем занимался до ареста и какую занимал должность, полагая, что благодаря этому доносчик, помещенный в камеру, попадет впросак, так как его начальство, принимая от него донесе-

ния, обнаружит, что он даже не знает, кто я такой. Мои предположения подтвердились в середине зимы. Во время прогулки, когда мы шагали в маленьком закуте между высокими административными зданиями, шедший впереди меня мой сосед по камере, бывший наркомвнуделец, вдруг обернулся и злобно прошипел: «Настоящий враг народа даже в камере скрывает, кто он такой». Мне было ясно, что мой сосед зол, потому что остался в дураках, докладывая следователю свои наблюдения надо мной. А фраза, брошенная им, была бессмысленна, ведь от следователя я не скрывал и не мог скрыть, кем был до ареста.

Однажды меня вызвали на допрос к незнакомому следователю, который показал мне почтовую открытку от какого-то бывшего нашего соседа по камере, не то вышедшего на свободу, не то отправленного по этапу. Ретивый клеветник с дороги докладывал следователю, что находившийся в нашей камере инженер из Баку будто бы рассказывал о своих преступлениях и будто бы я присутствовал при этом разговоре. Следователь предложил мне сказать, что я знаю по этому поводу. Стенографистка должна была записать мои ответы. Я понимал, что инженер из Баку жаловался нам — как и другие — на нелепость предъявленных ему обвинений. Излагая свою биографию на допросе, он рассказал, что, служа в царской армии простым солдатом, он стоял на часах у какого-то склада в тот день, когда произошла резня между тюрками и армянами. (Подследственные часто излагали следователю подробно свою биографию, чтобы продемонстрировать свое добросовестное отношение к делу). Рассказ бакинского инженера следователь, ведший его дело, изложил в протоколе как «признание» бедняги в том, что он . . . разжигал национальную рознь. Вероятно, этот эпизод не имел большого значения для исхода дела, но престарелый инженер (жаль, что я забыл его фамилию) принял близко к сердцу злостное истолкование его чистосердечного рассказа. Он восклицал, обращаясь к соседям по камере: «Ведь я охранял

склад как часовой, при чем же тут разжигание национальной розни?» Все это я изложил вызвавшему меня следователю. Я доказывал правоту подследственного и в заключение твердо заявил: «Разумеется, ни о каких своих преступлениях он нам не рассказывал, он несомненно честный человек». Когда я это сказал, стенографистка не удержала вздоха облегчения. Она обрадовалась, что какой-то незнакомый ей заключенный не сказался доносчиком. Редкий случай, когда я мог обнаружить, что и сотрудники следственного аппарата «чувствия имеют».

В течение зимы 1939-1940 гг. состав узников в камере часто менялся. Людей уводили и приводили днем и ночью. Однажды глубокой ночью ввели человека, еще вечером находившегося на свободе. Мы приподнялись с мест, собираясь его расспрашивать о новостях с воли. Но он остановился между тесно стоявшими койками и, обращаясь ко всем сразу, спросил без обиняков: «Бьют?» Мы оставили вопрос без ответа. Утром выяснилось, что наш новый сосед — журналист. Он бывал в Отделе печати и знал меня в лицо. Я его не помнил, он же довольно красочно описывал, как я давал какие-то распоряжения цензору. Охотно он поведал мне, что задолго до моего ареста в журналистской среде удивлялись, что я еще не арестован. А сейчас, оказавшись со мной в одной камере, он явно был удивлен, что я еще жив. Именно этот сосед (забыл его фамилию) пересказал мне и слухи относительно моего «интервью» и его истолкований. (Я об этом уже говорил в предыдущих главах).

Запомнилась волнующая встреча с Николаем Ивановичем Романовым. Насколько помню, его перевели из другой камеры к нам в декабре 1939 года. Мне его фамилия была знакома еще с тех времен, когда я ведал германскими делами в Отделе Западной Европы. В конце НЭП'а Н. И. Романов занимал пост заведующего Финансовым отделом Моссовета, я же в качестве референта по Германии, находился с ним в служебной переписке.

При ликвидации частных предприятий, возникших в годы НЭП'а, их произвольно облагали разорительными налогами. Эти репрессивные финансовые мероприятия применялись и к германским гражданам, владевшим магазинами или мастерскими. Германское посольство в Москве бесплодно протестовало против распространения на германских граждан фактически незаконной системы обложения, а НКИД бесплодно пытался хотя бы несколько смягчить остроту конфликта, избегнуть ухудшения советско-германских отношений из-за изменения внутриполитического курса. По поводу таких отдельных казусов мы и переписывались с Н. И. Романовым в конце двадцатых годов. А через десяток лет встретились лично в тюрьме.

Несмотря на то, что Н. И. Романов был крупным работником государственного аппарата, близким сотрудником Л. М. Кагановича по финансовым делам, он сохранил какое-то ему присущее, при всем его практицизме, чистосердечие. Вплоть до дня ареста он находился во власти иллюзий. Правда, Каганович с ним сыграл скверную игру. В начале августа по случаю «Дня железнодорожников» Каганович поздравил своего ближайшего сотрудника с награждением орденом Ленина, а через четыре дня «орденоносца» арестовали, конечно, с ведома Кагановича. Курьезная деталь: когда жена на рассвете разбудила Николая Ивановича, сообщив, что на дачу прибыли сотрудники НКВД, он не заподозрил, что они явились его арестовать. «Пусть подождут», сказал он недовольным тоном. Но агенты НКВД ждать не пожелали.

Мужественный, красивый человек плакал, рассказывая, какие возмутительные обвинения ему предъявлены и как он бесплодно защищал свою невиновность. Николай Иванович негодовал по поводу нелепости, нереальности показаний, ему приписанных после пыток; так, он якобы «передал троцкистам» из кассы НКПС такие огромные суммы денег, какие — по его вычислениям — он мог бы собрать только, если бы продал все

рельсы, проложенные на железнодорожных путях СССР.

Мы встретились с Николаем Ивановичем через несколько лет в Устьвымьлаге. Он держался там с достоинством и был доброжелательным товарищем.

Когда моя жена осенью 1945 года приехала в Княжпогост и добивалась свидания со мною, она познакомилась и с Н. И. Романовым (у него был пропуск, дававший право свободного хождения вне лагпункта). Надя запомнила, как красивый, седой с черными бровями человек с горечью сказал ей при встрече: «Нас слишком поздно арестовали, нас надо было арестовать раньше за то, что мы жизни не знали».

Н. И. Романов вернулся после реабилитации в Москву и я его навестил.

Некоторое время нашим соседом по камере был Наниешвили. Старый большевик сохранял спокойствие и держался особняком. Правда, он сообщил нам, что был учителем Сталина в дореволюционные времена. О своем ученике, посадившем его в тюрьму, он упоминал без откровенной злобы, но и без пиетета. Как-то разговорившись, Наниешвили рассказал нам, как в начале борьбы с троцкистской оппозицией его командировали в Оренбург; там он застал тогдашнего секретаря губкома Н. И. Ежова на вокзале в салон-вагоне, куда тот скрылся, так как в городской партийной организации сторонники Троцкого имели большое влияние. Будущий организатор уничтожения партийных кадров, в том числе и преданных Сталину деятелей, струсил в те годы, когда ему было поручено дать отпор оппозиции против Сталина. Учитель Сталина не без удовольствия поведал эту историю заключенным; многих из них Ежов посадил в тюрьму, и они знали, что Ежов снят с поста наркома внутренних дел.

Как-то в нашу камеру доставили бородатого мужичка в оборванном бушлате. Первоначально мы недоумевали, каким образом этот молчаливый колхозник попал в центральную тюрьму. Когда же новый сосед отоспался,

его побрили, то пред нами предстал типичный интеллигент с тонким измученным лицом. То был Буров-Шуб, заместитель председателя Комиссии Советского контроля при Совнаркоме СССР.

Бурова арестовали в каком-то крупном сибирском городе, где он был в командировке. Там его пытали, продержали в подвалах и в камерах уголовников. Те его ограбили, так что тюремное начальство, когда Бурова отправляли в Москву, вынуждено было выдать ему рваный бушлат. Бурова заставили подписать показания, где в числе «заговорщиков» была поименована и председательница Комиссии Советского контроля, знаменитая большевичка Землячка. Она так и не была арестована; Буров (как и мы) не мог это знать. Из рассказов Бурова я впервые узнал о том, что следователи не гнушаются и аргументов из арсенала антисемитов. Буров-Шуб считал себя обреченным человеком; в том, что его перевели в Москву, видел признак скорого конца, готовился к смерти, но оставался внешне спокойным. Он обратился ко всем соседям с просьбой, если кто-либо выйдет на волю, рассказать, что он был честным человеком, что он — жертва пыток и клеветы.

Тяжело далось мне расставание с М. Б. Кузеницом. Мы с ним понимали, что его дело заканчивается. Он даже получил посылку от жены. И вот наступил день, когда ему была дана команда: «На выход с вещами!» Мы расцеловались и Кузениц «ушел в никуда». Почему-то в камере сложилось представление, что Кузеница ждет самое худшее. Мне не хотелось так думать, но последующие годы меня не оставляла мысль, что я больше никогда не увижу человека, общение с которым облегчило мне жизнь в тяжкие месяцы самых страшных испытаний. Какова же была моя радость, когда он в 1957 году совершенно неожиданно появился в моей московской квартире . . .

ГЛАВА X

ТЮРЬМА И СТРАНА (2)

Необходимо суммировать те тюремные впечатления и ассоциации с ними, благодаря которым я, находясь в заключении, стал лучше понимать систему управления страной под властью диктатуры. Попытаюсь вкратце обобщить и тюремные впечатления, и некоторые мысли, возникшие теперь, когда я записываю свои воспоминания.

Зимой 1939-1940 гг. в нашей камере пробыл несколько месяцев бывший начальник отделения НКВД на железнодорожной станции. (Это он сообщил мне о пакте с Гитлером, и он назвал меня «врагом народа»). Не помню названия станции, на которой работал мой сосед, но запомнил его фамилию: Фадеев. Он был арестован после того, как вблизи от станции произошло крушение поезда. Из бесед с ревностным проводником репрессий на «вверенном ему участке», мне стало ясно, что арест этого человека фактически не нужен был при расследовании причин крушения. С таким же основанием он мог бы арестовать других железнодорожников, к чему он уже приступил. Крушение поезда было лишь поводом для ареста именно этого начальника отделения НКВД на транспорте. А причиной ареста было то, что надо было реализовать «график мероприятий на транспорте». А график был составлен, потому что транспорт работал плохо и правительственные органы уделяли особое внимание положению на железных дорогах. Снимали с работы и арестовали инженерно-технический персонал и других администраторов, причастных к транспорту. В правильности такого объяснения я убедился дополнительно, когда к нам в камеру доставили

Н. И. Романова, члена коллегии НКПС, арестованного в том же месяце, когда арестовали Фадеева.

Аналогичное объяснение можно было дать и аресту инженера-металлурга из Днепропетровска, очутившегося в нашей камере, да и многих других хозяйственников. Позднее в Сухановской тюрьме я встретился с двумя бакинцами, один инженер, другой — статистик. Оба они проходили по одному и тому же делу; в Баку были арестованы и привезены в Москву люди различных специальностей. Затеяли крупное дело в связи с неполадками в нефтяной промышленности; основное ядро арестованных составляли работники этой отрасли. Но дело вскоре переросло в огромную акцию по «борьбе с врагами народа». Как известно, в Баку тогда хозяйничал палач Багиров, занимавший пост секретаря республиканского ЦК.

Наконец, можно и мой арест счесть частью «государственных мероприятий» в той области, в которой я работал.

*

Находясь в тюрьме в 1939 году, я вспоминал свои впечатления от командировки в 1934 году в Казахстан. (Я время от времени просил редакцию «Известий» дать мне возможность познакомиться с жизнью страны на основании собственных впечатлений). В тот год я объехал в южном и северном Казахстане недавно созданные животноводческие совхозы. Мне было поручено освещать в телеграммах ход сеноуборки, а в корреспонденциях — общее состояние новых совхозов.

В Казахстане тогда свирепствовал голод. Вдоль тракта, на юге Казахстана, бывшие украинские деревни были опустошены — раскулачиванием.

Совхозы должны были стать центром восстановления животноводства. Казахское население, да и местное начальство, относилось недоброжелательно к организаторам совхозов, прибывшим со стороны. Немало приехало в Казахстан и рабочих-строителей из других

разоренных областей страны. Между новыми казахскими колхозами и новыми совхозами возникали конфликты и даже открытые столкновения — местное население не хотело уступить пастбища государству.

Директоров новых совхозов, вынужденных работать в условиях разрухи и неурядицы, при первой же неудаче снимали с должности и часто арестовывали. Вернувшись в Москву, я через главного редактора «Известий» (кажется — И. М. Гронского) передал в ЦК записку, в которой рассказал обо всем, чему был свидетелем в совхозах и высказался критически по поводу того, что работников совхозов сурово карают, если начатое в тяжелейших условиях дело на первых порах у них не ладится. Вероятно мою записку сразу сдали в архив. Редактор молчал.

Я не решился бы осуждать аресты, мотивированные борьбой с вредителями и т. п. Я критиковал репрессии, применявшиеся к хозяйственникам, которым, например, ставили в вину затяжку в землеустройстве или в заготовке кормов.

Через пять лет, в тюремной камере, я убедился, что уже в Казахстане я был свидетелем того, как применяется определенная — в основном постоянно действовавшая — система управления государством. Сажали в тюрьму по таким же мотивам и основаниям, по каким увольняют или объявляют выговор. Правда, чаще всего аресты «оформлялись» как мера по борьбе с «врагами народа». Но не всегда так поступали. Мой сосед по камере, Фадеев, обвинялся в халатности. Мне были известны печальные случаи, когда арестовали за упущение по службе, а потом придумывали политическое обвинение. Но я знал и случаи, когда обвинение во вредительстве заменялось обвинением в халатности.

В условиях диктаторского режима аресты, судебные и внесудебные репрессии, будучи неотъемлемым элементом внутренней политики, являются также определенным методом администрирования, управления государством, в том числе и народным хозяйством.

В конце тридцатых годов, работая в «Известиях», я написал статью по поводу так называемой «пацификации» в Польше; такое название правительство Пилсудского дало систематическим репрессиям в Западной Белоруссии; это были жестокие мероприятия, в деревнях свирепствовали карательные отряды, тюрьмы были переполнены. Я озаглавил свою статью об этих событиях: «Пацификация как метод внутренней политики». С. А. Раевский, заведывавший Иностранным отделом редакции, визируя статью, которая ему не очень понравилась, сказал мне: «Я пропускаю эту статью только ради заголовка». Я тогда не уловил скрытого смысла в словах этого умнейшего и весьма сдержанного человека.

Между тем массовые репрессии против значительной части крестьянства, проводившиеся в СССР под лозунгом ликвидации кулачества как класса, представляли собой именно разновидность «пацификации», как я ее истолковал в статье о Польше при власти Пилсудского. Конечно, я тогда не допускал и мысли об аналогии между «пацификацией» в Польше и «пацификацией» в СССР. А ведь я был непосредственным свидетелем того, как применялся этот «метод внутренней политики».

Зимой 1929 года я добровольно отправился по поручению шефской организации в Центрально-Черноземную область. Там близ Льгова, в тургеневских местах, я разъезжал по деревням в качестве агитатора. Вскоре у меня возникли сомнения и тревожные мысли; я обнаружил, что значительная часть крестьянства неохотно идет в колхозы, во всяком случае колеблется. Порой колеблющихся можно было переубедить в спокойной беседе. Мысль о преимуществе артельного хозяйства не была вовсе чужда и беднякам и многим середнякам. Но колебания крестьян перерастали в протест и мятеж, когда власти прибегали к нажиму и незаконным арестам. (Я изложил свои впечатления в очерке, опубликованном в «Красной Нови» в мае 1930 года; теперь я с удивлением установил, что редакция опубликовала достаточно правдивое описание событий).

В начале 1930 года мои сомнения рассеялись лишь только прозвучали магические слова Сталина: «Головокружение от успехов». Нас, агитаторов, собрали на совещание в районном пункте на станции Конышевка. Докладчик, прибывший из окружного центра, очевидно из Льгова, объяснил нам, что в коллективизации допущены перегибы, их надо немедленно исправить. Доклад был примерным пересказом статьи Сталина, опубликованной чуть позднее, 2 марта 1930 г. Незадолго до того, я предложил районным руководителям освободить несколько семей, доставленных в район из той деревни, где я побывал. Я доказывал, что эти семьи не относятся к категории кулаков. Не велика заслуга: ведь все репрессированные крестьянские семьи были жертвами беззакония и произвола. Меня обрадовало известие о том, что правительство исправляет во всей стране такие ошибки и перегибы, какие и мне пришлось наблюдать и исправления которых я добивался. Я испытал огромное облегчение. Помню, что я сказал себе: «Это моя партия!», хотя я сам еще не был членом КПСС...

«Моя ли это партия?» — спросил я себя пять лет спустя, в 1936 году. Находясь в Москве во временной командировке из Берлина, где был на постоянной работе, я присутствовал на партийном собрании в НКИД. На меня произвела угнетающее впечатление кампания проработок на партийных собраниях, свидетелем которой я оказался неожиданно для себя.

Я был за границей, когда в государственном аппарате развернулась кампания, подкреплявшая репрессии и подготовлявшая новую волну репрессий. Во время побывки в Москве мне сразу бросилось в глаза ухудшение обстановки в НКИД СССР. Уже оказались на первом плане те застрельщики травли честных людей, которые в 1928-1939 гг. — конечно, по наушению свыше — развернули особенно широкую и планомерную кампанию против работников дипломатического аппарата, пришедших туда в первые годы революции. Молодые карьеристы прямолинейно пробивали себе дорогу к

должностям, особенно к заграничным постам. Они изощрялись в злостных выдумках по адресу работников, побывавших за границей. При этом те подозрения, которые в этих случаях высказывались, бросали любопытный свет на психологию организаторов травли: они явно были в глубине души убеждены, что пребывание в капиталистических странах полно непреодолимых соблазнов.

Репрессии во всеобъемлющем масштабе в дипломатическом ведомстве происходили позднее, чем в других звеньях государственного аппарата. Вообще же к середине тридцатых годов насаждение страха и доносительства, аресты и репрессии против партийных и государственных работников стали таким же постоянным методом внутренней политики, как и карательные мероприятия в деревне. (Парадоксальным образом эта система мероприятий привела к тому, что в дальнейшем новые кадры государственных служащих пополнялись в значительной мере выходцами из крестьянской среды).

Понимал ли я в те годы, почему так случилось, что я, еще будучи вне партии, восклицал: «Это моя партия!», а оказавшись в рядах партии и на доверенном посту, усомнился: «Моя ли это партия?» Нет, не понимал. Подобно многим идейным участникам строительства советского государства, я долгие годы не подвергал сомнению исходные предпосылки и принципы, когда спрашивал себя, почему план построения нового справедливого общества фактически не осуществлен.

Размышляя в тюрьме над эволюцией советского общества, я восстанавливал в памяти последние статьи Ленина (в тюрьме нельзя было получить для чтения книги Ленина). Я вспоминал также, как я был озадачен тем, что на XVII съезде была ликвидирована созданная в конце жизни Ленина Центральная Контрольная комиссия ВКП(б); по мысли Ленина, она должна была в качестве независимого органа обеспечивать контроль над бюрократизирующимся государственным, да и партийным, аппаратом вплоть до его верхушки. Ка-

жется, я уже в те годы понимал, что ЦКК никогда не играла той роли, для которой была предназначена. Все же ликвидацию ЦКК и учреждение вместо нее Комиссии Партконтроля, подчиненной ЦК, вернее Политбюро, я воспринял как отказ от — правда, и нереализованных — идей Ленина о борьбе с бюрократическим перерождением правящего аппарата.

Мои сомнения насчет целесообразности ликвидации ЦКК не помешали мне отнестись с доверием к другим решениям того же XVII съезда. Некоторые из них я и сейчас мог бы пересказать, не заглядывая в старые издания. Так, например, я воспринял без оговорок изложенные в докладе Кагановича на XVII съезде директивы об усилении организационной работы, без чего будто бы невозможна была реализация социалистической линии партии. А ведь этот тезис на деле был сформулирован для того, чтобы укрепить позиции и расширить полномочия всевластного аппарата, действующего по указке свыше, по указке диктатора.

И в годы репрессий, предшествовавшие моему аресту, и в тюремной камере я в поисках ответа на мучительные вопросы мыслил в шорах. Когда предо мною открылась бездна, я не встал на ноги, не отступил в сторону, я, склонившись над пропастью вглядывался в нее все под одним и тем же углом зрения.

Да что там говорить! Годы понадобились мне для того, чтобы по-новому оценить эволюцию нашего общества, а вернее, вернуться к той позиции, из которой я исходил до того, как был сам втянут в процесс общественной эволюции.

Недавно я внимательно прочитал опубликованную в «Правде» в 1923 году статью Л. Б. Красина: «Контроль или производство?» Многозначительный заголовок... Красин выступил с возражениями против статьи Ленина: «Как нам преобразовать Рабкрин?»; в первую очередь Красин возражал против создания ЦКК; он настаивал на том, что центральная задача в строительстве нового советского государства заключается вовсе

не в развертывании огромного аппарата контроля, надзиравшего над теми, кто занят реальным делом; наоборот — доказывал Красин — надо свести к необходимому минимуму контроль со стороны часто некомпетентных лиц, не отвлекать дельных людей в контрольный аппарат, а сосредоточить лучшие силы на самом производстве в широком смысле слова, на конкретной хозяйственной работе в Советах, в промышленности, в деревне, на создании реальных ценностей.

Глубокие мысли, высказанные Красиным в двадцатых годах, бросают свет на обстановку, сложившуюся в конце тридцатых годов, более того, бросают свет и на трагедию людей, находившихся в тюрьмах и лагерях того времени.

Инженеры и ученые, армейские командиры и директора заводов, комсомольские активисты и выросшие в атмосфере революционной романтики партийные работники, дипломаты и журналисты, — все мы оказались узниками Внутренней тюрьмы, на площади Дзержинского, не просто по той причине, что в те годы свирепствовал массовый террор, обрушившийся на общество. Мы свалились в яму не потому, что сбились с пути, по которому шла страна. Мы вместе со всем населением страны оказались в сетях диктаторского режима и сформировавшейся под его властью общественной психологии. Об этом свидетельствовали и наши биографии и ложные обвинения, предъявляемые нам, и аргументация следователей и наша контр-аргументация.

Существует историческая и логическая связь, взаимозависимость между рядом явлений и черт, характеризующих эволюцию советского государства и общества. Все это звенья одной цепи: идея всеобъемлющего контроля над жизнью общества, над идеологией и над экономикой, неограниченное, и часто произвольное вмешательство партийных инстанций в работу промышленных предприятий и судебных органов, в деятельность творческой интеллигенции и в труды крестьянства, травля ученых и писателей и ареста хозяйствеников, невыпол-

нивших невыполнимые задания, внедрение лозунга бдительности, а следовательно доносительства, и, наконец, массовый террор.

Все это звенья одной цепи, которая приобрела страшные, зримые и ощутимые очертания в тюремной камере.

Жертвы террора тридцатых годов, о которых я вспоминаю, к числу которых принадлежал и я, могли охватить мыслью всю цепь событий, определивших их судьбы, и не могли предвидеть, как эти события скажутся на дальнейших судьбах страны. Мало кто тогда разобрался в мотивах, в тайнах и последствиях происходящей трагедии и в существе того государственного переворота, который фактически произошел между 1934 и 1940 годом, не был подготовлен предыдущим развитием. Я в тюрьме придумал (для собственного употребления) такую формулу: расправа с партийным и государственным аппаратом, это — борьба за наследство Сталина при участии самого Сталина. То была, конечно, надуманная и неполноценная попытка обобщения. Моя формула была неверна прежде всего потому, что Сталин вовсе не пекся о своем наследстве, он собирался еще долго жить и властвовать. С помощью неслыханного террора он стремился укрепить свою власть, свою личную диктатуру. И все же в формуле, придуманной мною в тюрьме (почему я здесь об этом упоминаю) был известный смысл: в результате террора тридцатых годов, да и позднейшего периода, сформировался тот жестокий и по сути своей растленный политический режим, который остался в наследство от Сталина.

Ключевский сказал однажды: прошлое надо изучать не потому, что оно прошлое, а потому что, уходя, оно не умело убрать своих последствий. Я, собственно, и веду рассказ о прошлом, потому что хотел бы помочь себе и другим разобраться в современных событиях. Несмотря на усилия нынешних фальсификаторов истории советского государства, невозможно восстановить культ Сталина. Но его наследство все еще обременяет

жизнь общества. Если от него не удастся освободиться, то вся система может обанкротиться.

В сталинских тюрьмах и лагерях завязались узлом противоречия всей истории нашей страны в 20 веке. Этот узел не развязан и поныне. Когда я говорю о том, что существует историческая и логическая связь между рядом явлений и черт советского общества в различные периоды его истории, то я имею в виду и связь между методами управления государством в годы массовых репрессий и состоянием советского государства во второй половине 20 века, когда система управления и экономическая система зашла в тупик. (Это ясно каждому мыслящему человеку).

Я пишу эти строки в мае 1973 года, когда происходит интересный и широко задуманный поворот во внешней политике СССР. Отчасти поэтому особенно заметен кризис внутренней политики, катастрофическое положение народного хозяйства и убожество политики в области идеологии. Правящий аппарат, если угодно, правящая каста, противится любым, буквально любым демократическим преобразованиям, либо вовсе уходит от решения коренных проблем, либо пытается решить все вопросы общественной жизни, науки и искусства, перестройки промышленности и разоренного сельского хозяйства и даже научно-технической революции с помощью централизованного администрирования, секретных директив и демагогии, оперирующей обесцененными лозунгами.

С этим связано то, что политический режим семидесятых годов, несмотря на его отличие от режима, существовавшего в те времена, о которых я повествую, имеет с ним общие опаснейшие черты; судебный произвол, отсутствие твердого правового порядка, использование судебной процедуры и следственного аппарата для политических репрессий. Чрезвычайно важно, конечно, что нет *массовых* репрессий. (Подчеркиваю — массовых). Но сохранилось беззаконие, самоуправство; благородные люди, подвергшиеся преследованиям, по-

падают в лагеря с гнусным и суровым режимом и даже в застенки, прозванные «психушками».

Как мне не сказать обо всем этом здесь, в записках о беззаконии прошлых лет?

Человек, побывавший в тюрьмах и лагерях, прекрасно понимает, что грешно уподоблять жизнь на свободе (как бы трудна она ни была), пребыванию в заключении. Но, должен признаться, что в атмосфере безвременья, когда честно мыслящие люди, помнящие о благе народном и простых законах нравственности, исполнены тревоги, а благополучные и безыдейные бюрократы преследуют таких людей, душат мысль и слово, цинично пренебрегают общественными интересами, проявляют непробивное безразличие к справедливости, — в этой обстановке перед моим мысленным взором предстают призраки палачей и жертв, встреченных мною в прошлом в тюрьмах и лагерях.

ГЛАВА XI

ТЮРЬМА И СТРАНА (3)

Воспоминания о показательных судебных процессах

Я далек от того, чтобы придавать чрезмерное значение аналогии между прошлым и настоящим, ведь есть и существенное различие. Сказанное мною в этих главах — предупреждение. Связав в моем рассказе тюрьму со страной, опираясь на тяжкий опыт прошлого, я говорю: использование суда для политических преследований, административный и судебный произвол, это не просто порочный метод управления страной, это — раковая болезнь, разъедающая весь общественный организм. Катастрофа таится уже в самой возможности беззакония.

Я говорю об этом не только потому, что я сам был в прошлом жертвой беззакония. Я не только жертва, но и свидетель массовых репрессий, происходивших в нашей стране на протяжении десятилетий. Возможно, что я отклоняюсь от основной темы моих записок, но я просто не в состоянии продолжать их писать, пока не скажу, хотя бы в самых общих чертах, о том, какое место занимали массовые репрессии и показательные судебные процессы в жизненном и политическом опыте моего поколения, в моем личном опыте.

Речь идет о таком небывалом сочетании злодейства и лицемерия, что, естественно, возникает и вопрос об ответственности за зло. Если страна и народ допускают истребление правящей верхушкой многих сотен тысяч — верней: миллионов невинных граждан, то ответственность падает не только на правителей и их подручных. Правители редко держат ответ перед строгим

собственным судом, они либо избавлены от необходимости взглянуть правде в глаза, либо усыпляют свою совесть. Суд собственной совести — привилегия невольных пособников дурного режима. Я принадлежал к их числу и несу ответственность.

Кроме открытых и секретных процессов в стране проводились другие мероприятия, часто обрекавшие на гибель сотни тысяч невинных людей; такой смысл имели проработки и исключения из партии на собраниях, происходивших по всей стране несколько лет подряд. К моему счастью я вплоть до ареста числился кандидатом в члены партии, и это освобождало меня от необходимости подавать голос за исключение из партии затравленных честных людей. Пожалуй, важнее то, что я в годы террора кое-кому помог избегнуть беды. Один товарищ, встретившись со мной после моего возвращения из ссылки, утверждал, что я спас ему жизнь. Мне это не приходило в голову.

Попросту говоря, я был «порядочным человеком». Однако, я усердно выполнял свои обязанности доверенного политического работника и даже был причастен к освещению в прессе чудовищных показательных процессов.

Я возлагаю и на себя моральную ответственность за то, что творилось в стране с конца двадцатых до конца тридцатых годов. А между тем я вовсе не хочу вычеркнуть из моих воспоминаний эти годы. Не только я «строк печальных не смываю», а не могу сказать, что это печальные строки. Мы радовались жизни, мои друзья и я были полны сил, мы накапливали знания, мы совершенствовались в своей специальности и совершенствовались как личности, мы изведали истинную любовь и подлинную дружбу, нам были доступны вершины поэзии, мы верили в будущее человечества и были убеждены, что содействуем прогрессу человеческого общества.

Да, так оно было, и я утверждаю это вопреки скепсису

людей семидесятых годов, но и — казалось бы — вопреки тому, что я сам здесь рассказываю.

Трудно уравновесить чаши добра и зла. Я еще буду думать и писать об этом. Пока же продолжу рассказ о том, что отяжеляет чашу горестей и печали. Может быть самый мой рассказ поможет уравновесить эту чашу.

*

Впервые я соприкоснулся с политическим судебным процессом в 1925 году. Я только начинал свою работу в качестве референта по германским делам в НКИД СССР, когда состоялся процесс трех немецких студентов — Киндермана, Вольшта и фон Дитмара. Суд заседал в сравнительно небольшом зале, тесно набитом публикой. Трех немцев обвиняли в том, что они по заданию организации фашистского типа «Консул» прибыли в СССР с преступными намерениями. Первоначально в прессе появились плохо мотивированные выпады и против чинов германского посольства, потом эту линию свернули, в чем немалую роль сыграл Г. В. Чичерин. Германская пресса утверждала, что дело трех студентов затеяли лишь по той причине, что нужны были заложники для обмена; в апреле 1925 года германский суд осудил некоего Скоблевского, обвиненного в том, что он в качестве «московского эмиссара» занимался нелегальной деятельностью в Германии. Я тогда не был посвящен в секреты, но считал возможным, что для спасения мужественного коммуниста, попавшего в лапы буржуазного суда, оказалось необходимым задержать молодых фашистиков, прибывших в СССР под видом туристов.

Самый суд произвел на меня тягостное впечатление. Была инсценирована экспертиза, в роли эксперта выступал деятель германской коммунистической партии и Коминтерна Нейман; его выступление не имело отношения к судебному делу; мне казалось, что коминтерновец тяготится предназначенной ему ролью; сидя в

дальнем ряду, я наблюдал, как наливается кровью затылок эксперта, когда суд задавал ему вопросы. Обвиняемые держались не одинаково: один — твердо и иронично, другой не мог справиться с паническим страхом, третий — спокойно исполнял обязанности свидетеля обвинения и говорил все, что от него требовал суд.

Уже тогда, задолго до нашумевших судебных инсценировок, мы, желая рассеять сомнения в справедливости приговора, прибегали к спасительной и, по сути беспринципной, мотивировке: обвиняемые действительно имели те преступные намерения, которые им приписывались, но они не успели их реализовать...

С острыми — политическими и моральными — проблемами я столкнулся, когда в 1928 году происходил первый и, пожалуй, самый шумный, показательный процесс — знаменитое шахтинское дело. Не только недальновидные люди, но можно сказать — большинство читателей газет и участников собраний, не способны были счесть фальсификацией, инсценировкой судебное дело огромного масштаба, по которому привлечены к ответственности несколько десятков инженеров, которое много недель слушалось публично под председательством известного ученого, Вышинского, при обвинителе, старом большевике Крыленко и общественном обвинителе, видном инженере Шеине.

(Шеин вскоре тоже был арестован по обвинению во вредительстве, а Крыленко через десяток лет был расстрелян в числе других жертв сталинского террора).

Я в то время уже работал по совместительству в «Известиях», но посещал систематически заседания суда не в качестве журналиста, а как работник дипломатического ведомства. К суду было привлечено несколько немцев-техников, работавших на шахтах Донецкого бассейна. В связи с этим произошел конфликт между СССР и Германией. Когда начались судебные заседания, нарком Г. В. Чичерин поручил мне следить за ходом дела и ежедневно делать ему доклад. Под

конец я получил от Чичерина более серьезное поручение, о котором расскажу.

В Колонном зале Дома Союзов чуть ли не целое лето разыгрывалось небывалое зрелище: один за другим поднимались на эстраду пожилые инженеры — среди них видные организаторы производства, пионеры современной русской угольной промышленности, начальники шахт, штейгеры, техники — и, щурясь при вспышке юпитеров, вздрагивая при щелканьи фотоаппаратов, чернили старую интеллигенцию, частично и новую интеллигенцию, объявляли себя саботажниками, приписывали себе и своим коллегам вину за все технические неполадки, какие только случились, за все аварии; те из обвиняемых, которые в прошлом принадлежали к руководящему персоналу, утверждали, что находились в постоянном контакте с эмигрировавшими владельцами шахт, а также с иностранными фирмами и банками. Прошло более десяти лет после установления Советской власти, уже давно была выиграна гражданская война, и вдруг выясняется, будто значительная часть технической интеллигенции твердо рассчитывает, что власть скоро падет. Такой гротескный вывод можно было сделать — особенно если суммировать материалы шахтинского дела и дальнейших показательных процессов, в особенности «Промпартии», и т. п.

Другой не менее «гротескный вывод» из дела был сформулирован первоначально за границей. Я помнил, что мы опубликовали в «Известиях» телеграмму из Берлина с откликом газеты «Форвертс». Когда я теперь разыскал номер «Известий», то обнаружил, — этого я не помнил — что это был ранний отклик еще на публикацию в марте 1928 г. «Сообщения прокурора Верховного суда СССР». Цитирую: «Выдвигая . . . версию о саботаже, который продолжался годами, советское правительство тем самым признает, что русские рабочие и техники Донецкого бассейна были в конечном счете все заодно с заговорщиками, либо что они форменные олухи». В свое время этот комментарий к шахтинскому

делу привлек мое внимание, но я отнес его к категории «клеветнических выступлений социал-демократической газеты» и убеждал себя, что сообщение о вредительстве в угольной промышленности обосновано, по крайней мере в главных пунктах.

К подсудимым, опровергавшим на суде предъявленное им обвинение, я относился недоброжелательно. (Если бы в начале войны, в 1941 году, состоялся неправый суд, подготовленный Берией, а я бы продолжал защищать свою невиновность, то читатели газет и ко мне отнеслись бы враждебно...). Странным образом, прочно сохранилась у меня в памяти наружность и фамилия подсудимого на шахтинском процессе, особенно твердо отрицавшего свою вину: немолодой, худощавый человек, инженер Горлецкий.

Конечно, и тогда были люди, прежде всего средней технической интеллигенции, которые догадывались, что шахтинское дело — фальсификация. Но многие тысячи людей, следивших за процессом, оставались во власти «большой лжи»; до их сознания не доходило то, что обвинение — голословное, а вытекают из него чудовищные и несуразные выводы.

Заседания суда посещали делегации с разных концов страны. Зал был всегда заполнен. Несколько лож близ эстрады было отведено семьям подсудимых. Из одной такой ложи однажды послышался истерический вопль: «Коля! Что ты говоришь!» Это кричала жена одного из подсудимых, который чуть ли не целый месяц на публичном заседании суда ясно опровергал обвинение и вдруг признал свою вину.

А люди в зале шумели, негодовали, верили.

Я, посещая судебные заседания, внимательно учитывал все, что имело отношение к обвинению немецких техников и к их поведению на суде. Чичерин принимал меня чуть ли не каждый вечер; он интересовался и ходом дела, расспрашивал подробности о признаниях подсудимых.

Однажды, склонив голову на бок, он спросил меня:

«Как вы думаете, почему они признаются?» А потом воскликнул на высокой ноте, как ему бывало свойственно: «Их били? Били! Били! Как вы думаете?»

Я опешил. Совершенно не помню, что я ответил, отвечал ли вообще, во всяком случае я не имел оснований ответить утвердительно, да и вообще как мог отозваться на такой трагический вопрос наркома молодой сотрудник НКИД? Не могу сказать, что, собственно, имел в виду Георгий Васильевич: добились ли избиениями признаний подлинных преступников или ложных показаний честных людей? Думаю, что у Георгия Васильевича тогда еще не сложилось окончательного мнения о характере шахтинского процесса. Слушая мой доклад, он взволновался и задал вслух тот вопрос, который ставил перед самим собой. А был он опытный политический деятель, с тонким, острым умом, глубоко гуманный человек и мыслитель. Вот как сложно обстоит дело с психологией очевидцев первых крупных судебных инсценировок в советской стране. И как ясна эта проблема сейчас: били! Конечно, избивали!

В течение всего процесса Г. В. Чичерин оставался определен и тверд в одном: надо внимательно учитывать все, что свидетельствует в пользу немцев, втянутых в судебное дело о вредительстве. Нарком, несомненно, в записках в Политбюро предупреждал относительно того, как вредно отразится на отношениях с Германией осуждение германских граждан. Видимо, он либо не получал ответа, либо ему давали неопределенные ответы. Чичерин мне ничего не говорил на этот счет, но о правильности моих предположений свидетельствовало то поручение, которое к концу процесса мне дал нарком. Видимо, он был крайне встревожен создавшимся неопределенным положением, если решился на следующий шаг: он предложил мне во что бы то ни стало встретиться с председателем чрезвычайной судебной коллегии А. Я. Вышинским и сказать ему от имени наркома иностранных дел, что, по его мнению, вина немецких техников, привлеченных по шахтинско-

му делу, не доказана, а, главное, что интересы нашей внешней политики требуют, чтобы подсудимые германские граждане вышли на свободу и вернулись в Германию.

Мне было нелегко выполнить поручение наркома. У меня был служебный пропуск, но в помещение судебной коллегии мне проникнуть не удалось. Между тем, откладывать дело уже нельзя было. Я решил встретиться с Вышинским по окончании заседания; вечером я у служебного выхода ждал появления Вышинского, подобно тому как поклонники ждут оперную звезду. Когда Вышинский вышел из подъезда я подошел, представился ему (он тогда еще не знал меня в лицо) и изложил ему поручение наркома. Мы стояли под фонарем, сотрудники Вышинского держались в стороне. Вышинский сначала меня внимательно слушал, а потом спохватился и заявил, что суд будет принимать решение, исходя из существа дела.

После встречи с Вышинским я отправился в редакцию «Известий». Я не пошел сразу докладывать о моих шагах Чичерину, вероятно потому, что он начинал прием сотрудников не ранее 11 часов вечера. Я провел в редакции часа два, когда меня вызвал к себе главный редактор И. И. Степанов-Скворцов. Явно удивленный происходящим, но стараясь не обнаруживать своего любопытства, Иван Иванович сказал, что меня разыскивает Вышинский и просил ему позвонить. Редактор предоставил в мое распоряжение свой телефон. Я соединился с Вышинским и тот, чуть смущенно сообщил мне, что немецкие техники, обвинявшиеся во вредительстве, будут освобождены. Вышинский получил, конечно, директиву свыше. Почему он разыскал меня, молодого работника, а не позвонил лично Г. В. Чичерину, объяснить не могу.

Таков мой личный опыт, связанный с шахтинским процессом, опыт, который я получил, присутствуя на судебных заседаниях, а — самое главное — исполняя доверительное служебное поручение. Казалось бы, убе-

дившись в условности судебной процедуры, я мог сделать надлежащие выводы относительно характера всего дела. Так нет же: я сказал себе, что в отношении дела обвиняемых — германских граждан внешнеполитические соображения оказались весомее внутриполитических, тем более, что вина немецких техников оставалась под вопросом.

Тяжким испытанием был для меня процесс меньшевиков в 1931 году. Об аресте бывших меньшевиков я узнал задолго до суда над ними. Были арестованы активные и серьезные экономисты, в свое время сотрудничавшие с Дзержинским, когда он возглавлял ВСНХ. В числе арестованных был и мой близкий друг А. Я. Г., работавший в ВСНХ. Узнав об его аресте и будучи убежден в честности моего друга, я попытался прийти ему на помощь. Я все еще не был членом партии; но я считал, что как ответственный референт по германским делам в НКИД и автор передовиц в «Известиях», пользуюсь доверием и поэтому могу рассчитывать, что к моему голосу прислушаются. Я обратился за помощью к Брониславе Генриховне Мархлевской, вдове Юлиана Мархлевского, рекомендовавшего меня на работу в НКИД, и попросил ее переговорить с председателем ОГПУ Менжинским, сообщить ему, что есть такой Гнедин, который готов поручиться за Г. Мархлевская еще с дореволюционных времен была знакома с Менжинским и, живя в Кремле, могла его навестить на дому. С этим я и связывал свои надежды. Мархлевская утверждала, что выполнила мою просьбу, но ответа не получила. Тогда же я чуть ли не ежедневно, по утрам, посещал на дому своего знакомого Максима Бельского, сотрудника ОГПУ; я настаивал на том, чтобы Бельский, который с молодости был в приятельских отношениях с арестованным Г., ходатайствовал бы за арестованного и сказал бы, кому надо, что я готов поручиться за Г. Не помню, сколько времени положение оставалось неясным и у меня еще теплилась надежда на успех наших ходатайств. Наконец, явив-

шись в очередной раз на квартиру к Бельскому, я услышал от него потрясающую новость: «Что вы скажете, Женя, если я сообщу вам, что лично видел Сашины показания, он признал себя виновным. Показания лежали передо мной на столе». Бельский работал в Иностранном отделе, следовательно, он специально добивался сведений о положении дела нашего друга.

Я был ошарашен. Оспаривать правдивость слов моего знакомого у меня не было оснований: значит Саша в самом деле причастен к нелегальной деятельности бывших меньшевиков...

Чичеринские вопросы: «Их били? Били?» не стали для меня уроком и предостережением.

Позднее я узнал, что мой друг прошел через следовательский «конвейер», но следователи добились от него немногого. На открытом процессе его не было в числе подсудимых, хотя имя его упоминалось. Через несколько лет он вернулся из ссылки в Москву. В 1941 году А. Я. Г. погиб в ополчении в боях на подступах к Москве.

Итак, накануне процесса меньшевиков в 1931 году я получил «достоверные сведения», казалось бы свидетельствовавшие об обоснованности обвинений, предъявленных арестованным экономистам, в первую очередь меньшевикам. Полусознательно, а то и сознательно, я старался адаптироваться к создавшейся обстановке. Я вспомнил, что последнее время наметились некоторые расхождения между мною и моим другом. Не всегда мы были единодушны в оценках событий, чего не бывало в юности. Мы не соприкасались с ним в нашей повседневной работе, но с его сослуживцами и начальниками я встречался на междуведомственных совещаниях. На этих заседаниях и в разговорах вне заседаний, обнаружились разногласия по вопросам экономической политики.

В ту пору государственные учреждения возвышались как крепости среди стихии еще плохо организованной хозяйственной жизни. Работников государственного

аппарата, естественно, одолевали раздумья, суть которых можно было выразить в определенной формуле: как сочетать социалистические командные высоты в экономике с развитыми рыночными отношениями? (Так писал я в 1967 году в своих воспоминаниях в «Новом мире», № 7. Теперь бы я сказал: как сочетать государственные формы социализма с человеческими отношениями). На эти сложные вопросы трудно было дать однозначные ответы, с которыми согласились бы и экономисты из ВСНХ, и красные профессора и работники партийного аппарата. Мои друзья и я считали это естественным, считали неизбежным то, что, решая новые сложные проблемы, — новые теоретически и новые практически — экономисты расходятся во мнениях. Мы не придавали разноречиям политического значения.

Руководство партией и страной постаралось придать деловым разногласиям острую политическую форму. Когда началась травля видных экономистов, трагически осложнилась государственная работа и трагически сложилась судьба многих достойных людей. А те, кто воспринял с доверием официальную доктрину, впал в трагическое заблуждение.

После ареста бывших меньшевиков я поверил, что они в своей деятельности не руководились деловыми, а политическими мотивами, отрицательно относились к самому строительству социалистической экономики. Хотя я по-прежнему был уверен, что большинство из них не совершало преступлений, я тем не менее, не отдавал себе отчета в том, что арест «инакомыслящих» экономистов — акт незаконный. Я еще не знал, что подготовляется новый крупный фальсифицированный процесс и не предвидел, что мне придется освещать в «Известиях» этот процесс.

Я уже перешел на постоянную работу в редакции «Известий» и находился в командировке в Архангельске, когда было объявлено о предстоящем процессе «Союзного бюро меньшевиков». Тогда же меня теле-

граммой вызвали в Москву. Меня назначили руководителем группы журналистов, которым было поручено освещать в «Известиях» дело меньшевиков. Мою кандидатуру выдвинул Карл Радек, тогда член редакционной коллегии «Известий». Радек не исходил из добрых намерений или практических соображений. Он вообще был интриганом, а ко мне относился недоброжелательно. Он охотно ставил меня в трудное положение. На этот раз оно оставалось затруднительным и в том случае, если бы я не справился с поручением, и в том случае, если бы я усердствовал, выполняя задание редакции.

Находясь под впечатлением рассказов М. Бельского, я отнесся с доверием и к обвинительному заключению. Я руководил освещением в газете судебного дела профессионально квалифицированно, и даже к концу процесса написал передовую «Слово советского прокурора». Статью похвалили в ЦК. Это мне не делает чести. Для того, чтобы заслужить похвалу за статью о речи прокурора на показательном процессе, надо было написать скверную статью и — пусть непроизвольно — лживую.

Дело меньшевиков было фальсификацией от начала и до конца. Это доказано. Один из осужденных по этому делу, Михаил Петрович Якубович, мудрый и светлый человек, почти сорок лет спустя, в 1966 году представил Генеральному прокурору СССР объяснительную записку, которую он начал словами: «Никакого 'Союзного бюро меньшевиков' не существовало». Далее, М. П. Якубович подробно и ясно описывает подготовку судебной инсценировки в застенках при содействии обвиняемых, обессилевших после пыток.

А сорок лет назад в переполненном Колонном зале люди с доверием следили за ходом судебного процесса, не понимая, что они — свидетели судебной комедии и трагедии невинных людей. Снова зал шумел и негодовал, когда на авансцене появились особенно словоохотливые подсудимые, например, Громан, и в своих ответах подтверждали предъявленное им обвинение.

Крыленко шагал по эстраде словно охотник нетерпеливо поджидающий в засаде, когда пригонят зверя. Но звери-то были дрессированные.

Любопытный эпизод свидетельствует о том, как легко тогда люди поддавались обману и фальсификации. Карл Радек в дни суда опубликовал статью, в которой обильно цитировал сочинения Каутского, стараясь доказать, что социал-демократы, действительно, преследовали те цели и вынашивали те планы, которые приписывались на суде «Союзному бюро меньшевиков». Радек облек свою статью в форму воображаемого допроса Каутского на судебном заседании в Колонном зале. Это привело к занятным недоразумениям: некоторые начальственные лица заявили претензии, почему им не дали билета на то судебное заседание, на котором допрашивался как свидетель... Карл Каутский. Вот она, сила психоза, порожденного безудержной демагогией и невежеством.

Я не излагаю здесь историю своей жизни, поэтому остаются даже без упоминания многие события, относящиеся к тому же времени, когда происходили процессы. Я не пишу также историю самих процессов, а повествую о тех моих впечатлениях, которые имеют отношение к моей теме. Воспоминания о судебных процессах и поведении людей в связи с процессами сливаются в моем сознании с впечатлениями от следствия и поведения людей под следствием. Тюрьма и страна неразделимы. Тот, кто, находясь на свободе, принимал на веру или требовал, чтобы принимались на веру судебные инсценировки, оказавшись впоследствии в тюрьме, был способен участвовать в подготовке новых фальсифицированных дел. Правда, со мной этого не случилось.

Прошло более сорока лет со времени первого показательного процесса и десятки лет со времен последующих нашумевших судебных дел, а между тем нет никакой мало-мальски точной истории этих важных общественных явлений и событий*. В советских изданиях — одни

*) Написано до опубликования книги А. И. Солженицына «Архипелаг-Гулаг».

фальсификации! Поэтому, даже затрагивая под одним определенным углом зрения эти дела, приходится пускаться и в общие рассуждения.

В предшествующих главах, говоря о репрессиях против крестьянской массы при коллективизации, я назвал их определенным методом внутренней политики в условиях диктаторского режима; то же самое я сказал о систематических репрессиях против хозяйственников, не справившихся с порученным делом. С неменьшим основанием можно сказать, что сталинские фальсифицированные судебные процессы были сложившимся методом управления страной.

Однако, современники событий, искренно считавшие себя участниками социалистического строительства, по-иному оценивали методы управления страной и по-разному к ним относились на различных этапах эволюции политики партии. Судебные процессы конца двадцатых годов, и даже коллективизация со всеми ее ужасами, воспринимались как события исторически неизбежные, обусловленные общим развитием страны после революции. Вплоть до 1934 года многим казалось, что мероприятия правительства при всех своих сомнительных и отрицательных сторонах не приостанавливают развития страны в желательном направлении и будут оправданы дальнейшим ходом истории.

Иначе обстояло дело в середине и в конце тридцатых годов. Официальные объяснения, которые тогда давались судебным процессам и массовым арестам, уже не укладывались в привычную схему, уже нарушали цельность исторической картины. Тогда даже преданным слугам государства было трудно согласиться с тем, что проводятся мероприятия полезные для развития страны. Наоборот, становилось очевидным, что совершались дела вредные для страны, тормозящие ее развитие, отражающие деградацию политического режима.

И тем не менее, из всего этого отнюдь не следует, что люди сразу освободились от власти массового гипноза.

Отношение к судебным процессам — иллюстрация этой мысли; протоколы судебных заседаний, опубликованные в наших газетах того времени, производят теперь впечатление форменного бреда, сплошной нелепицы. А современники событий обычно замечали только отдельные несуразицы, отдельные случаи искажения фактов.

В отличие от большинства читателей газет, я, будучи руководителем цензуры телеграмм, посылавшихся иностранными корреспондентами, был осведомлен о возражениях, которые можно было выдвинуть против судебного процесса. Но не следует забывать, что были и такие иностранные наблюдатели — притом достаточно авторитетные — которые либо лицемерно и искусно поддерживали основные тезисы обвинения, как, например, Фейхтвангер, или английский юрист Притт, либо плохо разбирались в происходящем, как, например, американский посол Дэвис.

Вспоминаю два эпизода, когда мне было ясно, что подсудимые дают ложные показания. Когда Радек показал, что он на подмосковской даче встретился с германскими дипломатами в качестве их агента, то люди осведомленные хорошо понимали, что встреча действительно происходила, но состоялась она по поручению Сталина или Молотова, а вовсе не в связи с тайными замыслами «заговорщиков»*.

Когда на другом процессе Бессонов сообщил о своем мнимом свидании с Троцким, а иностранные журналисты обнаружили явную бессмысленность этих показаний, то и советские чиновники, допущенные на процесс, понимали, что показания на суде лживы.

В главе «Пытки» я рассказал о том, как, встретившись в канцелярии суда с прокурором Вышинским, я сообщил ему, что иностранные корреспонденты раскрыли фальшь в показаниях Бессонова, а Вышинский

*) Теперь из литературы и архивных документов, опубликованных на Западе, видно как далеко зашли тайные контакты с гитлеровцами с ведома Сталина и Молотова за спиной М. М. Литвинова.

мне спокойно ответил: «Я переговорю с Сергеем Алексеевичем» (подсудимым Бессоновым) . . .

В 1937 году наркомом иностранных дел был М. М. Литвинов, а я уже не был молодым референтом как в 1928 году, а заведующим отделом печати. Снова я докладывал наркому о том, что происходило на заседаниях суда. Максим Максимович не делал эмоциональных замечаний, подобно Чичерину, но иногда мой рассказ о показаниях подсудимого он прерывал то ли недоуменным, то ли ироническим вопросом: «И это он тоже признает?» Я же в этих случаях деловым, но тоже чуть ироническим, тоном как бы пояснял, что одно показание повлекло за собой другое. Я догадывался, что Литвинов считает версию обвинения лживой, но в беседах со мной он ни словечка об этом не проронил.

Мои воспоминания о процессах тридцатых годов окрашены в более зловещие, трагические тона, чем воспоминания о судебных делах конца двадцатых годов. Это понятно: террор неистовствовал, а я стал зрелее. Кровавый вал, прокатившийся по всей стране и уже поглотивший миллионы жителей страны, поднимался все выше и захлестнул прослойку общества, предполагавшую, что она вне опасности.

Связь между страной и тюрьмой стала еще ощутимее. Публичные процессы конца тридцатых годов были итогом серии страшных деяний, втайне совершавшихся в застенках на протяжении нескольких лет; эти судебные дела были и важной вехой в процессе разложения самого общества; обесценивались идеи и лозунги, которые господствовали при формировании советского государства. Губительная зловещая атмосфера тюрьмы грозила отравить атмосферу в обществе в целом.

В 1937-1938 гг. показательные судебные процессы устраивались не в Колонном зале, а в том же Доме Союзов, но наверху, в небольшом Октябрьском зале. Когда я теперь бываю в Колонном зале, то, возможно, из-за его больших размеров и праздничного убранства, у меня не возникают ассоциации с судебными процесса-

ми, свидетелем которых я был в прошлом. А вот посещение Октябрьского зала неизменно вызывает у меня тягостное чувство. В этом небольшом помещении как бы сохранились флюиды, нервные токи, порожденные страданиями и ужасом, которым были охвачены жертвы и очевидцы чудовищных судебных преступлений. Я сижу в зале и передо мною предстают призраки казненных деятелей Советского государства: бывший председатель Совнаркома Рыков, подтверждая нелепые выдумки, ухватился за спинку стула как за якорь спасения, а может быть, просто, чтобы не упасть от слабости; рядом мужское лицо, ставшее маской смерти — это Пятаков, когда-то сильный волевой организатор индустрии; из глубины сцены выходит скорбный Икрамов, бывший секретарь ЦК Узбекистана, а впереди у авансцены сидит элегантно одетый бывший председатель Совнаркома Узбекистана Ходжаев; бледный Н. И. Бухарин, отвечая прокурору, смотрит в зал, а вернее в будущее, с надеждой, что будет понят подлинный смысл его уклончивых ответов и туманных философских рассуждений; Николай Николаевич Крестинский пронзительным голосом заявляет о своей невиновности, и снова Крестинский (он ли это?) на несвойственном ему канцелярском языке подтверждает свою виновность; Радек после оглашения приговора, поворачивается лицом к публике и глядит в зал с жалкой прощальной улыбкой; бывший нарком внешней торговли Розенгольц, заканчивая последнее слово, пытается запеть: «Хороша страна моя родная», а Ягода, бывший нарком внутренних дел, всегда походивший на волка, теперь — затравленный волк, умоляет в последнем слове: «Товарищи чекисты, товарищ Сталин, если можете, простите!» (будто он перед ними провинился). Прокурор Вышинский, произнося кровожадную речь, делает рассчитанные жесты оратора, словно он выступает не на закрытом судилище, а перед широкой аудиторией; а в зале, в пяти первых рядах, сидят странные, неприятные субъекты, одни с массивными квадратными физиономиями, другие —

востроносые, злые; это — следователи, внимательно следящие за тем, как себя ведут их жертвы. Над сценой — несколько небольших окошек, завешенных темной, тонкой тканью; скрываясь за этими занавесками, можно смотреть сверху в зал, а из зала видно, как за тканью вьется дымок, явно дымок из трубки; главный режиссер и главный злодей любуется страшным зрелищем, наблюдает за тем, как по его приказу творится чудовищное злодеяние...

На процессах тридцатых годов я присутствовал в качестве представителя НКИД и не должен был освещать в прессе ход дела. И все же одну статью я написал: о последнем слове Карла Радека. Он утверждал, в частности, будто в стране еще ходят на свободе участники «антисоветского блока» и произнес зловещие слова о неразоблаченных «полутроцкистах» и «четвертьтроцкистах».

Меня возмутило то, что Радек в своем последнем слове, спасая свою жизнь, провоцирует новые аресты. Я предложил редакции «Известий» статью под названием: «Речь с двойным дном». Статью не опубликовали, потому что была дана директива больше не упоминать имена осужденных «врагов народа». Уже в живых нет никого из тех, кто мог бы вспомнить о моей неопубликованной статье. Но я сам должен о ней упомянуть, именно потому, что это был постыдный поступок; я был возмущен лживыми намеками Радека, но не подумал о том, что как бы пытаюсь добить смертельно раненного человека, лишенного возможности защищаться. Чтобы постичь атмосферу сталинских времен, надо знать и о недостойном поведении порядочных людей.

Воистину прав был Достоевский, говоря: «В возможности не считать себя и даже иногда не быть мерзавцем, делая явную мерзость — вот в чем беда».

Беда или вина? Думаю, все же, что в первую очередь — беда. Мы стали жертвами палачей еще до того, как оказались непосредственно в их власти.

И не находясь за тюремной решеткой, человек может быть скован незримыми цепями. Одна из многих возможных иллюстраций этой мысли, — отношение к фальсифицированным судебным процессам. Не только из примитивного страха лойяльный гражданин отвергал сомнения в том, что такое огромное число «вредителей», «шписнов», «врагов народа» действовало в стране. Сеть, в которой мы оказались, была посложнее наручников и кандалов. Мы были связаны предрассудками и иллюзиями, догмами и даже собственными надеждами на обновление общества. Догмам мы подчинялись, надежд не хотели потерять. В нашем сознании таился страх совсем особого рода: если последовательно проанализировать процессы «врагов народа», то цепь умозаключений может стать петлей, которая задушит нас самых.

(Страх перед раскрытием истины сковывает теперь сановников и чиновников, не желающих, чтобы новые поколения узнали правду.)

Если одна существенная деталь в политическом процессе была нелепостью, то возникает мысль, что все дело — фальсификация. Если один судебный процесс оказался неубедительным, то следует подвергнуть сомнению обоснованность других процессов, а тем более чудовищно жестоких приговоров. Если же серия судебных дел, а также репрессии, их сопровождавшие, не имели под собой фактической основы, то оказывается под сомнением и та внутренняя политика, одной из основных предпосылок которой было утверждение, будто участники оппозиционных групп и течений (если они, вообще, существовали) стали опасными государственными преступниками, государственными изменниками. Если это неверно, тогда подавно нет оправдания ни смертным приговорам, ни массовым преследованиям огромного числа людей, принадлежащих ко всем слоям населения. Если таким образом обнаружилось бы, что генеральная линия партии подкреплена большой ложью, клеветой и террором, то и деятельность преданного слуги государства, строящего такие свои ро-

ковые умозаключения, оказывается лишенной оправдания, даже преступной.

Так рассуждаю я теперь, когда пишу свои воспоминания. Но я не способен был так рассуждать в то время, о котором я пишу. Я не знал среди известных мне людей — я имею в виду людей безусловно честных, а были среди них и люди весьма проницательные — не знал ни одного, кто бы решился взять на себя бремя последних логических выводов из анализа тогдашних политических событий, в частности, судебных процессов.

Павел Людвигович Лапинский в 1938 году, после ареста его двух близких друзей, сказал мне: «Я, как Христос, распят между двумя разбойниками». Этот умный и чистый человек скорбел не из-за тяжести креста, который он сам готов был нести. Он говорил о другом: его пинают и хотят распять, потому что уподобляют двум уже распятым «разбойникам». Действительно, вскоре после памятного разговора Лапинский был арестован и погиб в застенке, может быть, когда и я уже там находился, и, возможно, совсем близко от камеры, в которой я был заключен.

Да, никто не хотел быть распятым, и каждый надеялся, что его минет чаша сия. Такую надежду питали в душе даже те, кто уже был охвачен паникой. А люди оптимистического склада подавно не верили, что их настигнет беда, хотя причин для опасений было более, чем достаточно. Когда летом 1937 года я вернулся из-за границы, то узнал, что арестованы в своем большинстве все те международники, на сотрудничество которых я рассчитывал в качестве Заведующего отделом печати. Я потерял и друзей и сослуживцев; можно было подумать, что во время моего отсутствия в городе свирепствовала чума. А в последующие два года не раз возникало такое чувство, будто пули сражали людей в непосредственной близости от меня. Порой это бывало совершенно наглядно. Так, на завтраке, который я давал, кажется, в честь делегации шведских журналистов, рядом со мной пустовали кресла: ночью арестовали не-

скольких редакторов советских газет, еще накануне предполагавших явиться на встречу с гостями. А я по-прежнему считал, что меня пуля не сразит. Ведь уже после ареста, я все еще не понимал, что и в моей жизни произошла катастрофа. Кабулов постарался мне это разъяснить.

В этом нежелании, даже неспособности, человека деятельного и уверенного в своей честности допустить мысль, что и его несправедливо репрессируют, а то и уничтожат, в этой странной беспечности есть аналогия с отношением человека к смерти. Уж она-то неизбежна, но человек, в котором кипят силы, не только отгоняет мысль о смерти, но живет так, словно верит в свое бессмертие. Возможно, что такое инстинктивное неприятие человеком мысли о своей конечной гибели и есть психологическое объяснение того, что в годы террора я не допускал мысли, что меня, невинного человека, арестуют.

Впрочем, уже попав в тюрьму, я по-прежнему не считал, что моя жизнь кончена.

ГЛАВА XII

НЕЖДАННЫЕ ВСТРЕЧИ В ТЮРЬМЕ

Лефортово — второе мнимое окончание следствия

Многоголосие в воспоминаниях о пройденном мною пути становится все более явственным; перекликаются несходные голоса, звучавшие в различные периоды моей жизни, отзвуки моих светлых и мрачных впечатлений. К концу повествования я попробую сопоставить звучание разных голосов, определить «чистоту звука». Но сейчас, возобновляя рассказ о том, как я боролся за жизнь и за человеческое достоинство, я слышу голос того, кто в тюрьме дал клятву: «Ни пыткой, ни словом не выжечь во мне верность стране и народу». Я напоминаю себе, что во время следствия никакие раздумья и сомнения не могли ослабить моей убежденности в том, что я не только должен опровергнуть лживые обвинения, но вправе противопоставить насилию и клевете мою преданность советскому государству, свое мировоззрение. Если бы я не имел такой уверенности, мне не удалось бы противостоять пыткам и провокациям.

Ход следствия после октября 1939 года и вплоть до суда летом 1941 года, уже не дает мне повода упоминать о таких моментах, когда бы я «чуть-чуть не совершил роковой ошибки» или чуть не попал в западню, в какую попадали многие жертвы репрессий. Тем не менее, методы следствия, которые в дальнейшем применялись в моем деле и те испытания, которым я подвергался, это — часть более широкой картины из истории нашего общества.

Зимой меня вызывал на допрос младший лейтенант Гарбузов. Я намеренно не говорю: «вел дело». Начина-

ющий работник следственных органов получал от начальства точный перечень вопросов, какие он должен был мне задать. Этот рыжеватый молодой человек старательно и не спеша записывал мои ответы. Держался он спокойно и корректно; вероятно, это было и проявлением его личных черт; если бы он вздумал держаться со мной грубо и недоброжелательно, начальство его бы за это не осудило. Позднее, в мрачнейшей обстановке, я имел случай убедиться, что он ко мне относится человечно. Но еще позднее, можно было заметить, что он приобретает грубые навыки заправского следователя тех времен.

Не стоит восстанавливать в памяти содержание допросов у Гарбузова. Клеветнических показаний он мне не предъявлял (кажется, прочитал как-то чьи-то туманные упоминания обо мне). А за пределами клеветы, собственно, и допрашивать было не о чем. Моими родственными связями следователи не интересовались, но и служебной деятельностью по существу тоже не интересовались. Раза два прочитали вслух полученные из архива НКИД записи моих бесед с иностранными дипломатами, при чем трудно было понять, почему из многочисленных записей выбрали именно те, по поводу которых у меня спрашивали объяснений. Любопытно, что ни разу ни один из следователей не заговаривал о моем отце, Парвусе, хотя в заголовке моего дела, помимо моей фамилии, было помечено: «сын Парвуса». Гарбузов, вероятно, и не знал, что после смерти Парвуса я отдал советскому государству наследство, полученное в результате сложной борьбы. (Я рассказал эту историю в «Прологе» к моим «Запискам для потомков»). Обо всем этом знали, конечно, руководители следствия; они сочли, что следует вовсе избегать на допросах освещения таких событий моей жизни, которые оказались бы в полном противоречии с попытками изобразить меня врагом советского государства.

Гарбузов расспрашивал меня о фактах, относящихся к организации работы в НКИД. Он не пытался злостно

истолковывать мои ответы. Создавалось впечатление, что кто-то, действительно, собирает фактические данные о работе дипломатического аппарата.

Как-то поздней ночью меня вызвали на допрос. Я был напуган и взволнован, как, впрочем, каждый раз, когда тюремщик приоткрывал дверь, называл мою фамилию. Правда, я же сам объяснял моим соседям, что нам не следует придавать особенное значение немотивированным ночным вызовам: следователь вызывал подследственного с таким же деловым безразличием, с каким он вытаскивал из шкафа какую-либо папку. Ожидая часа в три утра машины, чтобы ехать домой, он мог и развернуть дело, еще недочитанное, мог и вызвать заключенного, которому он днем забыл поставить какой-нибудь вопрос. А мы трепетали и старались так или иначе истолковать поведение чиновника.

Той ночью, о которой я сейчас вспоминаю, ничего серьезного не произошло. Два незнакомых молодых следователя предложили мне разъяснить им значение некоторых перемещений с должности на должность в НКИД. Их интересовало, в каких случаях дело шло о повышении, и в каких о понижении. Выслушав мои ответы, следователи, видимо, недавно переведенные в центральный аппарат, тут же при мне обменялись мнениями: наконец-то они получили вразумительные разъяснения. Очевидно, меня вызвали по совету моего следователя, сказавшего своим коллегам, что я не стану путать.

Итак, следователи были довольны, что получили достоверные сведения, касающиеся перемещения в дипломатическом аппарате. Однако, разбираясь в этих вопросах, они исходили из абсолютно ложной предпосылки будто этим аппаратом руководили враги государства. Любое верное по существу разъяснение, является ли та или иная перестановка повышением или понижением, могло быть использовано для того, чтобы облыжно обвинить кого-либо в «преступных намерениях».

Все тот же заведомо порочный круг...

Этот допрос запомнился мне по другой важной для меня причине. Был упомянут Пивень, тот сотрудник НКИД, относительно которого (как я рассказывал в предыдущих главах) следователь Романов составил протокол, вызвавший мою тревогу: как бы этот протокол не был злостно использован против Пивеня. Теперь мне предоставили возможность ясно заявить, что мне неизвестно ничего порочащего Пивеня, и эти мои показания были запротоколированы.

Драматическим эпизодом этого этапа следствия была очная ставка с бывшим редактором издававшейся в Москве газеты на немецком языке Ст-им; в двадцатых годах он был заместителем редактора «Известий». Меня привели в незнакомую мне часть огромного корридора следственного отдела. В комнате, сообщавшейся еще с двумя кабинетами, откуда то и дело заходили чиновники, чтобы поговорить о билетах в театр и других приятных бытовых делах, меня стал допрашивать неряшливый субъект, звание которого я не запомнил. Он задал мне несколько формальных вопросов, после чего по его сигналу внезапно ввели в кабинет Ст-ого и посадили на приготовленный для него стул. Я знал Ст-ого в лицо, но мы не были знакомы. Передо мной сидел измученный пожилой человек с нездоровой полнотой, в помятом пиджаке и рубашке с растегнутым воротом. Очевидно, он не успел привести себя в порядок, идя на допрос.

Вероятно, Ст-кий был проинструктирован насчет того, какие давать показания; меня же надлежало «застигнуть врасплох». Ст-ий изложил стандартные «показания», в которых излагались выдумки о каких-то наших «преступных связях» и встречах для «преступных целей». Я уже давно приучил себя соблюдать абсолютную четкость в моих ответах. Категорически опровергая ложные показания, я резко атаковал бедного Ст-ого, обвиняя его в клевете; я даже позволил себе иронически воспроизвести фразеологию следователей, и обращаясь к Ст-ому, сказал язвительно, что он, ко-

нечно, испытывает облегчение, проявив готовность помочь следователю. Для Ст-ого было неожиданностью то, что он встретил человека, не подпевающего следователям, он крайне взволновался; с трудом сдерживая слезы, он пробормотал: «Ведь я вас совсем не знал . . .» Говоря так, он не подумал о том, что опровергает только что данные показания, ему явно хотелось объясниться со мной, оправдаться, сказать, что, вынужденный давать ложные показания, он выбрал в качестве «объекта» такого человека, с которым у него не было личных отношений. А может быть, он давал понять, что его заставили сочинить показания против меня.

Мне стало жаль Ст-ого; не хотелось думать, что я причинил ему вред; возможно даже, что неожиданная встреча в конечном счете придала ему бодрости. Вообще, мне осталось неясным для чего устраивалась очная ставка; поскольку ее не проводил мой следователь, она, вероятно, понадобилась тем, кто создал дело Ст-ого.

Закончилась очная ставка своеобразно. После того, как Ст-ого увели, следователь обратился ко мне со словами: «Не правда ли, я вас культурно допрашивал?» А засим он опростал ноздрю в корзину для бумаг . . .

К концу 1939 года я приступил к систематической подаче заявлений через начальника тюрьмы. В обращениях по разным адресам, в том числе и на имя Берии, я требовал предоставления мне очных ставок с теми лицами, показания которых были мне предъявлены, и приводил различные доказательства моей невиновности. В феврале 1940 года я потребовал бумагу для заявления Молотову. Мне выдали маленький клочок бумаги; на нем я написал, обращаясь к начальнику тюрьмы, протест по поводу того, что меня лишают возможности написать обстоятельное заявление на имя главы правительства.

Ну, что ж, мне дали половину большого листа, и я в заявлении, адресованном Молотову, достаточно ясно изложил доказательства того, что подозрения против

меня не подтвердились, что я честный человек и мое дело должно быть прекращено. Я просил Молотова содействовать установлению истины. (Записываю, конечно, по памяти).

Неловко признаться, но я тогда еще не потерял надежды, что обращение к председателю Совнаркома, составленное в решительной форме, может положительно отразиться на исходе следствия. Я не ожидал, что Молотов сам вмешается в ход дела, но думал, что во всяком случае заявления из тюрьмы где-то регистрируются, а может быть учитываются. Позднее я понял, что наши жалобы и заявления из тюрем и лагерей не играли никакой роли. А уже вернувшись в Москву, я узнал от бывшего работника секретариата Молотова, что тот не только не отзывался на заявления невинных репрессированных людей, не только не читал эти заявления, но приказал не включать заявления репрессированных в реестр поступивших бумаг. Мы были списаны в расход, а наши заявления о нашей невиновности списывались в макулятуру.

То, что в описываемый период допросы были бессодержательными и спокойными, не означает, что руководители следственного аппарата вовсе потеряли ко мне интерес. Об этом свидетельствовал весьма любопытный эпизод.

В один из дней февраля 1940 г., в тот самый час, когда раздавался обед, в нашу камеру ввели нового заключенного. Он был без верхней одежды, без вещей и, вообще, в таком виде, в каком заключенных водили в туалет или в баню. Не успели мы приглядеться к странному новому соседу, как началась процедура передачи через окошко в двери мисок с едой — момент священный в жизни узников. Передали и лишнюю миску для новика. Он спокойно уселся вместе с нами за столик; я с трудом сдержал взволнованный возглас: я увидел моего сослуживца, В. В. В Прологе к запискам, озаглавленном «Дело о наследстве Парвуса», я упомянул о том, что в 1924 году В. В. принес мне газету с со-

общением о смерти моего отца. Теперь, через 15 лет, он снова оказался рядом со мной в драматический период моей жизни. Мы с В. В. не были дружны, но нас связывало многолетнее знакомство, у нас было много общих друзей.

Я сделал вид, что не знаю нового соседа. Не могу объяснить, почему я так держался, потому ли, что растерялся или из инстинктивной осторожности. Он в свою очередь не поздоровался со мной, но, съев несколько ложек похлебки, как ни в чем не бывало, словно мы уже давно сидим вместе, спросил меня, в какой стадии мое дело и чего от меня добиваются. Я же невозмутимым видом дал лаконичный ответ. Он же пустился о содержании допросов, называл некоторые имена и вызывал меня на откровенность. Едва ли он-то сам был действительно откровенным.

Разговор получился странный. Двое старых знакомых, неожиданно встретившись в тюрьме, не только не обрадовались встрече, но даже не поздоровались, а разговор между ними свелся к формальным вопросам и ответам. Странно и тягостно было видеть, как изменился В. В. Знаток международного права, юрист дореволюционной школы, теннисист, гурман и женолюб, человек со скептическим складом ума и сноб, он — от природы худощавый — теперь казался призраком, которому отведена особая роль в творимом палачами спектакле.

Мы обменивались репликами при настороженном молчании соседей, сидевших рядом с нами. Как только обеденная процедура закончилась и миски были сданы надзирателю, нас тотчас же повели в умывальную. Как обычно, заперли тяжелую дверь, но через минуту ее снова открыли, нашего неожиданного посетителя вызвали в коридор и увели.

Мне не хотелось думать самое худшее о причинах появления В. В. в нашей камере и о его поведении. Но трудно было дать объяснение этому эпизоду, трудно было предполагать, чтобы в условиях строгого тюрем-

ного режима, по ошибке ввели В. В. в чужую камеру, где, к тому же, находился его бывший сослуживец. Общее мнение моих соседей по камере выразил старик Наниешвили: «Ваш знакомый — нехороший человек...»

*

К началу 1940 года мы уже знали о войне с Финляндией. Сколь трудной была эта война, и с какими большими потерями связана, и что она начата Советским Союзом, нам, конечно, не было известно. Наоборот, услышав, что военные действия ведет Ленинградский военный округ, я подумал: стало быть военный конфликт локализован и, во всяком случае, наше правительство показало, что Финляндия — неопасный противник, раз достаточно войск одного округа, чтобы дать отпор попыткам нарушить наши границы. Еще одно мое глубокое, грубокое заблуждение!

Я оценивал военный конфликт с Финляндией, исходя из тех представлений о международных делах, какие у меня сложились до ареста. Я был свидетелем и был причастен к освещению в печати самых различных местных и пограничных конфликтов, попыток из-за рубежа «прощупать штыком» обороноспособность СССР. Я полагал, что таковы были и причины военного столкновения с Финляндией.

Только к концу 1939 года узнали мы, в нашей камере, о том, что Западная Белоруссия и Западная Украина вошли в состав Советского Союза. Я знал, в каком угнетенном положении находились национальные меньшинства в Польше; внешняя политика польских «полковников» вызывала у меня острое раздражение. Естественно, что перемены на Западе меня обрадовали. О том же, что Польша вовсе исчезла с географической карты я не знал, никто об этом не слыхал или не решался рассказывать.

С досадой думал я в камере о том, что лишен возможности охватить взглядом международное положение в целом. Примерно с начала двадцатых годов я был

сознательным участником политической жизни. Когда я стал активным журналистом-международником и дипломатом, я все больше ощущал себя деятельным проводником внешней политики, неким «субъектом» в политике. Теперь я стал ее объектом. Ранее я размышлял над тем, как подготовлять, осуществлять или популяризировать известные мне политические акции, теперь же мне оставалось только гадать, как отразятся на моей судьбе неизвестные мне политические мероприятия.

Но та неосведомленность, беспомощность, которые я воспринимал в тюрьме как нечто непривычное и неприятное, стали для населения страны чем-то привычным и даже естественным.

Зимой 1939-1940 года я еще не понимал, что, освобождаясь от гордого сознания причастности к активной политической деятельности, я освобождаюсь от пут и иллюзий. А раз я этого еще не понимал, то все более болезненным становилось такое ощущение, что я не только физически, но и психологически замкнут в тесном пространстве, в круге без света.

Я искал выхода в поэзии. Так я спасался от депрессии. Я уже говорил, что стихи в тюрьме не только выражали мои мысли и чувства, поэзия была сильнейшим средством самовнушения. Образы, самые слова, подсказанные мне памятью и вдохновением, рассеивали мрак в душе, придавали бодрость. Одно стихотворение я так и назвал: «Бодрость». Оно построено на радостных для меня ассоциациях-аналогиях. Мне казалось, что в нем шумит, живет мое любимое море:

Как белое пламя плеснула пена,
Метнулся навстречу розовый мяч . . .
Плыви же, мальчик, поймай мгновенно,
Быстрей под водою спрячь!
Но скользят ручонки по гладкой коже,
По влажной, холодной мяча крутизне,
Игрок молодой удержать не может

Огромный шар на прозрачной волне.
Как я удержу мой мир громадный?
Широкой жизненною волной
Ему навстречу я брошен, жадный,
А он уплывает в простор голубой,
А он исчезает в безбрежном раздольи, —
За ним я гнаться всю жизнь готов!
Когда цель ясна, для крепкой воли
Нет недоступных миров!

Темному, замкнутому, прямоугольному пространству тюремной камеры я противопоставил образ широкого открытого мира, круглой вселенной.

В конце марта 1940 года наступил день расставания с камерой во Внутренней тюрьме НКВД СССР. К тому времени мне уже стало ясно, что я на свободу не выйду; впереди — скитания по тюрьмам и лагерям. Помнится, я шутя говорил соседям, что в ближайшем времени у меня не будет лучшего жилища, чем наша камера, комната с паркетным полом, высоким потолком, у которой, правда, есть недостатки: на окнах — решетки и козырьки, а дверь запирается снаружи. Один из моих соседей, молодой парень, каждый раз, когда нас вводили в камеру и раздавалось щелканье замка, вздыхал: «Опать нас заперли...»

Улетучились мои надежды на справедливое окончание следствия, но это не означает, что я научился трезво оценивать свое положение. Я ждал перемен к лучшему. Когда меня стали готовить к отправке из тюрьмы (обыск и т. п.), я решил дать знать об этом моим соседям по камере. Существовал такой обычай: если арестант, уведенный из камеры, хочет сообщить соседям, что с ним ничего плохого не случилось, он через конвоира посылал сокамерникам кусок мыла, якобы попавший в его вещи по ошибке. Так я и поступил; не знаю, дошел ли до камеры мой сигнал; если

дошел, то я невольно ввел в заблуждение моих соседей.

Поездка впервые в »воронке», в закрытой машине для перевозки заключенных, произвела на меня очень сильное впечатление. Острота ощущения была вызвана не тем, что меня впихнули в узкую стальную клетку, составляющую часть большой стальной клети на колесах. Совсем другое меня взволновало: близость моей новой тюремной камеры к миру, к людям. «Воронок» был выкрашен в безобидные цвета, на машине снаружи красовались надписи: «Мясо» или «Хлеб». Поэтому люди не шарахались в сторону от машины, в которой истерзанные люди сидели, скорчившись во мраке. Когда машина останавливалась на перекрестке, я слышал как рядом, совсем близко разговаривали прохожие, слушал голоса и смех детей. С волнением вслушивался я в обычный уличный шум; вот хлопнула дверца легковой машины, заскрежетали тормоза, весело зазвонил трамвай. Незримая и желанная жизнь бурлила подле меня. Ее волны плескали у самой тюремной камеры, у самой стальной перегородки. Но жизнь и люди оставались для узника недостижимыми, как и тогда, когда он находился за высокими стенами в одиночной камере.

Я предполагал, что меня везут в Бутырскую тюрьму, может быть, в пересылку. Не везут же меня в Лефортово, в строгорежимную тюрьму? Ведь то, что проделывают с подследственными в Лефортове, со мной уже проделали «на Лубянке»!.. Каков же был мой ужас, когда, выйдя из «воронка», я услышал грохот, назойливый звук, который был признаком того, что я в Лефортове. Заключенным было известно, что в Лефортовской тюрьме чуть ли не день и ночь слышно как работает неподалеку аэродинамическая труба. И вот меня оглушил неистовый рев, меня потрясла мысль, что предстоят новые мучения.

Построенная в царское время, военная тюрьма в Лефортово считалась страшным местом в то время, о котором я пишу. А теперь, в то время, когда я пишу, именно в Лефортовской тюрьме находятся в заклю-

чении, а также допрашиваются, еще не арестованные граждане, против которых возбудили дело органы госбезопасности. Там построен специальный следственный корпус. Таким образом заключенные, подследственные и свидетели, сразу оказываются в классическом тюремном замке.

Я хорошо запомнил массивные корпуса, составляющие букву «К»; внутри между корпусами — перекресток, где сходятся пути, ведущие в различные коридоры и на все этажи. Снизу видны галереи, обрамляющие двери в камеры, по ним шагали тюремщики. На перекрестке стояли дежурные; размахивая флажками они давали знать конвоирам, в каком направлении путь свободен.

Меня привели на верхний этаж, не помню какой именно. Открылась тяжелая дверь и, хотя я сознавал, что нахожусь в верхней части здания, мне показалось, что я вхожу в подземелье. Вероятно такое впечатление было связано с тем, что маленькое окошко находилось высоко под потолком, а пол не был крыт досками и казался земляным.

Камера была на двух человек. Молча, поклоном, меня приветствовал новый сосед — монгол. Осмотревшись в камере, я зашагал взад и вперед по тесному пространству, обдумывая текст заявления, которое я намерен был сразу подать следователю. Внезапно раздался голос соседа: «Ваш — военный?» Я ответил отрицательно, не скрывая удивления. На мне был типичный штатский костюм, никакой военной выправкой я не отличался. Вероятно, соседа ввел в заблуждение тот, не совсем обычный в тюремных условиях, решительный и суровый вид, с каким я расхаживал по камере.

Зловещая репутация лефортовской тюрьмы оправдывала самые худшие предположения. Постучав кулаком в дверь, я вызвал тюремщика и сказал ему, что хочу подать заявление следователю. Во внутренней тюрьме в таких случаях заключенного выводили в бокс и там давали ему бумагу. В Лефортове узников только на

допрос и на прогулку выводили из камеры. Дежурный принес мне лист бумаги и я в его присутствии написал заявление следователю, в котором без обиняков заявил, что перевод в Лефортовскую тюрьму не изменит моей позиции, я предупреждаю, что в здравом уме и памяти никаких показаний о моей мнимой вине давать не стану. Я старался продемонстрировать, что меня не запугали и оставить документальное доказательство того, что в нормальном состоянии я продолжал опровергать обвинение.

Итак, я подготовился к новым пыткам. Но на этот раз не моя обычная оптимистическая, а, наоборот, пессимистическая оценка положения оказалась ошибочной. В Лефортове дело обошлось без новых физических страданий.

Месяца полтора меня, вообще, не вызывали из камеры. За это время я ближе познакомился с моим соседом, большим, широкоплечим монголом с широким лицом в рябинах, с внимательным, пытливым взглядом. Это была одна из самых интересных моих встреч не только за время пребывания в тюрьмах. Гелико Хасочыр, как звали моего соседа, плохо говорил по-русски, но мы постепенно стали понимать друг друга. Правда, иногда и жесты бывали неверно поняты. Гелико вылепил из хлеба шахматные фигуры, доску мы получили от тюремщика. Мы часто играли в шахматы. Однажды, сделав неверный ход, я с досадой постучал пальцами по лбу. «Так не делай, никогда не делай!» воскликнул Гелико Хасочыр. Мне осталось неясно, почему его рассердил мой жест.

Иногда Гелико Хасочыр, вытянувшись на койке, пел монгольские песни; он лежал неподвижно, но пятками отбивал такт, эти, казалось бы, простые движения были необыкновенно ритмичными и придавали всей фигуре крупного человека изящество и легкость.

Когда мы беседовали, игра ума освещала его своеобразное лицо. Но как он переменился, когда, однажды, в камеру вошел начальник тюрьмы. Отвесив поясной

поклон, монгол смотрел исподлобья на вошедшего начальника, а тот угрюмо глядел на «покорного рябого азиата», каким прикидывался вовсе не трусливый, и бесспорно умный человек.

Гелико Хасочыр происходил из бедной семьи. В юности он был пастухом у бая. Не знаю, как он усвоил грамоту и получил образование; очевидно он был и одареннее и инициативнее других юношей из той же среды. Когда в кочевье, в нищей юрте люди узнали об Октябрьской революции, Гелико Хасочыр стал участником революционной борьбы. А в день ареста Гелико Касочыр уже был наркомом внутренних дел Монголии. Он объяснялся со мной на ломаном русском языке, и, вероятно, был от природы немногословен. Но с явным волнением и большим внутренним чувством он говорил о герое монгольской революции Сухе-Баторе, и с нескрываемым отвращением о маршале Чойбалсане, который в те годы почитался как «монгольский Сталин»; его имя популяризировалось в наших газетах, а теперь не упоминается и забыто.

Гелико Хасочыр, видимо, чувствовал ко мне доверие, даже симпатию. Несмотря на лингвистические трудности, он сумел, беседуя со мной, обрисовать процесс перерождения руководства Монголией, нашедшей свое наглядное выражение в том, что на смену Сухэ-Батору, молодому, пылкому, мужественному и идейному революционеру, пришел Чойбалсан, расчетливый, циничный и жестокий «маршал».

Историю ареста Гелико Хасочыра, участника монгольской революции, можно было бы назвать красочной, если бы мне ее не поведал в скупых словах, которые рассказчик с трудом подбирал. В кабинет наркома внутренних дел Монголии вошли хорошо ему знакомые «московские советники», приставили к виску револьвер, скрутили руки и завязали глаза. С повязкой на глазах арестованного наркома провели по зданию наркомата, посадили в машину и повезли на аэродром. Самолет его доставил в некий пункт на советской терри-

тории; затем со все еще завязанными глазами его повезли в машине и ввели в какое-то здание. Наконец, повязку с глаз сняли: он находился в подвале тюрьмы, как позднее выяснилось, в Улан-Удэ, в столице советской автономной Бурято-Монгольской (ныне Бурятской) республики.

Гелико Хасочыра пытали, жестоко избивали, особенно долго и мучительно били по затылку (на шее были видны шрамы). Он страдал от последствий избиений и видимо считал, что его здоровье подорвано навсегда. Впрочем, Гелико Хасочыр и не надеялся, что ему сохранят жизнь. Он считал себя обреченным человеком, но ни разу не сказал об этом ясно, а тем более не жаловался, оставался невозмутим.

Можно было понять, что бывший нарком внутренних дел Монголии, хорошо знакомый с методами работы своих «московских советников», был убежден, что человек, попавший в сталинскую тюрьму, из нее никогда не выйдет, в лучшем случае закончит жизнь в лагере.

В Москву привезли сразу большую группу бывших деятелей Монгольской республики. Моему соседу было об этом известно. Он мне рассказал также, что, учитывая привычки монголов, им всем в виде исключения выдавали в тюрьме по куску мяса. Я помню эти его слова, но что-то не помню, чтобы сам Гелико Хасочыр при мне получал мясо. Его изредка вызывали на допросы, он мне ничего о них не рассказывал, и, вернувшись в камеру, часами, молча, лежал на койке.

А в моем деле произошел поворот к лучшему. Я имел полное основание так думать. 16 апреля 1940 года младший лейтенант Гарбузов снова составил протокол об окончании следствия. Для этого потребовалось менее получаса. Следователь заполнил бланк и, не задавая мне никаких вопросов, в соответствующей графе написал: «Виновным себя не признаю». Меня такая запись вполне удовлетворила. Ведь все, что я считал необходимым написать в опровержение обвинения я записал в протокол при предыдущем оформлении

окончания следствия. На этот раз было достаточно того, что снова в основном документе дела зафиксировано, что я лживых показаний о каких-либо преступлениях не давал и заявил о своей невиновности.

В отличие от моего соседа во Внутренней тюрьме, ликовавшего, когда я рассказал, как благополучно оформлено окончание следствия по моему делу, мой сосед в Лефортовской тюрьме отнесся сдержанно к моему радостному сообщению о том, что, наконец, снова следствие завершено. Не было никаких оснований думать, что Гелико Хасочыр знает что-либо о моем деле. Просто он относился с глубоким недоверием к следователям и их начальникам.

Я же поверил, что следствие всерьез закончено. Правда, я уже не предавался иллюзиям и не надеялся, что вернусь домой, к семье.

Миновал год со дня ареста; сложные чувства обуревали меня, когда я продумывал уроки этого страшного поворотного периода в моей жизни. Я был горд и счастлив при мысли, что выдержал испытание, сохранил свое честное имя, избежал гибели, буду жить. Но мучительно было сознавать, что и опровергнув обвинения, на свободу не выйду; с тревогой думал я о том, что меня ждет в ближайшем времени и в более далеком будущем. Прежняя жизнь кончилась, но какая новая жизнь меня ожидает?

Таковы уроки непосредственного знакомства с беззаконным аппаратом репрессий. После первого оформления конца следствия я размечтался о том, как встречусь с семьей, слышал голос жены на расстоянии, верил, что услышу его вблизи. Когда же вторично благополучно завершилось следствие, меня мучила тревога, я не надеялся вскоре увидеть семью, с грустью думал о том, что мы с женой разлучены надолго.

Спустя год после трагической разлуки сердечная нить, нас связывавшая, была туго натянута; любовь, неистребимая, любовь на всю жизнь, именно она продиктовала мне прощальное письмо (воображаемое, не-

записанное). Оно заканчивалось словами: «Будь с другим веселее, наряднее и с улыбкой меня вспоминай».

Восстанавливая теперь в памяти прощальные стихи, сложенные в Лефортовской тюрьме весной 1940 года, я замечаю, что они внушены проникшим и сквозь тюремные стены блоковским «весенним и тлетворным духом». То был самый томительный и печальный май в моей жизни. (Самый трагический был годом раньше).

В первую годовщину разлуки я как бы прощался с женой. Между тем ни разу за все последующие полтора десятка лет я не писал ей прощальных писем. А ее письма неизменно были для меня источником бодрости и надежд. Преодоление разлуки было темой наших писем, моих стихов...

Через месяц после составления протокола об окончании следствия, 19 мая 1940 года, тот же следователь Гарбузов, вызвав меня, как ни в чем не бывало, приступил к допросу. Я запомнил, что меня спрашивали, где и когда я встречался с Карлом Гофманом; он, как и я, был в двадцатых годах работником дипломатического аппарата, а потом стал профессиональным журналистом-международником. Но в отличие от меня, К. Б. Гофман уже в двадцатых годах был членом партии. Наши пути не раз скрещивались, в Москве, в НКИД, и в Берлине, где Карл Гофман был корреспондентом «Правды», когда я был там первым секретарем посольства. Это был хороший, доброжелательный человек и опытный журналист.

Тщательно взвешивая слова, я отвечал на вопросы следователя и с грустью думал о том, что и Гофман, возможно, оказался в лапах тюремщиков. К счастью, я заблуждался. Вернувшись в Москву, я узнал, что Карл Гофман не был арестован; у него были, правда, после войны партийные взыскания. В Москве мы возобновили наши дружеские отношения и сохранили их до его кончины.

Когда неожиданный допрос от 19 мая закончился, я спросил следователя, как понимать происходящее: след-

ствие возобновлено или этот допрос — вне рамок следствия по моему делу? Гарбузов отвечал невразумительно, бывает, мол, по-всякому.

Прошел еще месяц и 25 июня меня вызвали из камеры на выход с вещами. Я обрадовался, что покидаю Лефортово, заведомо строгорежимную тюрьму. Мой сосед Гелико Хасочыр печально наблюдал как я в волнении собирал вещи. Если бы он был христианином, я бы сказал, что, прощаясь со мной, он благословил меня на новый крестный путь.

Вскоре я убедился, что существует более страшный застенок, чем Лефортово: секретная, особо-режимная тюрьма в Суханове.

(Июнъ 1973)

ГЛАВА XIII

ПЕРВЫЕ ДНИ В СУХАНОВСКОЙ ОСОБОРЕЖИМНОЙ СЕКРЕТНОЙ ТЮРЬМЕ

Новые пытки

Поездка в железном «воронке», — на этот раз не в Лефортово, а из Лефортова, — странным образом затянулась. Сидя в стальной клетке, я жадно прислушивался к голосам людей, к звонкам трамваев и сигналам машин, пытался по поворотам и остановкам на перекрестках угадать, в какой части города мы находимся. Я не сомневался, что меня, как всех тех заключенных, по делам которых следствие закончено, перебрасывают в Бутырки. Но вскоре я с недоумением уловил, что уличный шум затих, потом раздался свисток паровоза, машина явственно стояла у железнодорожного переезда, и, действительно, когда она двинулась с места, я по толчкам понял, что мы переезжаем через рельсы. Итак, меня везут за город. Мелькнула фантастическая идея; в результате годичного следствия установлена моя невиновность и теперь прежде чем выпустить на волю, меня поместят в загородную тюрьму с облегченными условиями. Но я сразу отогнал утешительные мысли, я уже научился не поддаваться наивным иллюзиям.

Наконец, меня выгрузили из машины. Мы находились в загородной местности; но оглянуться по сторонам мне не удалось, конвойные меня подхватили, завели в небольшой одноэтажный дом и заперли в один из многочисленных боксов, двери которых я успел приметить. Я уже был достаточно опытным заключенным, чтобы понимать, что меня заперли во временном помещении, а документы положили на стол некоему на-

чальнику, который определит место моего постоянного пребывания. Однако, бокс отличался от тех, в которых мне пришлось побывать на Лубянке и в Лефортове. Он не был освещен и был необычайно узок. Я обнаружил, что не имею возможности раздвинуть локти, они упирались в стенки; ноги можно было вытянуть только, если сидеть прямо на узкой скамейке, расположенной у задней стенки.

Потянулись долгие мучительные часы. Я задремал, проснулся, снова засыпал, снова пробуждался и сидел в темноте, прислушиваясь к шорохам и шепотам, доносившимся извне. Есть и пить мне не давали. В этом боксе, вполне пригодном в качестве карцера, я пробыл часов шестнадцать. Когда меня доставили в бокс солнце еще не зашло, а вывели меня из бокса, когда уже снова был светлый день.

Меня повели через широкий двор, я обратил внимание на большие тенистые деревья. Был ясный июньский день. Но я недолго наслаждался его сиянием. Меня затолкнули в темный подъезд обычного не тюремного типа и по небольшой лестнице ввели на второй этаж; я оказался в узком коридоре; по обе стороны коридора — двери с глазками; одну из дверей отомкнули и меня втолкнули в камеру, в одну из камер секретной Сухановской тюрьмы.

Нужно сказать несколько подробнее о Сухановской тюрьме; вероятно мое свидетельство одно из считанных, оставленных потомству узниками «Сухановки». Таких было, вообще, немного, по сравнению с неисчислимой массой репрессированных, побывавших на Лубянке, в Лефортове и в Бутырках. В настоящее время мало кто остался жив из числа узников Сухановской тюрьмы.

Лаврентий Берия организовал секретную тюрьму в Суханове под Москвой в конце тридцатых годов (не знаю точно, когда). Повидимому и зарубежные исследователи, собравшие обильный материал о тюрьмах и лагерях сталинских времен, располагают скудными сведениями о «Сухановке». А у нас в стране о существо-

вании этого застенка мало кто знал и знает. В те годы, когда узники томились в этой тюрьме, даже ее наименование было строго засекречено. Я находился в заключении в «Сухановке», но числился за Лефортовской тюрьмой. Такую справку давали в то время и моей жене, передачи от нее принимали в Лефортове. Да и в обвинительном заключении, предъявленном мне в июле 1941 года в Суханове, говорилось будто я нахожусь в Лефортове. Впрочем, это обвинительное заключение было фальшивкой от начала до конца. Об этом еще придется говорить.

Бывший монастырь, в котором была устроена тюрьма, расположен невдалеке от популярного дома отдыха Союза архитекторов. На протяжении многих лет никто из отдыхающих не подозревал, что он совершает прогулки близ мрачного застенка. Вернувшись в Москву, я спрашивал знакомых, побывавших в Сухановском доме отдыха, и различных жителей Москвы, что им известно о Суханове, и неизменно получал один и тот же ответ: в этом живописном месте по Павелецкой дороге находится прекрасный дом отдыха.

Не только были покрыты тайной черные дела, творившиеся внутри бывшего монастыря, но не было и внешних признаков того, что монастырь превращен в тюрьму. Вероятно, сухановская тюрьма была единственная в СССР, в которой окна не были снаружи заделаны решетками. Территорию тюрьмы обрамляло двухэтажное здание; очевидно, когда-то там находились кельи монахов. В двойные рамы этого здания были вставлены толстые гофрированные стекла. Сквозь них ничего нельзя было увидеть ни снаружи, ни изнутри. Вероятно, с улицы дом производил впечатление лаборатории или небольшой фабрики. К тому же камеры пыток находились в подвалах и внутри территории.

В камере, в которой я оказался, больше двух человек никак не могло бы поместиться. Я не раз шагами замерял отведенную нам площадь, она равнялась примерно шести квадратным метрам. Прямо против двери

было расположено окно. Свет, проникавший через толстые гофрированные стекла, был тусклым, а лучи солнца многократно преломлялись. В середине камеры был ввинчен в пол небольшой столик. С каждой стороны стола был ввинчен в пол круглый табурет, не слишком удобный для многочасового сиденья. Коек не было. Дощатое ложе, на котором ночью спали заключенные, днем составляло часть стены и находилось под запором. Тюремщики его утром приподнимали, техника была такая же как в вагоне, но полка на день не опускалась, а поднималась. Ночью опущенные деревянные полки вплотную примыкали к столу, а опорой им служил с каждой стороны табурет.

Если бы в этой камере одна полка была бы и днем опущена, а в камере находился бы только один человек, то он мог бы, пожалуй, устроиться сносно. Я бесплодно мечтал о такой возможности в течение тринадцати месяцев! Однако, обе полки днем были приподняты и под запором, так что я был вынужден каждый день пятнадцать часов сидеть на круглом табурете. Между табуретом и столом невозможно было протиснуться, а между табуретом и стенкой можно было протиснуться боком; так я совершал «прогулки» по камере, когда бывал в ней один. Когда же в камере находилось два человека, то передвигаться по камере нельзя было и теснота ощущалась особенно болезненно.

Стены камеры, потолок, стол, табуреты были окрашены в голубой цвет. В потолке был плафон из такого же гофрированного стекла, как и оконные стекла. В этой обстановке были элементы какой-то фантастики. Тюремной камере придали такой внешний вид, как если бы то была своеобразная каюта парохода или проходное купе в поезде. Можно было камеру сфотографировать, да еще на цветную пленку под таким углом зрения, что создавалось бы впечатление, будто это светлица или углубление у окна в приделе храма. А была это мучительно неудобная для жилья камера

в застенке, где люди сходили с ума, чему мне пришлось быть свидетелем.

Сухановская тюрьма была не просто *строго*-режимной тюрьмой, а именно *особо*-режимной. Заключенных можно было помещать в самые неожиданные условия, и крайне тяжкие и относительно удобные. Они должны были понимать, что зависят от произвола палачей. Не случайно на стенах камеры не были вывешены правила внутреннего распорядка; такие правила (неодинакового содержания) висели в рамках и во Внутренней тюрьме, и в Лефортове, то есть в тюрмах вовсе не облегченного режима. Но в Сухановской тюрьме не было никаких правил внутреннего распорядка и никаких определенных правил ведения следствия. Особый режим для особо страшных государственных преступников...

В той камере, куда меня ввели, уже находился заключенный. Первоначально он уклонился от разговора. Когда я спрашивал, где мы, собственно, находимся, мой сосед отвечал лаконично: «Сами увидите...» Так мы сидели лицом к лицу, каждый на своем табурете, прислонившись к стене. Иной позиции мы и не могли занимать, сидеть боком было неудобно, ходить невозможно, лежать негде.

Я с интересом приглядывался к прекрасному, бледному лицу седоволосого мужчины с грустными, но очень выразительными черными глазами. Может быть я сейчас и кое-что домысливаю, но мне кажется, что я сразу уловил в лице моего соседа сочетание мужественности, даже чуть грубоватой, с лиризмом тонко мыслящего человека. Как я позднее убедился, такими чертами, действительно, отличался Чингис Ильдрым, курд, участник Октябрьской революции на Кавказе, образованный инженер, знаток литературы, человек многие годы близкий к Кирову, очень привлекательный человек.

Мы недолго были вместе, недолго длилась наша дружба. Такую память я сохранил о Чингисе Ильдрыме, и мне известно, что он тепло обо мне отзывался в бе-

седе с заключенным, которого я позднее встретил в лагере.

На второй день после моего прибытия в Суханов, за мной пришли конвоиры. В Суханове, в отличие от других тюрем, одного заключенного сопровождали не два, а три конвоира. Двое держали меня по бокам, а третий подталкивал меня сзади. Так меня то ли повели, то ли понесли вниз по лестнице и через двор привели к зданию церкви; внутри церковь оказалась поделенной высокими перегородками на сектора. Конечно, я был не в состоянии уловить, на сколько таких помещений было поделено бывшее церковное здание. Меня поместили в самом крайнем левом секторе с большим окном. Помещение производило впечатление обширной камеры с каменным полом. Камера была совершенно пустая. На полу было несколько окурков. Конвоиры удалились. В здании царила абсолютная тишина. Недоуменно я оглядывался по сторонам. Я решил, что меня поспешно перевели в новое помещение, и сейчас принесут предметы скудной тюремной обстановки. Правда, было неясно, почему меня перевели в новую камеру без вещей. Они остались в голубой темнице. Насколько помню, я не двигался и растерянно стоял на месте в ожидании дальнейших событий. Особенно долго ждать не пришлось. Дверь раскрылась и вошло несколько человек: капитан Пинзур, с которым мы в октябре 1939 г. обменивались мрачными остротами при первом оформлении протокола об окончании следствия, мой следователь, младший лейтенант Гарбузов, и несколько неизвестных; позднее я узнал, что один из них был начальник тюрьмы.

Я вопросительно глядел на вошедших. Капитан был явно весело настроен, а Гарбузов взволнован. «Вот где довелось встретиться, Гнедин», — сказал он смущенно, как если бы до того мы с ним виделись в совершенно нормальной обстановке.

За сим меня бросили наземь и принялись избивать дубинками, такими же какими избивали предыдущей

весной во Внутренней тюрьме. Я уже описывал технологию этой страшной процедуры. Незачем здесь снова пускаться в подробности. В 1939 году Берия, Кабулов и другие палачи, избивая меня, предъявили мне недвусмысленные требования, добивались определенных необходимых им лживых показаний. На этот раз капитан Пинзур, знавший, что от меня ничего добиться нельзя, ограничивался призывами одуматься и поскорее дать какие-либо показания; ему явно было безразлично, в чем я признаюсь. Иногда он делал короткую паузу и задавал мне какие-либо несущественные вопросы, не допуская, однако, чтобы я, отвечая, встал на ноги. Когда капитан передал дубинку лейтенанту Гарбузову, тот вздрогнул и повернул дубинку своему начальнику. Чтобы замять этот эпизод, не ускользнувший от моего внимания, капитан, лишенный стыда и совести, воскликнул: «Видите, Гнедин, вы так противны вашему следователю, что он не хочет даже к вам прикоснуться!» Но я-то понял, что лейтенант был не в состоянии поднять на меня руку. Я приободрился. Тогда начальник тюрьмы проявил инициативу, заметив, что я сохраняю самообладание и, следовательно, избиения недостаточно эффективны, он подал совет: «Носочки бы снять» (меня били по пяткам).

После нескольких часов избиений меня вернули в камеру. Но вскоре (очевидно, палачи подзакусили) меня снова отнесли в церковь и снова несколько часов пытали. Я не сдавался, хотя и сильно страдал.

Когда к вечеру я был возвращен в камеру, то уже не мог сидеть, а лечь не было негде. Мне ничего не оставалось как стоять лицом к стене. Чингис Ильдрым пытался меня успокоить, отвлечь разговором, но потом замолчал. Прошло несколько часов. И вдруг поздно вечером за мной снова пришли конвоиры. Меня охватил ужас. «Теперь я уже не выдержу», подумал я. Не то, чтобы я решил сдаться, но мне казалось, что я никак не смогу выдержать новые удары по израненному телу. Эти мои переживания хорошая иллюстрация того, что

существует предел выносливости. Впрочем я не знаю, сломили бы ли меня даже новые истязания. К счастью до ночных пыток дело не дошло. Сойдя на первый этаж, конвоиры неожиданно для меня свернули по коррилору, спустились на уровень полуподвала (это меня основательно встревожило), но затем поднялись по внутренней лестнице в коридор, очевидно, пристройки, и втолкнули меня в кабинет, где за столом, освещенным настольной лампой, сидел мой следователь младший лейтенант Гарбузов.

Скрывая чувство облегчения, Гарбузов приступил к обычному допросу. Первый вопрос был явно облечен в такую формулировку, по которой впоследствии можно было бы установить, что протокол составлен вслед за «допросом с пристрастием». Во всяком случае ни прежде, ни позднее в протокол не вставлялось серии таких выражений как «следствие располагает неопровержимыми данными, настойчиво требует» и т. п. На эти «настойчивые требования» я отвечал с обычной твердостью, что никаких преступлений не совершал и ни в чем не виновен. Следователь спокойно записал мой ответ, как если бы он не присутствовал при том, как меня силой вынуждали признать себя преступником. Чтобы зафиксировать вопрос, сформулированный в особенно категорических выражениях и мой ответ на этот вопрос, был составлен протокол от 26 июня 1940 года. Но для порядка следователь записал еще несколько вопросов и ответов.

Следователь мне предъявил выписку из показаний (или фальшивки с мнимыми показаниями) бывшего военного атташе СССР в Берлине А. С. Орлова, крупного деятеля советской военной разведки. Мы работали одновременно в Берлинском посольстве в 1935-1937 гг.

А. С. Орлов во время гражданской войны потерял ногу. Он носил протез и ходил, опираясь на палку, что не мешало ему сохранять мужественную, непринужденную и даже изящную осанку. Красивый человек, с большими серыми глазами и затаенной иронической

улыбкой держался в посольстве особняком, без всякой склонности к мнимо-товарищеским фамильярным отношениям, существовавшим тогда между посольскими работниками.

Мне импонировало в А. С. Орлове то, что он был не просто опытный военный, но образованный человек, математик, видимо, уже в те времена применявший в своей деятельности методы, позднее названные кибернетическими. Мы с ним обменивались мнениями относительно происходящих событий и положения в Германии, никогда не касаясь деталей своей собственной работы.

В «показаниях» А. С. Орлова, предъявленных мне в Сухановской тюрьме, утверждалось (в памяти остался их смысл), будто беседуя со мной в Берлине, Орлов обнаружил, что я очень высоко оценивал мощь гитлеровской армии и считал, что нам не следует вступать в конфликт с Германией. Насколько помню, в показаниях не было специфических фраз об «антисоветских намерениях или взглядах», но смысл несомненно был тот, что мы с ним будто бы были настроены «пораженчески». Хотя я читал предъявленный мне документик в поздние ночные часы по окончании дня пыток, я не пожелал ограничиться простым опровержением предъявленных мне показаний (для следователя этого было достаточно); я счел, что надо разъяснить, каких я в действительности держался взглядов. Я внес в протокол допроса разъяснение, что, если я в прошлом ошибался, то в обратную сторону по сравнению с тем, что сказано в «показаниях» Орлова, то есть я не переоценивал, а возможно недооценивал силу вермахта и был убежден, что СССР при поддержке западных держав безусловно одержал бы победу над гитлеровской Германией. Это мое заявление было записано в протокол допроса в те месяцы, когда Германия вторглась во Францию и действовал во всю силу договор о взаимопомощи между СССР и Германией. Всего этого я не знал . . .

Когда процедура составления протокола закончилась, я с внешне безмятежным видом спросил следователя, когда переведут деньги в ларек тюрьмы, в которой я нахожусь. Я хотел выяснить, оставляют ли меня в «Сухановке» и окажусь ли я здесь в обычных тюремных условиях. Ответ следователя, не ожидавшего, что я как ни в чем не бывало заговорю о деньгах на «лавочку», был в каком-то смысле успокоительным. «Ну, не сразу, через несколько дней переведут деньги».

Первые недели после избиений были очень мучительными. Дело в том, что в конце июня и в июле 1940 года стояла необыкновенная жара. Тот, кто живал на московских дачах, знает, что на верхнем этаже старого здания непосредственно под железной крышей, да еще в непроветренном помещении в знойные дни становится нестерпимо жарко. Именно так обстояло дело в нашей камере. Я обливался потом и горячие капли, затекая в открытые раны, вызывали жгучую боль. То были пытки, незапрограммированные следователями. Я стоял лицом к стене, пот лился по спине и слезы по лицу.

Физические страдания лишили меня самообладания. Но и было от чего придти в отчаянье. Да после того, как я в очередной раз устоял под пытками и защищал свою невиновность, я не испытывал чувства торжества, я был в ужасе. Я был в ужасе от того, что оказался лицом к лицу с чудовищной несправедливостью и беспощадностью. Сознание безнадежности моего положения причиняло мне в те дни бóльшие страдания, чем даже физические мучения. В самом деле, на предыдущих этапах следствия я себя защитил, никого не очернил, может быть даже кое-кого уберег от катастрофы, и каков же результат? Я понимал, что мой перевод в особорежимную тюрьму и избиения имели лишь одну простую цель: довести до конца мое дело в соответствии с требованием начальства, то есть погубить меня.

Чингис Ильдым пытался меня успокоить. «Вы так хорошо держались эти дни — говорил он мне — как же теперь у вас сдали нервы». Действительно в день пыток

я сохранял внешнее спокойствие и в перерыве между «церковными бдениями» даже старался выслушать или делал вид, что слушаю, рассказ соседа об устройстве домны. Когда же противостоять палачам уже не нужно было, воля ослабла. Лишь постепенно я пришел в себя, и освободился от ощущения бессмысленности моей борьбы с палачами.

Чингис Ильдрым вызвал в камеру фельдшера и пожаловался на то, что из-за постоянного сиденья на табурете у него распухли ноги. Возможно, он хотел, чтобы и мне была оказана помощь, ведь я был в гораздо худшем состоянии, чем мой сосед. Но я жалоб не заявлял. Фельдшер осмотрел ноги моего соседа, окинул меня взглядом знатока (я был обнажен по пояс) и изрек, обращаясь к нам обоим: «В медицинской помощи надобности нет».

Я нуждался не столько в медицинской помощи, сколько в моральной поддержке. Такую помощь мне оказал Чингис Ильдрым. Мне не нужно было, чтобы он выслушивал историю моего дела или рассказывал мне о своем деле. Мы с ним вовсе не говорили о следствии, предъявленных обвинениях, ходе дела, то есть обо всем том, о чем часто и чрезмерно много рассуждали заключенные в камере. Мы оба по возможности избегали этих тем. Именно поэтому, когда Чингис Ильдрым разговорился, его интересные рассказы явились для меня ощутительной поддержкой.

Чингис Ильдрым был первый и, кажется, единственный курд в СССР, получивший высшее образование. Он кончил технический ВУЗ в Ленинграде. Но до того он участвовал у себя на родине, на Кавказе, в борьбе за советскую власть. Из его слов можно было понять, что он весьма популярен среди советских курдов.

Теперь я узнал из выпущенной в серии «Жизнь замечательных людей» книги о Кирове*, что Чингис Ильдрым в годы гражданской войны находился в бакинском большевистском подполье, державшем связь

---

*) С. Синельников. Киров. Москва, 1964, стр. 255-256.

с С. М. Кировым, побывал первым наркомвоенмором Азербайджана и наркомом путей сообщения. Обо всем этом Чингис Ильдрым мне не рассказывал.

Ильдрыма арестовали в 1937 году; мы с ним встретились, когда его тюремный стаж превышал два года. После пыток его долго держали в общей камере в Бакинской тюрьме; камеры были переполнены и их соединял общий коридор. Заключенные воспринимали как сенсацию то, что можно увидеть Чингиса Ильдрыма и ходили в камеру, чтобы на него поглядеть. Однажды, когда он лежал на каменном полу, над ним наклонился курд, бывший крупный помещик, и сказал: «Хорошо, что мне удалось увидеть тебя здесь». Для озлобленного врага Советской власти было минутой торжества то, что в тюремной камере рядом с ним находился в заточении идейный революционер.

Чингис Ильдрым охотно и подробно рассказывал мне о нашей металлургии, одним из организаторов которой он был; он объяснял мне технологию металлургического процесса. Я с большим интересом слушал эти его объяснения и, слушая, на время вовсе забывал о своих страданиях.

Среди рассказов моего соседа о молодости, проведенной в Ленинграде, была одна прелестная новелла. Дежуря молодым инженером на электростанции, он случайно соединился с аппаратом в квартире неизвестной молодой женщины. Начался длившийся месяцы флирт на расстоянии. Он не добивался встречи, готов был ограничиться ночными беседами с незнакомкой по телефону. Но она пожелала встретиться. Тогда молодой красивый инженер сказал незнакомке, что он безобразный горбун и ей будет неприятно его увидеть. Но она настаивала на встрече. Они назначили свидание на почтамте. Он явился во время и увидел привлекательную молодую женщину, которая, окинув равнодушным взглядом стройного молодого человека с прекрасными глазами, нетерпеливо оглядывалась по сторонам, ища горбуна. Тогда Чингис Ильдрым к ней подошел и пред-

ставился. Так завязался роман, длившийся несколько лет. Поведав о своеобразной завязке счастливой любви, рассказчик на этом поставил точку. Я не стал расспрашивать.

Чингис Ильдрым, которому пришлось быть начальником Магнитостроя, рассказывал об Орджоникидзе и его стиле работы; известно, каким уважением, да и любовью пользовался Орджоникидзе у работников индустрии.

Чрезвычайно интересным было все, что Чингис Ильдрым рассказывал о Кирове. Правда, он избегал определенного указания на то, когда и на какой работе он сотрудничал с Кировым. Чингис Ильдрым подозревал, что нас подслушивают, и не хотел касаться тем, которые, очевидно, использовались следователями, ведшими его дело, для провокационных и клеветнических обвинений. Попросту говоря, Чингис Ильдрым был арестован и обречен на мучения именно потому, что был близок к Орджоникидзе и в дружбе с Кировым.

Все же, беседуя со мной и разговорившись, Чингис Ильдрым рассказывал о своей дружбе с Кировым, о том, как он любил Кирова и как тот был к нему привязан. Не стану по памяти повторять рассказы моего соседа; в моем переложении они будут схожи с многими известными историями о живости, веселом нраве Кирова, его простоте, о любви к охоте и прогулках.

Именно по той причине, что Чингис Ильдрым был весьма осторожен и сдержан, воспринимались как убедительное свидетельство очевидца те его замечания, из которых было ясно видно, что Киров относился без особой симпатии и даже настороженно к правящей верхушке и, следовательно, к Сталину, хотя это имя Чингис Ильдрым не упоминал. Я запомнил рассказ Чингиса Ильдрыма о том, как Киров приезжал в Москву из Ленинграда, когда Ильдрым уже жил в Москве. Киров предупреждал друга о своем предстоящем приезде и тот встречал Кирова на вокзале. Обычно Киров не садился в присланную из Кремля машину, а на га-

зике приятеля-хозяйственника отправлялся к нему закусить и выпить. Если Кирова не ждали к определенному часу, то они с Ильдрымом ходили в Сандуновские бани, парились и беседовали. Это было их любимое совместное времяпрепровождение в Москве. Можно было легко догадаться, что в парной друзья говорили по душам; возможно, Киров информировался о московской жизни, а, может быть, наоборот в беседах с другом отдыхал от серьезных дел перед тем, как отправиться на свидание с диктатором.

Вот какими историями развлекал меня друг Кирова в камере особорежимной секретной тюрьмы, из которой никто не надеялся выйти на свободу, да и вообще вийти живым . . .

Мы пробыли вместе с Чингисом Ильдрымом недели две. Наступил грустный день, когда его вызвали из камеры с вещами. Он собрался очень быстро, очень взволновался, и, уже выходя, в дверях, обернулся, чтобы проститься. Я навсегда запомнил совершенно белое лицо и черные как угли глаза.

Я остался один. Начался годичный период пребывания в голубой темнице, тринадцать месяцев без прогулок. Появлялись и исчезали соседи по камере, я о них расскажу. Раз в три месяца меня вызывали следователи, чтобы убедиться, что я еще не сошел с ума. И об этом придется рассказать.

ГЛАВА XIV

ПОИСКИ ВНУТРЕННЕЙ СВОБОДЫ

Через 20 лет после моего пребывания в Сухановской тюрьме, я, вернувшись в Москву из ссылки, побывал у стен Сухановского монастыря. Медленно обошел я здание, пытаясь заглянуть внутрь, но это было невозможно. У запертых железных ворот я увидел группу скромно одетых людей с узелками и сумками. На мои вопросы они отвечали уклончиво, но можно было догадаться, что здесь собрались посетители с продуктовыми передачами, терпеливо ждущие, когда их примут. Мимо прошагало несколько солдат внутренних войск. Насколько я мог понять, «Сухановка» была превращена в тюремную больницу. Во всяком случае и на переломе к шестидесятым годам это было по-прежнему зловещее место.

Мрачным было не только здание, но и окружающая местность, с глинистой почвой, рвами и каналами, безлюдная.

Я узнал двухэтажное здание, обрамлявшее часть территории бывшего монастыря, постарался правильно съориентироваться и подойти с наружной стороны к тому фасаду здания, куда двадцать лет назад выходило окно моей камеры. Гофрированных стекол уже не было. Со сложным двойственным чувством глядел я на тюрьму, в которой пробыл больше года и подвергался избиениям. Минутами мне было жутко, тревожно, не хотелось задерживаться в этом месте, не хотелось погружаться в атмосферу былых тяжких переживаний.

Но вместе с тем я испытывал и острое чувство облегчения, почти торжества, как если бы мне только что удалось избегнуть смертельной опасности, вырваться

из рук убийц. Я шагал взад и вперед, касался рукой кустов, наклонялся, чтобы разглядеть крошейный клочек земли, который, как мне казалось, я видел когда-то через щель форточки. Я приглядывался к куче деревьев, откуда в 1940 году порой доносилось щебетанье птиц. Я наслаждался тем, что стою вне тюрьмы, я снаружи, я могу ходить по земле, я уже больше не взаперти там, внутри застенка.

Я умер, но остался жив и должен теперь начинать с начала. Таким было состояние духа реабилитированного, вернувшегося на большую землю после шестнадцати с половиной лет пребывания в лагерях и ссылке. Человек восстал из мертвых после гражданской смерти. Он оказался лицом к лицу со всеми теми крупными и мелкими житейскими проблемами, которые ставит перед мыслящим человеком личная и общественная жизнь. Он уже в прошлом решал такие вопросы, но теперь, как в начале жизни — новы все впечатления бытия, и он должен искать новые решения.

Сознание нового начала созревало у меня еще в Суханове. В ту тяжкую пору я вовсе не был уверен в том, что выйду живым из застенка. Все же я размышлял над тем, как я построил бы свою жизнь. Я намечал новую линию поведения.

Через много лет, стоя под окном моей бывшей тюремной камеры, я спрашивал себя: действительно ли я принял тогда глубоко продуманные твердые решения, чуть ли не пережил «второе рождение» еще задолго до воскрешения из мертвых? Может быть я там взаперти лишь предавался иллюзиям, думая, что можно обрести подлинную внутреннюю свободу?

Уже не впервые я в этих записках упоминаю о стремлении к внутренней свободе. Заканчивая рассказ о первом полугодии следствия, я даже обронил слова о том, что в строгих размышлениях нашел пути к столь высокому состоянию духа. Говоря так, я взял на себя невыполнимое обязательство. Разве я могу сказать, что такое «внутренняя свобода человека»? Внутренняя сво-

бода разумного существа по Канту? Но я ведь не пишу философский трактат, да и вспомнил о кантианской терминологии только сейчас, записывая свои мысли.

Хотя в сухановской тюремной камере меня весьма занимали философские проблемы (я прочел ряд томов Гегеля), но мне нужно было обдумать жгучие проблемы, которые поставила современная история перед моим поколением. Такой была и проблема внутренней свободы. Она тесно связана с отношением к революции, к великим революционным преобразованиям, но и к революционному террору.

В воспоминаниях, опубликованных в 1967 году («Новый мир» № 7) я говорил о том, что в двадцатых годах мироощущение, формирование личности молодых интеллигентов определялось в равной мере и нашей политической, практической деятельностью и современным искусством. Тогдашние деятели искусства и люди причастные к искусству, читатели и зрители, были окрылены надеждой, что революция открывает необозримые просторы для внутренне свободной творческой деятельности. Между тем к концу тридцатых годов становилось ясно, что государство, вышедшее из революции, ограничивает, ущемляет, даже убивает плодотворную свободу творчества.

Я не мог уйти от этих проблем, когда в 1940-1941 гг. в тюремной камере искал путей к внутренней свободе. А теперь в семидесятых годах, восстанавливая в памяти свои тюремные размышления, я снова оказался перед дилеммой: личность и революция, личность и государство. Затронутая в предыдущих главах тема «тюрьма и общество» дополняется другой «тюрьма и личность».

(Вообще, композиция этих записок: спираль — возвращение к уже затронутым темам на новом уровне и в новых рамках).

В тюрьме внутренняя свобода, это — прежде всего способность оставаться самим собой, сохранить в своих мыслях и реакциях на окружающее независимость от влияния тюремщиков, следователей и палачей. Можно

это определение распространить и на отношение человека к деспотическому государству и к деспотической идеологии. Он обретает некоторую внутреннюю свободу, если не поддается самообольшению, самообману, не лжет по крайней мере самому себе. Однако, все же это — поверхностное, ограниченное определение внутренней свободы, оно — ограниченное по той простой причине, что речь идет о взаимодействии между личностью и тюрьмой (в широком и переносном смысле слова). Узникам далеко до высшей формы внутренней свободы, до подлинной свободы выбора, отражающейся на поведении человека, на его жизненной линии, вплоть до выбора между жизнью и смертью.

В Сухановской тюрьме наедине с самим собой, я постиг необходимость по-новому оценить тот выбор, который я сделал в молодости и который определил мою жизненную линию. Я окинул спокойным взглядом пути, пройденные мною вплоть до того дня, когда позади меня захлопнулись тюремные ворота, но я сумел это сделать лишь после того, как преодолел отчаянье, охватившее меня к концу первого года пребывания в заточении. В голубой темнице секретной тюрьмы я пришел в ужас при мысли, что, проявляя мужество, я не спасаю свою жизнь, а то, что я выдержал пытки, никто никогда не узнает. Если я даже совершил подвиг, то, возможно, он был бесплодным.

Подвиг, могущий оказаться напрасным, даже бессмысленным! Об этом я должен здесь сказать.

Завершая в предыдущих главах рассказ об испытаниях, постигших меня во Внутренней тюрьме, я сказал, что прошел невредимым «по змеиной тропе». Я даже дал такое название двум главам о следствии. Теперь, продолжая спустя два года свое повествование, я обнаруживаю, что надо критически оценить использованную мною символику, и сделать это надо вовсе не ради литературной реминисценции, а ради более углубленного понимания поисков внутренней свободы.

Путь по змеиной тропе, это — символ, оставшийся

в памяти с юности. В книге С. Д. Мстиславского «Крыша мира» повествуется о том, как в начале века молодой ученый отправился на Памир, чтобы с помощью археологических изысканий опровергнуть ошибочные расовые арийские и антисемитские теории. Он совершает восхождение по нехоженой, заповедной тропе. На самом трудном отрезке пути ему пришлось босому, с окровавленными ступнями пройти через узкое ущелье, где гнездились змеи. Герой преодолел и это препятствие и достиг вершин. Он прошел невредимым по змеиной тропе.

Об этом символе человеческого мужества в условиях смертельной опасности я и вспомнил теперь, рассказывая об испытаниях человека, оказавшегося в руках следователей-палачей. Но действительно ли этот символ, путь по змеиной тропе, — применим к сопротивлению узника палачам?

Герой романа С. Д. Мстиславского был «нарушителем»; это — сквозная тема в книге. Отжившим нормам и «табу» он противопоставил смелость и знание. Во имя высокой цели человек нарушил запреты, служившие препятствием для вторжения чужаков в заповедные земли, нарушил «табу», являвшееся плодом суеверия и корысти. Человек, вооруженный мужеством и культурой, взошел на недоступную высоту, но все же он был нарушителем. Именно этот образ был дорог мне, выросшему в революционной атмосфере.

Ну что ж, я проявил под пытками силу духа и благодаря этому как бы прошел «по змеиной тропе». На какую же высоту я взошел? Какие каноны, какие «табу» я нарушил? Наоборот, я соблюл важные моральные запреты, сохранил некие ценности. И все же я был «нарушителем».

Советский гражданин отказался подтвердить тезисы обвинения, подкрепленные высшими представителями государственной власти. Он противопоставил воле государства свою волю. Тем самым он нарушил запрет обязательный для всякого, принадлежащего к «новой

общности», к советскому обществу: нельзя оспаривать правоту государственной власти, правильность правительственной политики. Нельзя нарушать «табу» священное для всякого принадлежащего к племени советских людей. Этот запрет имеет силу на всех ступенях общественной лестницы — от подследственного гражданина до члена правительства. Независимо от того, кто выступает от имени государства и независимо от того, кто и по каким мотивам оспаривает правоту представителя государственной власти, — нарушитель «табу» должен быть покаран.

Наглядная иллюстрация этого правила сейчас, когда я пишу, кампания против академика А. Д. Сахарова и А. И. Солженицына. Выступив на защиту прав человека вопреки воле государства, провозгласив нравственные истины, противоречащие официальной точке зрения и господствующему мнению, формируемому пропагандой, они как бы совершили грех нарушения «племенного табу». Каждый член племени обязан был осудить нарушителей, осудить их за то, что они нарушили запрет, наложенный на свободу мысли и чувства справедливости. Конечно, когда в сентябре 1973 года ученые, писатели, композиторы, опозорив себя и свое призвание, обрушились с лживыми и грязными выпадами на людей великого гражданского и личного мужества, то в основе поведения клеветников лежал прежде всего страх. Однако большую роль в их психологии сыграло и не вполне осознанное «табу»: нельзя выступать против государства.

(Снова в моем изложении возникает аналогия между замкнутым обществом и тюрьмой. Но на этот раз она относится в первую очередь не к поведению, а к психологии людей, оказавшихся в зависимости от тоталитарного режима).

Итак, отвергая предъявленное мне обвинение, утверждая свое право на защиту, я нарушил запрет, наложенный на преданных слуг государства. Но я сам был таким слугой, таким я пришел в тюрьму и не перестал

им быть, находясь в заключении. В тюрьме я не пересмотрел свои политические взгляды, но тем не менее я поставил моральные ценности выше слепой и безоговорочной лойяльности по отношению к требованиям государства, а вернее по отношению к противозаконным требованиям жестоких слуг государства. Так или иначе, я стал «нарушителем». И снова я спрашиваю, как спрашивал себя в одиночной камере: если то был подвиг, то каковы же были его плоды?

Когда над этими вопросами размышлял в одиночной камере философствующий узник, они относились к сфере его индивидуальной психологии. Он думал о своей трагической судьбе. Но автор мемуаров, размышляющий над этими темами, задумывается над судьбой миллионов.

Я думаю о миллионах жертв сталинского террора, томившихся в лагерях и о миллионах, косвенно затронутых репрессиями. Не совершали ли они подвиги в борьбе за существование? Как они отразились на их психологии и на социальной психологии советского общества в целом? Могли ли жертвы жестокого государства, совершая повседневные подвиги, обрести внутреннюю свободу или они ее потеряли? (Я говорю здесь не об индивидуальных судьбах, а о судьбе больших социальных групп, значительной части общества).

Если невинные люди были репрессированы, если они вынуждены были себя очернить и были осуждены, если они защищали свою невиновность и были засуждены, если они знали, что товарищи и соседи в лагерях — невинные жертвы террора, если все эти люди и их родные знали все это и знали, что знание бесплодно, то это должно было отразиться на их психологии, на психологии миллионов. Бесплодность борьбы за правду и справедливость, — рок, тяготеющий над советским обществом. Пусть оно стало безпамятным, но роковые последствия скажутся как в библейских пророчествах до десятого колена.

Если заключенные в лагерях не умирали, то затра-

чивали огромные усилия в рабском труде, приносивший ничтожный эффект. (Правда, бухгалтерия ГУЛАГ'а из этих ничтожных слагаемых составляла свой миллионный баланс). Будучи сам лагерным рабочим, я не раз с горечью представлял себе, какие колоссальные потери несет общество от того, что миллионы людей вынуждены употреблять невероятное напряжение воли и физических сил не для плодотворного дела, а просто для того, чтобы выжить. Если бы усилия заключенных (одновременно и рабские и героические) служили бы высокой цели, то оказалось бы, что миллионы совершают подвиг. Подвиг в его древней, извечной форме, это — преодоление враждебной стихии, физического страдания, страха смерти. Таков был подвиг несчетного числа заключенных в сталинских лагерях.

Такой подвиг можно уподобить пути по змеиной тропе. Но он оставался бесплодным, он не был подъемом к новому качеству жизни. Люди напрягали свои последние силы, чтобы спастись от гибели в страшной обстановке, в которой звучали не только зловещей шуткой слова: «Умри ты сегодня, а я завтра ...»

Часто бессмысленный и порой подвижнический неизменно рабский труд в лагерях, а тем более прозябание тех, кто уже вовсе не способен был сделать физическое усилие, это — длительный глубокий процесс, который опустошал, разрушал человеческую психику. Этот процесс в иной и в скрытой форме происходил не только в лагерях, и сказался он вовсе не только на психологии тех поколений, которые жили в эпоху террора. Проклятие тяготеет над рядом поколений.

Деспотический режим подорвал морально-психологический потенциал общества. Восстановить этот политико-нравственный потенциал могут новые поколения. Людям надо освободиться от запретов, оттягчающих сознание, им надо обрести память. Им надо стать нарушителями. Однако им надо стать нарушителями, вооруженными знанием, нарушителями лживых канонов, отнюдь не слепыми разрушителями ценностей.

Разумеется и в жизни общества и в жизни личности наблюдаются многообразные и переходные состояния. Нравственное падение и духовный взлет — крайние полюса. Но мне думается, что анализ таких полярных состояний, их предпосылок и последствий способствует правильной оценке многих событий в жизни человека и общества.

Крайнее отчаянье, к которому я бывал близок в тюрьме и лагерях, равно как самообладание, даже оптимизм, фаталистический оптимизм, мной владевшие, были важными вехами в моих поисках внутренней свободы.

Но я не утверждаю, что я ее обрел. Поэтому, завершая главу, я повторяю прежний вопрос: действительно ли я в тюремной камере стал мыслить по-новому, и, приготовившись жить по-новому, прожил правильнее чем до катастрофы, свою уже третью жизнь? Или, быть может, только теперь я пробиваюсь к новому началу, теперь, когда пишу мемуары в канун моего семидесятипятилетия?

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ПРОЛОГ

ДЕЛО О НАСЛЕДСТВЕ ПАРВУСА
ВВЕДЕНИЕ 7
ГЛАВА I 19
ГЛАВА II 29
ГЛАВА III 34
ГЛАВА IV 41
ГЛАВА V 49
ГЛАВА VI 55
ГЛАВА VII 62
ГЛАВА VIII 66
ГЛАВА IX 76
ГЛАВА X 85

КАТАСТРОФА 101

Глава I
ВЕЧЕР 2 МАЯ 1939 ГОДА 103

Глава II
КАНУН АРЕСТА И АРЕСТ 117

Глава III
ПЫТКИ 128

Глава IV
ПЕРЕДЫШКА В ОДИНОЧНОЙ КАМЕРЕ 153

Глава V
ПО ЗМЕИНОЙ ТРОПЕ (Допросы и «документация») 167

Глава VI
ПО ЗМЕИНОЙ ТРОПЕ (Допросы и подлоги. Победа) 182

Стр.

Глава VII
ОПЫТ «ПСИХИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ» 222

Глава VIII
ОТГОЛОСОК В ТЮРЬМЕ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОГО ПАКТА 231

Глава IX
ТЮРЬМА И СТРАНА (1) 240

Глава X
ТЮРЬМА И СТРАНА (2) 254

Глава XI
ТЮРЬМА И СТРАНА (3) 265

Глава XII
НЕЖДАННЫЕ ВСТРЕЧИ В ТЮРЬМЕ 286

Глава XIII
ПЕРВЫЕ ДНИ В СУХАНОВСКОЙ ОСОБОРЕЖИМНОЙ СЕКРЕТНОЙ ТЮРЬМЕ 304

Глава XIV
ПОИСКИ ВНУТРЕННЕЙ СВОБОДЫ 318

При посещении виллы Парвуса произошел эпизод, упоминание о котором возвращает мой рассказ к наследственному делу. От того ли, что симпатия Шенланка к нам произвела впечатление на садовника, оттого ли, что я сумел втянуть его в разговор, но случилось так, что он мне поведал небезынтересный факт: всего за несколько недель до моего посещения виллы оттуда были вывезены ящики с архивом Парвуса. Особенно досадно стало мне, когда я услышал от садовника, что перевозкой архивов распоряжались представители Правления германской социал-демократической партии. Все это происходило, конечно, с ведома судебного опекуна, который был не только подставным лицом кредиторов-расхитителей, но и обеспечивал политические интересы правых лидеров социал-демократии. А они позаботились о сохранении в тайне документов, освещавших их деятельность и деятельность одного из главных скрытых советников руководства партии. Политические единомышленники Парвуса как бы парировали ущерб, причиненный им тем, что старший сын Парвуса ознакомился с частью архива, которая оказалась у судебного исполнителя Рихтера.

Я сообщил в посольство о похищении архивов Парвуса Правлением социал-демократической партии. Если память мне не изменяет, ни я, ни юристы торгпредства никаких шагов по этому поводу не предпринимали.

В конце 1925 года мы с женой вернулись в Москву. В дальнейшем я лично больше не занимался делом о наследстве Парвуса, разве что в порядке служебной переписки. Дело завершилось только в 1927 году. Я этого совершенно не помнил и могу назвать дату лишь потому, что сохранилось письмо, которое я написал жене, находившейся тогда под Ленинградом. В письме от 14 июля 1927 года я сообщил жене, что в счет моей доли наследства (около 100 тысяч золотых марок) получена библиотека и собрание документов «Института исследований причин и последствий мировой войны».

Судьбой этого ценнейшего собрания книг и докумен-

В 1931 году Е. Гнедин был принят в кандидаты КПСС. В таком качестве он и был арестован в 1939 году.

В 1935 году Е. А. Гнедина назначили Первым секретарем Посольства СССР в Берлине.

С 1937 по май 1939 года Гнедин занимал пост Заведующего Отделом печати НКИД СССР. В этот период он, в частности под псевдонимом Е. Александров, публиковал статьи, в которых анализировал и обличал агрессивные цели гитлеровской Германии, выступал против мюнхенской политики «умиротворения агрессора». В мае 1939 года после отставки наркома М. М. Литвинова, близким сотрудником которого был Гнедин, его арестовали.

После двухгодичного пребывания под следствием в тюрьме, Гнедин был осужден на десять лет заключения в лагерях. В 1949 году был отправлен в ссылку, «навечно» в Центральный Казахстан.

В августе 1955 года по решению Верховного суда СССР Гнедин был реабилитирован и в октябре 1955 года вернулся в Москву. После восстановления в правах Е. Гнедин не возобновил ни работу в государственном аппарате, ни штатную работу в редакции. Человек свободной профессии он занимался научной и литературной деятельностью. Ряд публицистических работ он опубликовал в журнале «Новый мир» (при редакторе А. Т. Твардовском). Наибольшее внимание и за пределами СССР привлекли статьи: «Бюрократия XX века» («Новый мир», 1966, № 3), «Не меч, но мир» («Новый мир», 1967, № 7), «Масштабы и характеры» («Новый мир», 1968, № 10), «Утраченные иллюзии и обретенные надежды. Проблемы молодежного движения на Западе» («Новый мир», 1970, № 10).

Сейчас Е. Гнедин живет в Москве, пенсионер. Занимается научной и переводческой работой. Последние годы Е. Гнедин как публицист уже не располагает трибуной.


86